

phantom press

ЗМЕЙ

В ЭССЕКСЕ

САРА ПЕРРИ

«Интеллектуальный и обаятельный роман невероятно талантливого автора». Сара Уотерс

Annotation

Конец XIX века, научно-технический прогресс набирает темпы, всюду идут дебаты по медицинским вопросам. Эмансипированная вдова Кора Сиборн после смерти мужа решает покинуть Лондон и перебраться в уютную деревушку в графстве Эссекс, где местным викарием служит Уилл Рэнсом. Уже который день деревня взбудоражена слухами о мифическом змее, что объявился в окрестных болотах и питается человеческой плотью. Кора, увлеченная натуралистка и энтузиастка научного знания, не верит ни в каких сказочных драконов и решает отыскать причину странных рассказов. Она считает, что змей — попросту неизвестный науке вид пресмыкающегося, который нужно описать для научных целей. Викарий же видит в панике, охватившей его паству, угрозу вере и потому тоже стремится как можно скорее выяснить правду. Двигаясь к истине с разных сторон, убежденные противники оказываются вовлечены в странную и таинственную историю. Изящный, умный, с литературной игрой роман принимает самые разные обличия — то детектива, то любовной истории, а то и романа нравов.

Сара Перри ловко балансирует на грани между исторической реальностью и вымыслом, викторианским и модернистским романом: в ее книге читатель найдет и остроумных диккенсовских нищих, и любовные сцены, и поэтические описания природы. Это фантазия на исторические темы, но фантазия полнокровная и живая.

- [Сара Перри](#)
 -
 - [Канун Нового года](#)
 - [I](#)
 - [Январь](#)
 - [1](#)
 - [Февраль](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)

- Март
 -
 - 1
 - 3
- II
 - Апрель
 -
 - 1
 - 2
 - 3
 - Май
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
- III
 - Июнь
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - Июль
 - 1
 - Август
 - 1
 - 2
- IV
 - Сентябрь
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8

- [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [Ноябрь](#)
- [От автора](#)
- [Благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)

- [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
-

Сара Перри

Змей в Эссексе

Стивену Кроу

*Если бы у меня
настойчиво требовали
ответа, почему я любил
моего друга, я
чувствую, что не мог
бы выразить этого
иначе, чем сказав:
«Потому, что это был
он, и потому, что это
был я».*

Мишель Монтьен.
Опыты^[1]

THE ESSEX SERPENT by SARAH PERRY
Copyright © 2016 Sarah Perry
Оформление обложки: Steve Panton

© Юлия Полещук, перевод, 2017
© «Фантом Пресс», издание, 2017

Канун Нового года

В холодном свете полной луны по берегу Блэкуотера бредет молодой человек. Он опрокидывал стакан за стаканом, провожая старый год, пока не заболели глаза, пока не утомили его сутолока и яркий свет. Теперь его мутит.

— Прогуляюсь к воде, — сказал он и чмокнул в щеку ту, что сидела рядом. — Вернусь к бою курантов.

И вот он стоит и смотрит на восток, где река медленно поворачивает к темному устью, на чаек, белеющих на волнах.

Ночь холодна, так что впору окоченеть, но греют выпитое пиво и добротное пальто. Воротник натирает шею, пальто тесновато. Молодой человек чувствует, что вдрызг пьян. Во рту пересохло. *Пойду-ка окунусь*, думает он, *надо встряхнуться*. Он спускается с тропинки и останавливается на берегу, где в черном глубоком иле ждут прилива все протоки.

— За дружбу старую — до дна, ^[2] — выводит он мелодичным тенором певчего, прыскает со смеху, и кто-то смеется в ответ. Молодой человек расстегивает и распахивает пальто, но этого ему мало — хочется, чтобы острый ветер бритвой скользнул по коже. Он подходит к воде поближе, высовывает язык, пробует соленый воздух на вкус. *Да, окунусь-ка, пожалуй*, думает он и скидывает пальто на топкий берег. В конце концов, он не раз проделывал это в детстве в компании мальчишек, они купались, храбрясь друг перед другом, в новогоднюю ночь, когда старый год умирает в объятиях нового. Сейчас отлив, ветер стих, и Блэкуотер не опасен: дайте стакан — и реку можно осушить до дна вместе с ракушками, устрицами и всем остальным.

Вдруг что-то меняется — то ли в изгибе реки, то ли в воздухе: устье приходит в движение, как будто поверхность воды (тут молодой человек делает шаг вперед) пульсирует, колышется, но тотчас разглаживается и замирает, однако вскоре снова вздрагивает, словно от прикосновения. Он подходит ближе, ничуть не испугавшись; чайки одна за другой взлетают, и последняя испускает отчаянный крик.

Зима оглушает его, словно ударом в темя, холод пробирается под рубашку, пронизывает до костей. Приятное опьянение испарилось, юноше неуютно в темноте; он ищет пальто, но луна скрылась за тучами, и не видно ни зги. Он медленно вдыхает колючий воздух. Топкий берег хлопает

под ногами, как будто кто-то вдруг пустил воду. *Ничего страшного*, подбадривает себя молодой человек, но все повторяется: сперва все странно замирает, словно на фотографии, а потом резко приходит в движение, которое не объяснишь влиянием луны на приливы и отливы. Ему кажется, что он видит — да что там, он видит вполне отчетливо, — как над водой медленно вздымается зловещая горбатая громадина, покрытая грубой чешуей, и тут же пропадает.

Темнота пугает. Он чувствует, во мраке что-то есть, какое-то свирепое чудище, рожденное в воде, оно выжидает, не сводит с него глаз. Монстр дремал в глубине и вот наконец всплыл на поверхность. Молодой человек представляет, как чудище рассекает грудью волну и жадно вдыхает воздух, сердце его екает от страха, словно юношу в мгновение ока судили, признали виновным и вынесли приговор: грехи его велики, и в душе червоточина! Его как будто ограбили, лишили всего, что было в нем доброго, и теперь ему нечего сказать в свою защиту. Он вглядывается в темный Блэкуотер и снова замечает, как что-то вспарывает поверхность воды и скрывается из виду, — да, чудовище поджидало его здесь и вот нашло. Молодой человек на удивление спокоен: пусть каждый получит по заслугам, он готов признать свою вину. Его мучит раскаяние, надежды на спасение нет, — что ж, поделом.

Но вдруг поднимается ветер, уносит тучу, и робкая луна снова показывает свой лик. Светит она тускло, но и это приносит облегчение: да вот же, в каком-нибудь ярде, лежит его пальто, все в грязи, вот и чайки садятся на воду — и только что пережитый ужас кажется молодому человеку абсурдным. Сверху доносится смех: по тропинке идут нарядно одетые юноша и девушка. Он машет им рукой и кричит: «Я здесь! Я здесь!» — и думает: *Да уж, здесь я* — на топком берегу, который знает лучше, чем родной дом, в месте, где река делает медленный изгиб, и нечего бояться. *Чудище!* — думает он и смеется над собственным страхом, от облегчения кружится голова. Да в этой реке сроду не водилось ничего, кроме сельди и макрели!

Нечего бояться в Блэкуотере, не в чем каяться, он просто перебрал пива, вот и причудилось в темноте. Набегает волна, старая его подруга; он заходит в воду, раскидывает руки и кричит: «Я здесь!» — и чайки верещат в ответ. *Окунь-ка я, думает он, за счастье прежних дней* — и со смехом стягивает рубашку.

Маятник летит из старого года в новый, и мрак накрывает бездну.

I

Диковинные вести из Эссекса

Январь

1

Был час дня — время, когда в Гринвичской обсерватории падает шар. День выдался пасмурным, лед покрывал нулевой меридиан и оснастку широких баркасов на запруженной судами Темзе. Капитаны отмечали время и уровень воды, ладили багровые паруса к норд-осту; груз железа следовало доставить в литейную Уайтчепела, где языки колоколов звонили о наковальни полсотни раз, будто возвещая о близящемся конце времен. Время измеряли сроками в Ньюгетской тюрьме, растрачивали впустую философы в кафе на Стрэнде, теряли те, кто мечтал, чтобы былое вернулось, и проклинали те, кто желал, чтобы настоящее стало былым. Апельсины и лимоны, в Сент-Клементе перезвоны, а колокол Вестминстера молчал.

Время стоило денег на Королевской бирже, где с убыванием дня таяли надежды протащить верблюда сквозь угольное ушко, и в кабинетах кредитного общества «Холборн-Барс», где зубастая шестеренка главных часов посылала электрический заряд дюжине подчиненных часов, отчего те принимались звонить. Клерки поднимали головы от счетных книг, вздыхали и снова опускали глаза. На Чаринг-кросс-роуд время пересаживалось с колесницы в проворные омнибусы и кэбы, а в покоях Королевской больницы и госпиталя Святого Варфоломея боль растягивала минуты в часы. В часовне Уэсли пели гимн «Текут пески времен», уповая на то, что те потекут быстрее, а в считанных ярдах от церкви на могилах кладбища Банхилл-Филдс таял лед.

В юридических корпорациях «Линкольнс-Инн» и «Миддл-Темпл» адвокаты заглядывали в календари и отмечали, что срок исковой давности истекает; в меблированных комнатах Кэмдена и Вулиджа время летело на горе любовникам, не заметившим, как быстро смерклось, и оно же своим чередом исцеляло их житейские раны. В вереницах домов-близнецов и на съемных квартирах, в высшем свете, низших кругах и среднем сословии время проводили и растрачивали впустую, берегли из последних сил и убивали под нескончаемым ледяным дождем.

Станции подземки «Юстон-сквер» и «Паддингтон» принимали пассажиров, которые текли нескончаемым потоком, точно сырье, которое везут на фабрику, чтобы измельчить, обработать, разлить по формам. На

кольцевой линии в поезде, следовавшем на запад столицы, в неверном свете вагонных фонарей у «Таймс» не обнаруживалось добрых вестей, в проходе из порванного мешка высыпались битые фрукты, от плащей пассажиров пахло дождем. Доктор Люк Гаррет, втянув голову в поднятый воротник, вслух повторял строение сердца. «Левый желудочек, правый желудочек, полая верхняя вена», — считая на пальцах, бормотал он в надежде, что эта литания утихомирит бешеный стук сердца. Сидевший рядом с ним господин покосился удивленно, пожал плечами и отвернулся. «Левое предсердие, правое предсердие», — еле слышно произнес Гаррет, он привык к любопытным взглядам, хотя и старался не привлекать лишнего внимания. Друзья прозвали его Чертенком из-за малого роста (он едва доставал другим до плеча) и энергичной подпрыгивающей походки — того и гляди заскочит с размаху на подоконник. Даже сквозь пальто ощущалась его упругая сила, а лоб так выдавался вперед, словно с трудом вмещал мощный и напористый интеллект, над черными глазами свисала неровная длинная челка цвета воронова крыла. Хирургу сравнялось тридцать два года, ум его был неукротим и ненасытен.

Лампы потухли и снова зажглись. Гаррет подъезжал к своей станции. Через час он должен присутствовать на похоронах пациента, и вряд ли нашелся бы человек, которого меньше печалила утрата. Майкл Сиборн скончался шесть дней назад от рака гортани; и пожиравший его недуг, и хлопоты врача он сносил с одинаковым безразличием. Мысли Гаррета устремились не к усопшему, а к его вдове, которая сейчас (с улыбкой подумал он), наверно, причесывает растрепанные волосы или вдруг обнаружила, что от ее добротного черного платья оторвалась пуговица.

Никогда Гаррету не доводилось видеть столь странного вдовьего траура — впрочем, с первых минут в доме Сиборнов на Фоулис-стрит он почувствовал: что-то здесь нечисто. В комнатах с высокими потолками ощущалась явственная тревога, не имевшая отношения к болезни хозяина. Пациент его в ту пору еще пребывал в относительно добром здравии, хотя и носил на шее заменявший повязку платок — непременно шелковый, непременно светлый и частенько в еле заметных пятнах. Невозможно себе представить, чтобы такой педант случайно повязал несвежий платок, и Люк подозревал, что это делается ради посетителей: пусть им станет не по себе. Из-за чрезмерной худобы Сиборн казался очень высоким, а говорил так тихо, что нужно было подойти к нему поближе, чтобы расслышать хоть слово. Держался Сиборн любезно. Говорил с присвистом. Ногти у него были синие. Во время первого осмотра он спокойно выслушал рекомендации Гаррета, но от предложенной операции отказался.

— Я намерен покинуть мир таким же, каким в него пришел, — пояснил он и похлопал себя по шелковой повязке на горле, — без единого шрама.

— К чему же терпеть мучения? — спросил Люк, но пациент не нуждался в утешении.

— *Терпеть* мучения? — Сиборна это явно позабавило. — Что ж, полагаю, поучительный опыт, — произнес он и добавил, как будто одно естественно следовало из другого: — Вы уже познакомились с моей женой?

Гаррет часто вспоминал, как впервые увидел Кору Сиборн, хотя, сказать по правде, его памяти едва ли можно было доверять, учитывая все, что случилось потом. Кора явилась в тот же миг, как будто ее позвали, помедлила на пороге, чтобы рассмотреть посетителя, затем пересекла ковер, встала за креслом мужа, поцеловала его в лоб и подала Гаррету руку:

— Чарльз Эмброуз велел звать только вас. Он дал мне вашу статью об Игнаце Земмельвайсе.^[3] Если режете вы так же, как пишете, мы все будем жить вечно.

Польщенный Гаррет рассмеялся и склонился над ее рукой. Голос у Кору был глубокий, но не тихий. Гаррету сперва показалось, что она говорит с акцентом, как вечные странники, которые ни в одной стране не задерживаются надолго, но потом он понял, что это всего лишь небольшое заикание, вынуждавшее удваивать некоторые согласные. Одетая Кора была довольно просто, но серая юбка ее переливалась, как шея горлинки. Высокая, но не худая. Глаза серые.

В следующие несколько месяцев Гаррет начал понимать, что за тревога витала в доме на Фоулис-стрит, смешиваясь с запахом сандала и йода. Даже в смертных муках Майкл Сиборн сохранял устрашающее влияние, не похожее на обычную власть инвалида над близкими. Жена всегда была готова по первому зову принести ему холодный компресс и хорошее вино; она с такой охотой училась, как правильно вставлять иглу в вену, словно вызубрила до последней буквы руководство по женским обязанностям. Но Гаррет не заметил между Корой и ее мужем ни намек на любовь. Иногда доктор подозревал, что ей хочется, чтобы огарок свечи поскорее потух. Он даже боялся, что, когда будет набирать лекарство в шприц, она отведет его в сторонку и попросит: «Увеличьте дозу. Вколите ему побольше». Целуя истощенное лицо блаженного страдальца, она склонялась к нему так осторожно, словно опасалась, что муж приподнимется и ущипнет ее за нос. Для ухода за больным — переодеть, поменять простыни, отереть пот — нанимали сиделок, но дольше недели

они не задерживались. Последняя, набожная бельгийка, столкнувшись с Люком в коридоре, прошептала: «*Il est comme un diable!*»^[4] — и показала запястье — впрочем, совершенно чистое. Лишь безымянный паршивый пес неотлучно сидел у постели хозяина и совсем его не боялся — или, по крайней мере, привык к нему.

Со временем Люк познакомился и с Фрэнсисом, сыном Сиборнов, черноволосым молчаливым мальчуганом, и с Мартой, его няней; обычно она стояла, собственнически обвив рукой талию Кору — жест, раздражавший Гаррета. Люк бегло осматривал пациента (в конце концов, чем ему можно было помочь?), и Кора уводила доктора к себе — показывать зуб ископаемого животного, который ей прислали по почте, или подробно расспрашивать о том, как он намерен усовершенствовать операции на сердце. Он практиковал на ней гипноз и рассказывал, что во время войны этот метод использовали в качестве обезболивающего при ампутации конечностей; они играли в шахматы, причем Кора каждый раз, к своему огорчению, обнаруживала, что Гаррет обложил ее со всех сторон. Люк поставил себе диагноз «влюблен», но лекарства от этого недуга не искал.

Он чуял таившуюся в этой женщине силу, которая дожидалась удобного случая, чтобы проявиться, и думал, что, когда Майклу Сиборну настанет конец, каблуки его жены высекут искры из тротуара. Конец настал, и Люк присутствовал при последнем вздохе, который получился громким, натужным, как будто в заключительный миг пациент забыл *ars moriendi*^[5] и хотел лишь чуть-чуть задержаться на этом свете. Кора же с его смертью ничуть не изменилась и не выказала ни скорби, ни облегчения, только раз ее голос дрогнул, когда она сообщила, что пес издох, и было неясно, то ли она сейчас расплчется, то ли рассмеется. Свидетельство о смерти было выписано, останки Майкла Сиборна увезли, и у Гаррета не было более причин наведываться на Фоулис-стрит, но каждое утро он просыпался с одной-единственной мыслью и, подойдя к железным воротам, обнаруживал, что его ждали.

Поезд подошел к «Набережной», и толпа потащила Люка по платформе. Его охватила странная грусть — не скорбь по Майклу Сиборну и не сострадание его вдове, больше всего доктора беспокоило, что эта встреча с Корой может оказаться последней, что он под погребальный звон в последний раз бросит на нее взгляд через плечо. «И все же я должен там быть, — сказал он себе, — пусть даже лишь для того, чтобы увидеть, как закроют крышку гроба». На тротуаре за турникетами растаял лед; белое

солнце клонилось к закату.

* * *

Одетая, как диктовали правила, Кора Сиборн сидела перед зеркалом. В уши она вдела золотые серьги с жемчугом, и мочки болели, поскольку пришлось их прокалывать заново. «Раз нужны слезы, — сказала она себе, — сойдут и такие». Напудренное лицо ее казалось бледным. Черная шляпка не шла Коре, но вуаль и плюмаж соответствовали траурным требованиям. Обтянутые тканью пуговицы на черных манжетах не застегивались, и между краем рукава и перчаткой белела полоска кожи. Вырез у платья был чуть глубже, чем Коре хотелось, и открывал фигурный шрам на ключице, длиной и шириной с большой палец руки. Шрам был точной копией серебряных листьев на серебряных подсвечниках, стоявших по бокам зеркала в серебряной раме: муж вдавил этот подсвечник в ее тело, точно перстень с печаткой в расплавленный воск. Кора думала замазать шрам, но потом привыкла к нему и даже полюбила, к тому же она знала, что в определенных кругах ей завидовали, считая шрам татуировкой.

Она отвернулась от зеркала и оглядела комнату. Любой гость замер бы в удивлении на пороге, увидев с одной стороны высокую мягкую постель и узорчатые портьеры, как в спальне богатой дамы, а с другой — берлогу ученого. Дальний угол был оклеен ботаническими гравюрами, географическими картами, вырванными из атласов, и листами бумаги, на которых Кора большими черными буквами написала цитаты (НЕ СПИ ЗА ШТУРВАЛОМ! НЕ ПОВОРАЧИВАЙСЯ К КОМПАСУ СПИНОЙ!). На каминной полке была расставлена по размеру дюжина аммонитов, а над ними в золотой раме Мэри Эннинг^[6] с собачкой рассматривали лежавший на земле обломок скалы в Лайм-Риджис. Неужели это все теперь ее — и ковер, и стулья, и хрустальный бокал, от которого до сих пор пахнет вином? Видимо, да, решила Кора, и при этой мысли члены ее наполнила легкость, словно законы Ньютона не были над ней властны и она, раскинув руки и ноги, вот-вот воспарит под потолок. Она тут же подавила это чувство, как того требовали приличия, но успела его распознать — пожалуй, не счастье и даже не удовлетворение, а облегчение. Бесспорно, к нему примешивалась скорбь, и она была этому рада: как бы муж ей ни опостылел, все же он ее воспитал, пусть лишь отчасти, — так зачем же ненавидеть саму себя?

— Да, он меня создал, — проговорила Кора, и перед ее глазами, точно дымок от потушенной свечи, поплыли воспоминания.

Ей было семнадцать лет, она жила с отцом в доме над городом, мать ее давно умерла, но при жизни позаботилась о том, чтобы дочь не обрекли учиться лишь вышиванию да французскому языку. Отец Кору не знал, как распорядиться своим довольно скромным состоянием; арендаторы относились к нему доброжелательно, но без уважения. В один прекрасный день он уехал по делам, вернулся с Майклом Сиборном и с гордостью представил ему дочь. Кора встретила их босая, с латинской фразой на устах. Гость взял ее руку в свою, рассмотрел, попенял за сломанный ноготь. С тех пор он навевался не раз, и наконец его визитов стали ждать. Он привозил ей брошюры и бессмысленные сувениры и дразнил ее: большим пальцем гладил ладонь, так что кожа зудела и все существо Кору, казалось, устремлялось в ту единственную точку, которой касался его палец. В его присутствии Хэмпстедские пруды, скворцы на закате, раздвоенные отпечатки овечьих копыт в грязи — все казалось ничтожным, унылым. Кора стала стыдиться своей просторной неопрятной одежды и неубранных волос.

Однажды он сказал ей: «В Японии разбитую глиняную посуду склеивают расплавленным золотом. Как было бы чудесно, если бы я мог вас разбить, а после исцелить ваши раны золотом». Но ей тогда было семнадцать, ее защищала броня молодости, и Кора не почувствовала опасности, она лишь рассмеялась, а за ней и Майкл. В свой девятнадцатый день рождения она сменила пение птиц на веера из перьев, сверчков в высокой траве — на блестящий жакет в мушиных крыльях; стан ее сдавливал китовый ус, пронзала слоновая кость, в волосы был воткнут черепаховый гребень. Говорила она медленно, чтобы скрыть заиканье, гулять не ходила. Он подарил ей золотое кольцо, которое оказалось мало, а годом позже другое, еще меньше.

Из задумчивости вдову вывели шаги над головой — медленные и размеренные, как тиканье часов. «Фрэнсис», — произнесла Кора и смолкла в ожидании.

* * *

За год до смерти отца и приблизительно за полгода до того, как болезнь впервые дала о себе знать (опухоль в горле помешала за завтраком

проглотить кусок поджаренного хлеба), Фрэнсиса Сиборна переселили в комнату на четвертом этаже, в самом дальнем конце коридора.

Отец едва ли выказал бы интерес к домашним хлопотам, даже если в тот день ему не пришлось бы проводить в парламенте закон о жилье. Решение приняли мама и Марта, которую взяли к Фрэнсису няней, когда он был грудным младенцем; с тех пор она, по ее выражению, «все никак не поспевала уволиться». Обе женщины полагали, что мальчика лучше держать подальше, поскольку он частенько бродил по ночам и пытался выйти в дверь, а раз-другой — и в окно. Фрэнсис никогда не просил попить, не искал утешения, как обычный ребенок, просто стоял на пороге, сжимая в кулачке один из своих талисманов, пока тревога не вынуждала няню поднять голову от подушки.

Вскоре после переселения в Верхнюю комнату, как ее называла Кора, Фрэнсис утратил интерес к еженощным скитаниям и принялся собирать (никто ни разу не назвал это воровством) все, что ему приглянулось. Из находок он выкладывал сложные загадочные узоры, и всякий раз, когда Кора являлась с родительским визитом, обнаруживались новые. Она бы даже любовалась их причудливой красотой, будь это дело рук чужого ребенка.

Поскольку была пятница и день отцовых похорон, Фрэнсис оделся самостоятельно. В одиннадцать лет он не только умел самостоятельно одеваться, но и твердил наизусть грамматические присказки: «без чулок, но без носков» («Что в жизни короче, то на письме длиннее»). Смерть отца стала для мальчика ударом, но не большим, чем утрата днем ранее одного из его сокровищ — это было голубиное перо, самое заурядное, однако его можно было согнуть в идеальный круг, не сломав. Когда Фрэнсису сообщили новость, он тут же подметил, что мама не плачет, но держится строго, напряженно и словно светится изнутри, как будто в нее только что ударила молния. Первой мыслью его было: «За что мне это все?» Но перышка уже не вернуть, отец умер, и, похоже, придется идти в церковь. Это ему даже понравилось. «Смена занятия — лучший отдых», — проговорил он, стараясь держаться учтиво.

Больше всех из-за смерти Майкла Сиборна страдала его собака. Она безутешно выла под дверью больного. Быть может, если бы пса приласкали, он бы успокоился, но, поскольку ничья рука не коснулась его грязной шкуры, то обряжали усопшего («Положи ему монетку на глаз, для перевозчика, — сказала Марта, — едва ли святой Петр об этом побеспокоится») под все тот же тоскливый вой. Сейчас, конечно, собака уже издохла, думал Фрэнсис, довольно поглаживая клочок шерсти, который

снял с рукава отца, так что единственного плакальщика теперь самого нужно оплакивать.

Он не знал, какие ритуалы сопровождали прощание с покойным, но решил, что лучше подготовиться. В курточке его было несколько карманов, в каждом лежала не то чтобы реликвия, но, как полагал Фрэнсис, предмет, подходящий для такого случая. Треснувший монокль, сквозь который мир представлял перед глазами разбитым на части; клочок шерсти (мальчик надеялся втайне, что на нем по-прежнему обитает блоха или клещ, а в брюхе у него, если уж совсем повезет, капелька крови); вороново перо, лучшее в коллекции, с синеватым кончиком; клочок ткани, который он оторвал от Мартиноного подола, заметив на нем пятно в форме острова Уайт, и камешек с дыркой точнехонько посередине. Фрэнсис спрятал сокровища, похлопал себя по карманам, выложил лишнее и отправился вниз, к матери, на каждой из тридцати шести ступенек лестницы, ведущей к ее комнате, приговаривая нараспев: «Сегодня — здесь — завтра — там, сегодня — здесь — завтра — там».

— Фрэнки...

Какой же он еще маленький, подумала Кора. Лицо его, каким-то чудным образом смутно напоминавшее черты обоих родителей (кроме черных и довольно плоских отцовских глаз), хранило бесстрастное выражение. Фрэнсис причесался, так что волосы лежали ровными прядями. Кору растрогало, что сын позаботился о туалете, она протянула было мальчику руку, но тут же уронила ее на колени. Фрэнсис похлопал себя по карманам и спросил:

— Где он сейчас?

— Он будет ждать нас в церкви.

Надо ли его обнять? Судя по виду сына, не похоже, чтобы он нуждался в утешении.

— Если хочешь поплакать, поплачь, тут нечего стыдиться.

— Если бы я хотел плакать, я бы поплакал. Если я чего-то захочу, обязательно сделаю.

Кора не стала его упрекать, потому что Фрэнсис лишь констатировал факт. Мальчик снова похлопал себя по карманам, и она заметила негромко:

— Ты взял с собой сокровища.

— Я взял с собой сокровища. У меня есть сокровища для тебя (*хлоп*), сокровища для Марты (*хлоп*), сокровища для папы (*хлоп*), сокровища для меня (*хлоп-хлоп*).

— Спасибо, Фрэнки... — растерянно проговорила Кора, но тут наконец пришла Марта, как всегда, бодро, и напряжение, сгустившееся

было в воздухе, растаяло от одного лишь ее присутствия. Она легонько потрепала Фрэнсиса по волосам, как будто он был самым обычным ребенком, и сильной рукой обвила Кору за талию. От Марты пахло лимонами.

— Что ж, пойдете, — предложила она. — Он не любил, когда опаздывают.

Колокола церкви Святого Мартина возвестили об усопшем в два часа пополудни, поминальный перезвон прокатился по Трафальгарской площади. Фрэнсис, наделенный беспощадно острым слухом, зажал уши руками в перчатках и отказался переступить порог храма, пока не смолк последний отзвук. Прихожане, которые, обернувшись, глядели на припозднившуюся вдову с сыном, довольно вздохнули: надо же, как они бледны! Какой (приличествующий случаю) скорбный облик! А шляпка, вы только посмотрите!

Кора с вежливым отстранением наблюдала за действием. В нефе, загораживая алтарь, на постаменте, напоминавшем стол в мясной лавке, покоилось в гробу тело ее мужа. Она не помнила, чтобы когда-нибудь видела его целиком, лишь мельком, бросая короткие и подчас испуганные взгляды на тонкий слой очень белой плоти на изящных костях.

Тут ее осенило: а ведь в действительности она ничего не знала о том, как муж ведет себя в общественной жизни, протекавшей точно в таких же (так думала Кора) кабинетах в палате общин, среди коллег в Уайтхолле и в клубе, куда ей вход был заказан, поскольку она имела несчастье родиться женщиной. Быть может, к другим он был добр. Да, скорее всего, так и было, а на жене вымещал злобу, адресованную не ей. Если вдуматься, было в этом даже нечто благородное. Кора посмотрела на руки, как будто ждала, не проступят ли стигмы.

Наверху, на высоком черном балконе, который в полумраке церкви, казалось, парил в нескольких футах над подпиравшими его колоннами, сидел Люк Гаррет. «Чертеночек, — подумала Кора, — вы только посмотрите на него!» Сердце ее рванулось навстречу другу, вжалось в ребра. Пальто Гаррета подходило к случаю не более чем его хирургический фартук, к тому же Кора была уверена, что все время до похорон он пил, а девушка, сидевшая с ним рядом, — недавняя знакомая, чью благосклонность он купил. Однако, несмотря на темноту и расстояние, под взглядом его черных глаз Коре тут же захотелось рассмеяться. Ее настроение угадала Марта и ущипнула подругу за ногу, так что позже, за бокалом вина в Хэмпстеде, Паддингтоне и Вестминстере присутствовавшие на церемонии говорили: «Вдова Сиборна задохнулась от горя, когда священник произнес: "Я есмь

воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет”.^[7] Это было так трогательно».

Сидевший рядом с матерью Фрэнсис что-то зашептал, прижав большой палец к губам и зажмурившись, отчего показался совсем маленьким, и Кора накрыла его руку своей. Горячая ладошка сына спокойно и ловко лежала в ее руке, и, помедлив, Кора снова сложила руки на коленях.

После церемонии, когда между рядами скамей зашелестели черные сутаны, точно захлопали крыльями грачи, Кора вышла на крыльцо храма, чтобы попрощаться с прихожанами. Они были сама доброта и сострадание: она должна знать, что у нее в Лондоне есть друзья; ее всегда ждут к ужину, вместе с ее ангелочком; они будут поминать ее в молитвах. Кора передала Марте столько визитных карточек, букетиков, столько памятных книжечек и вышивок с черным кантом, что прохожий мог принять все это за свадьбу, пусть и мрачную.

Вечер еще не настал, но в свете уличных фонарей на ступенях церкви уже искрился иней, и на город опустился бледный полог тумана. Кора вздрогнула, и Марта подошла ближе, чтобы подруга почувствовала тепло ее миниатюрного тела во втором по качеству пальто.^[8] Фрэнсис стоял чуть поодаль. Левой рукой мальчик шарил в кармане курточки, а правой судорожно приглаживал волосы. Было не похоже, чтобы он расстроился, иначе каждая из женщин обняла бы его и прошептала что-нибудь утешительное. Слова непременно нашлись бы, будь в них нужда, однако Фрэнсис имел вид человека, любезно смирившегося с тем, что пришлось нарушить милый сердцу распорядок.

— Господи помилуй! — воскликнул доктор Гаррет, когда ушел последний прихожанин в черной шляпе, довольный, что все закончилось и можно перейти к вечерним развлечениям, а затем и к утренним делам, и, мгновенно сменив тон на серьезный (черта, которая делала его неотразимым), взял Кору за руку: — Молодчина, Кора, вы отлично держались. Позвольте я отвезу вас домой. Я голоден как волк. А вы? Я готов проглотить лошадь вместе с жеребенком.

— Откуда у вас деньги на лошадь! — заметила Марта с досадой — как всегда, когда говорила с доктором. Это она прозвала его Чертенком, хотя никто уже об этом не помнил. Марту раздражало его присутствие в доме на Фоулис-стрит, где он поначалу бывал в силу долга, а затем и без особых причин, что ей особо не нравилось.

Гаррет отделался от спутницы и спрятал в нагрудный карман носовой

платок с черной каймой.

— Больше всего мне сейчас хочется прогуляться, — заявила Кора.

Фрэнсис, как будто уловив ее внезапную усталость и увидев в этом для себя благоприятную возможность, подошел к матери и потребовал, чтобы они ехали домой на метро. Его слова, как обычно, прозвучали не как просьба ребенка, которая, если будет выполнена, доставит ему удовольствие, но как голая констатация факта. Гаррет, который еще не научился договариваться с маленьким упрямым, проворчал: «Хватит с меня на сегодня Аида» — и махнул проезжавшему мимо кэбу.

Марта взяла мальчика за руку, и тот, изумленный ее дерзостью, не стал вырываться.

— Я поеду с тобой, Фрэнк, там хотя бы тепло, а то я уже не чувствую пальцев ног. Кора, но как же ты пойдешь? Тут же самое меньшее три мили?

— Три с половиной, — уточнил доктор, как будто собственноручно клал брусчатку на мостовой. — Кора, позвольте мне пойти с вами. (Кэбмен нетерпеливо пошевелился, и доктор его обругал.) Не пристало вам ходить одной. Вы не можете...

— Не пристало? Не могу? Это еще почему? — Кора стянула перчатки, которые защищали от холода не лучше паутины, и сунула их Гаррету. — Дайте мне ваши, понятия не имею, зачем такие делают и почему женщины их покупают. Прекрасно могу и пойду. Я одета как раз для прогулки. — Тут Кора приподняла подол и показала башмаки, которые больше подошли бы школьнику.

Фрэнсис отвернулся от матери, потеряв интерес к тому, как пройдет вечер: дома, в Верхней комнате, его ждало важное дело и несколько новых находок (*хлоп-хлоп*), которыми следовало заняться. Он вырвал руку и зашагал прочь от Марты. Та бросила подозрительный взгляд на Гаррета и печальный — на подругу, наскоро попрощалась и скрылась в тумане.

— Позвольте мне пойти одной, — попросила Кора, надевая позаимствованные у Гаррета перчатки, которые оказались такими тонкими, что едва ли были теплее ее собственных. — У меня в голове все так перепуталось, надо милю пройти или больше, пока распутается. — Она коснулась торчавшего из кармана Гаррета платка с траурной каймой: — Если хотите, приходите завтра на могилу. Правда, я всем сказала, что пойду одна, но мы ведь и так всегда одни, даже если рядом с нами кто-то есть.

— За вами должен ходить писарь и переносить ваши мудрые изречения на бумагу, — съязвил Чертенок и выпустил руку Кору. Отвесив шутовской поклон, он сел в кэб и под смех Кору захлопнул дверь.

В очередной раз подивившись, как под влиянием Гаррета меняется ее

настроение, Кора сперва направилась не на запад, к дому, а к Стрэнду. Ей хотелось отыскать место, где Флит заключили под землю, — где-то к востоку от Холборн. Там была решетка, из-под которой в тихую погоду доносилось журчание реки, бегущей к морю.

Кора дошла до Флит-стрит; она думала, если вслушаться хорошенько, то в серых сумерках зашумит река в продолговатой своей могиле, но не услышала ничего, кроме гула города, который ни мороз, ни туман не могли отпугнуть от работы или удовольствия. К тому же ей как-то сказали, что ныне река превратилась в сточную канаву, которая наполняется вовсе не дождевой водой из парка Хэмпстед, а отходами жизнедеятельности тех, кто обитает на ее берегах. Кора постояла еще чуть-чуть, пока руки не заболели от холода и не запульсировали проколотые мочки. Тогда Кора вздохнула и отправилась домой, обнаружив, что тревога, окутывавшая высокий белый дом на Фоулис-стрит, исчезла, канула где-то меж черных церковных скамей.

Марта, в волнении дожидавшаяся возвращения Кору (та пришла домой через час после нее; черная шляпка ее сбилась, сквозь пудру сияли веснушки), свято верила, что хороший аппетит — свидетельство здравого ума, и теперь с удовольствием наблюдала, как подруга поглощает яичницу с гренками.

— Я так рада, что все закончилось, — призналась Кора. — Все эти карточки, рукопожатия. Как же я устала от похоронной церемонии!

В отсутствие матери Фрэнсис, которого метро успокоило, безмолвно поднялся к себе со стаканом воды и заснул, зажав в кулаке огрызок яблока. Марта, замерев на пороге его комнаты, отметила, какими черными кажутся ресницы мальчика на фоне белой щеки, и сердце ее растаяло. На подушке у Фрэнсиса лежал клочок шерсти несчастного пса; там наверняка кишмя кишат блохи и вши, подумала она и наклонилась над мальчиком, чтобы тихонько, не разбудив его, забрать эту дрянь. Но, видимо, случайно коснулась запястьем подушки, и Фрэнсис проснулся так быстро, что она и ахнуть не успела. Заметив в ее руке клочок шерсти, мальчишка издал бессловесный гневный вопль; Марта выронила грязный комок и выбежала из комнаты. «Почему я его боюсь, он же ребенок, сирота?» — думала она, спускаясь по лестнице, и хотела было вернуться, заставить Фрэнсиса отдать ей эту гадость, а может, даже поцеловать его, если разрешит. Но тут в двери заскрежетал ключ и вошла Кора, потребовала зажечь камин, стянула перчатки и раскрыла подруге объятия.

В тот день Марта легла спать последней. Проходя поздно вечером мимо комнаты подруги, она остановилась у двери: за последние годы у нее

вошло в привычку проверять перед сном, все ли у Кору благополучно. Дверь оказалась приотворена, в камине шипело и плевалось полено.

— Спишь? Можно к тебе? — спросила Марта с порога и, не получив ответа, ступила на толстый светлый ковер. На каминной полке лежали визитки с траурной каймой и открытки с соболезнованиями, исписанные убористым почерком; букет фиалок, перевязанный черной лентой, упал на очаг. Марта нагнулась его поднять, и цветы словно спрятались от нее, укрылись за сердцевидными листьями. Она поставила их в стаканчик с водой — так, чтобы подруга, проснувшись, сразу же увидела букет, — и наклонилась поцеловать Кору. Та что-то пробормотала, пошевелилась, но не проснулась. Марта вспомнила, как впервые пришла в дом на Фоулис-стрит няней, ожидая встретить надменную матрону, поглупевшую от моды и сплетен, однако особа, отворившая ей двери, обманула ее ожидания. Она оказалась непредсказуемой. Едва очарованная и разъяренная Марта успевала привыкнуть к одной Коре, как ей на смену являлась другая: только что была самодовольная умница-студентка — и вот уже давняя близкая подруга; дама, закатывавшая роскошные модные ужины, — но стоило последнему гостю уйти, как она грубо бранилась, распускала волосы и, смеясь, растягивалась у камина.

Даже голос ее вызывал недоуменное восхищение: полунапев, полузаикание на некоторых звуках при малейшей усталости. А то, что за внешним обаянием умницы (которое, насмешливо отмечала Марта, Кора включала и выключала, когда хотела, как водопроводный кран) скрывались раны, лишь делало ее прелестнее. Майкл Сиборн относился к Марте с таким же безразличием, что и к вешалке для шляп в прихожей, няня сына для него совершенно ничего не значила, и, столкнувшись с нею на лестнице, он даже не поднимал на нее глаза. Но от наблюдательной Марты не укрывалось ничего: она слышала каждое вежливое оскорбление, замечала каждый потаенный синяк, и ей стоило огромных усилий удержаться и не замыслить убийство, за которое она с превеликой радостью пошла бы на виселицу. Не минуло и года с тех пор, как Марта утвердилась на Фоулис-стрит, и однажды к ней в комнату пришла Кора — в глухой предутренний час, когда никто не спал. Что-то муж ей сказал или сделал: в теплую ночь женщину била крупная дрожь, густые растрепанные волосы были мокрыми. Не говоря ни слова, Марта приподняла одеяло и приняла Кору в объятия, согнув ноги в коленях, чтобы крепче прижать к себе подругу, и дрожь Кору передалась Марте. Тело Кору, не стесненное тканью и китовым усом, казалось крупным, сильным; Марта чувствовала, как двигаются лопатки на узкой спине, как прижимается к ее руке мягкий

живот, какие крепкие, мускулистые у Кору бедра. Она словно держала в объятиях дикое животное, которое больше никогда не согласится лежать так смиренно. Проснулись они в обнимку, совершенно успокоившись, и расстались с нежностью.

Сейчас Марта ободрилась, увидев, что Кора уснула не в слезах скорби. Перед сном она по старой привычке перечитывала свои заметки, которые называла «конспектами», как мальчишка, готовящийся поступать в колледж. На кровати возле нее лежала старая кожаная папка, некогда принадлежавшая Кориной матери, позолоченная монограмма потерялась от времени; Марта утверждала, что от папки пахнет животным, из кожи которого ее когда-то изготовили. Рядом валялись тетрадки, исписанные бисерным почерком, с пометками на полях и засушенными стеблями сорняков и злаков меж страниц, а также карта с частью побережья, размеченной красными чернилами, по одеялу были разбросаны бумаги. Кора заснула с аммонитом из Дорсета в руке, но во сне слишком сильно сжала кулак, и аммонит раскрошился, испачкав ее ладонь.

Февраль

1

— Возьмем, к примеру, жасмин. — Доктор Гаррет сбросил со стола бумаги, словно ожидал увидеть под ними белые бутоны, готовые вот-вот расцвести, и, обнаружив вместо них кисет с табаком, принялся скручивать папиросу. — Его приторный аромат и приятен и неприятен одновременно; люди кривятся, но подходят ближе, кривятся, но подходят ближе, то ли этот запах противен, то ли притягателен. И если бы мы признали, что боль и наслаждение не противоположности, а части единого целого, мы бы наконец поняли... — Доктор потерял нить рассуждения и задумался, стараясь ее поймать.

Стоявший у окна мужчина, привычный к таким лекциям, глотнул пива и мягко заметил:

— Только на прошлой неделе ты пришел к заключению, что любая боль — зло, а удовольствие — благо. Я в точности помню твою мысль, потому что ты неоднократно ее повторил и даже записал для меня, чтобы я ненароком не забыл. Бумажка и сейчас у меня с собой... — Он насмешливо похлопал себя по карманам и тут же покраснел, поскольку так и не научился искусству дружеской подначки. Джордж Спенсер был полной противоположностью Гаррета: высокий, богатый, светловолосый, застенчивый, его чувства были глубоки, а мысли не слишком проворны. Все, кто знал их со студенческой скамьи, в один голос утверждали, что Спенсер — совесть Чертенка, ампутированная, все бежит за ним по пятам и никак не догонит.

Гаррет глубже уселся в кресло.

— Разумеется, на первый взгляд тут кроется неправомерное противоречие, но лучшие умы способны без труда вместить две взаимоисключающие мысли. — С этими словами Гаррет так нахмурился, что глаза почти скрылись под черными бровями и смоляной челкой, и осушил стакан. — Сейчас я тебе все объясню...

— Я бы с радостью послушал, но у меня обед с друзьями.

— Нет у тебя никаких друзей. Ты даже мне не нравишься. Послушай, нет ничего отвратительнее, чем причинять или чувствовать боль, и бессмысленно это отрицать. До того как мы научились давать пациенту наркоз, хирургов тошнило от ужаса перед тем, что им предстояло сделать;

разумные, душевно здоровые мужчины и женщины готовы были скорее укоротить себе жизнь лет на двадцать, чем лечь под нож, — как и ты, как и я! И все равно невозможно определить, что же такое боль, что мы чувствуем на самом деле и все ли воспринимают ее одинаково: это вопрос воображения, а не телесных ощущений, — понимаешь теперь, как полезен бывает гипноз? — Гаррет, прищурясь, посмотрел на Спенсера: — Допустим, ты мне скажешь, что страдаешь от ожога. Откуда мне знать, похожи ли чувства, которые ты испытываешь, на то, что чувствовал бы я, получи я такую же травму? С уверенностью могу лишь утверждать, что наши организмы отреагировали бы на одно и то же внешнее воздействие. Пусть мы оба завопим от боли, полезем в холодную воду и тому подобное, но откуда мне знать, что ты не испытываешь ощущение, от которого я, доведись мне его пережить, кричал бы совершенно на другой лад? — Он по-волчьи оскалился и продолжал: — Да и важно ли это? Неужели из-за того врач прописал бы тебе другое лекарство? Если мы поставим под сомнение истинность — или, если угодно, значимость — боли, сумеем ли мы не поддаваться искушению помогать (или, напротив, отказывать в помощи) на основании критерия, который сами же признаем произвольным?

На этом Гаррет потерял к разговору интерес, нагнулся, подобрал с пола бумаги и принялся раскладывать их аккуратными стопками.

— А вообще с практической точки зрения в этом нет никакого смысла. Так, подумалось, вот и все. Иногда мне приходят мысли, хочется с кем-то поделиться, а кроме тебя, не с кем. Собаку завести, что ли.

Спенсер, заметив, что друг помрачнел, достал папиросу и, не обращая внимания на тиканье своих часов, уселся на жесткий стул и огляделся по сторонам. Комната сияла чистотой, и скупое зимнее солнце, как ни старалось, не могло отыскать ни соринки. Здесь стояли два стула и стол, для прочих надобностей служили два поставленных стоймя ящика. Над окном был приколочен длинный кусок ткани, истончившийся и полинявший от стирки; камин из белого камня блестел. Сильно пахло лимонами и антисептиком. Над камином висели в черных рамках фотографии Игнаца Земмельвайса и Джона Сноу. К стене над небольшим письменным столом был приколот рисунок (подписанный: ЛЮК ГАРРЕТ, 13 ЛЕТ), изображавший змея, который, высовывая жало, обвивал посох; символ Асклепия, бога врачевания — это божество вырезали из утробы матери прямо на ее погребальном костре. Спенсер никогда не видел, чтобы по трем маршам белой лестницы в это жилище приносили иную пищу и питье, кроме дешевого пива и крекеров. Он посмотрел на друга, чувствуя,

как в душе привычно борются досада и нежность.

Спенсер ясно помнил их первую встречу в аудитории Королевской больницы. Гаррет быстро обскакал преподавателей в познаниях и смекалке, поэтому учился неохотно и лишь на занятиях по анатомии сердца и сосудистой системы оживлялся настолько, что наставники принимали его мальчишеское рвение за насмешку и частенько выгоняли из класса. Спенсер сознавал: чтобы скрыть и преодолеть ограниченность своих способностей, он должен учиться, и учиться упорно, а потому избегал Гаррета. Спенсер боялся, что, если их увидят вместе, ему не поздоровится, к тому же побаивался взгляда блестящих черных глаз. Как-то вечером он застал Гаррета в лаборатории (все давным-давно ушли, и двери ее должны были быть заперты) и сперва подумал, что тот в глубоком отчаянии. Понурился, Гаррет сидел на одной из щербатых скамей в подпалинах от бунзеновской горелки и пристально рассматривал что-то у себя в ладонях.

— Гаррет, — окликнул Спенсер, — это ты? Что с тобой? Что ты здесь делаешь так поздно?

Гаррет не ответил, но повернул голову, и Спенсер не заметил на его лице привычной сардонической усмешки. Гаррет встретил его открытой радостной улыбкой, и Спенсер подумал было, что тот его перепутал с кем-то из своих друзей, но Гаррет махнул ему и сказал:

— Иди сюда! Посмотри, что я сделал!

Спенсер сперва решил, что Гаррет занялся вышивкой. В этом не было ничего странного: каждый год хирурги-выпускники соревновались, у кого получатся тоньше стежки на квадрате белого шелка; поговаривали, что некоторые практиковались с нитями паутины. Гаррет же пристально рассматривал вещицу, похожую на прекрасный японский веер в миниатюре, с изящной плетеной кисточкой на ручке. Шириной вещица была с большой палец, на плотном изжелта-кремовом шелке пестрели тончайшие сине-алые узоры, так что почти не было видно, как нити проходят сквозь ткань. Спенсер наклонился, пригляделся и понял, что перед ним, — аккуратный срез внутренней оболочки человеческого желудка, толщиной не более бумажного листа. Гаррет впрыснул в него чернила, чтобы подцветить рисунок кровеносных сосудов, и поместил меж двух предметных стекол. Ни один художник на свете не сумел бы повторить затейливые петли и изгибы вен и артерий, которые не складывались в узор; Спенсеру они напомнили голые весенние деревья.

— Ого! — Спенсер поднял глаза на Гаррета, и они обменялись восхищенными взглядами, что и связало их навеки. — Сам сделал?

— А то кто же! Я в детстве увидел у отца на рисунке похожую штуку — кажется, Эдварда Дженнера — и сказал, что и сам так смогу. Отец тогда мне не очень-то поверил, и вот пожалуйста, я сдержал слово. Пришлось залезть в морг. Не выдашь меня?

— Никогда в жизни! — поклялся очарованный Спенсер.

— Сдается мне, большинство из нас — я-то уж точно — под кожей куда пригляднее, чем снаружи. Если меня вывернуть наизнанку, я буду писанным красавцем! — Гаррет спрятал стекла в картонную коробочку, перевязал бечевкой и благоговейно, как священник реликвию, спрятал в нагрудный карман. — Отнесу в мастерскую, чтобы вставили в рамку из черного дерева. Не знаешь, оно дорогое? А может, сосны или дуба. Надеюсь, в один прекрасный день я встречу кого-то, у кого это вызовет такой же восторг, как у меня. Кстати, не выпить ли нам пива?

Спенсер посмотрел на тетрадь, которую захватил с собой из комнаты, потом перевел взгляд на лицо Люка и вдруг понял, что тот застенчив и, пожалуй, одинок.

— Почему бы и нет? — ответил он. — Если я все равно завалю экзамен, так нечего и хлопотать.

Гаррет ухмыльнулся:

— Надеюсь, у тебя есть деньги, а то я со вчерашнего дня ничего не ел. — И он помчался вприпрыжку по коридору, смеясь не то над собой, не то над Спенсером, а может, над старой шуткой, которую вдруг вспомнил.

По-видимому, Гаррет так и не встретил ту, которая сумела бы по достоинству оценить его шедевр, равно как и не нашел для него подходящую рамку: сейчас, многие годы спустя, предметные стекла лежали на каминной полке в белой картонной коробке, потемневшей по краям. Спенсер размял папиросу в пальцах и поинтересовался:

— Она уехала?

Гаррет поднял глаза и хотел было притвориться, будто не понял, о ком речь, но осознал, что Спенсера этим не обмануть.

— Кора? Она уехала на прошлой неделе. На Фоулис-стрит закрыты ставни и мебель в чехлах. Я знаю, я специально посмотрел. — Он насупил. — Когда я пришел, ее уже и след простыл. В доме была только Марта. Эта старая ведьма наотрез отказалась дать мне адрес: дескать, Коре нужны тишина и покой, в свое время она сама мне напишет.

— Марта старше тебя всего на год, — мягко заметил Спенсер. — А где ты, там ни тишины, ни покоя, уж не обессудь.

— Но я же ее друг!

— Да, но не самый тихий и спокойный. Куда она уехала?

— В Колчестер. Колчестер! Что там вообще, в этом Колчестере? Руины, река, грязь, у крестьян перепонки на ногах растут.

— Я читал, что там на побережье находят древние ископаемые. Модницы носят колье из акульих зубов в серебряной оправе. Кора там будет счастлива как ребенок, по колено в грязи. Да вы скоро увидите.

— Что значит «скоро»? На кой черт ей сдался этот Колчестер? Ведь и месяца не прошло. Ей сейчас полагается оплакивать усопшего. (На этих словах ни один из мужчин не отважился поднять глаза на другого.) Она должна быть с теми, кто ее любит.

— Она с Мартой, а никто не любит Кору больше, чем Марта. — Спенсер не обмолвился о Фрэнсисе, который несколько раз обыграл его в шахматы, — почему-то не верилось, чтобы мальчик любил мать. Часы Спенсера затикали громче, и он видел, как Гаррет медленно закипает. Спенсер подумал, что его ждет обед, теплый дом с мягкими коврами, и сказал так, словно эта мысль только что пришла ему в голову: — Кстати, хотел спросить: как твоя статья?

Напомнить Гаррету о перспективе признания в ученом сообществе было все равно, что показать собаке кость: в последнее время только это и могло отвлечь его от мыслей о Коре Сиборн.

— Статья? — выплюнул Гаррет, будто взял в рот какую-то гадость, и продолжил, смягчившись: — О замене аортального клапана? Почти готова.

Он проворно, почти не глядя вытащил из стопки тетрадей с полдюжины страниц, густо исписанных черными чернилами.

— Воскресенье — крайний срок. Пожалуй, надо бы поднажать. А теперь уходи, хорошо?

Гаррет склонился над столом, взял лезвие и принялся точить карандаш. Затем развернул большой лист бумаги, на котором было изображено увеличенное в несколько раз человеческое сердце в поперечном разрезе с загадочными чернильными пометками и надписями, сперва перечеркнутыми, а потом восстановленными, с множеством восклицательных знаков. Какой-то знак на полях привлек внимание Гаррета, и он, чертыхнувшись не то от злости, не то от восторга, принялся что-то царапать на бумаге.

Спенсер выудил из кармана банкноту, молча положил на пол, чтобы его друг, обнаружив деньги, подумал, что сам их обронил и позабыл об этом, и закрыл за собой дверь.

Кора Сиборн шагала по Колчестеру под руку с Мартой, держа над собой и подругой зонт. Они прочесали берега реки в поисках зимородков и замок в поисках воронов, но зимородков нигде не было видно («Наверно, они все улетели на Нил, — как думаешь, Марта, может, нам последовать за ними?»), зато по главной башне замка расхаживали полчища угрюмых грачей в обтрепанных штанишках.

— Красивые развалины, — заметила Кора, — но мне бы хотелось увидеть виселицу или еретика с выклеванными глазами.

Марта мало интересовалась прошлым, поскольку всегда старалась смотреть в светлое будущее, которое наступит через считанные годы.

— Если уж тебе втемяшилось непременно отыскать страждущих, то вот. — С этими словами она указала на калеку, у которого не было ног выше колена. Он расположился напротив кафе, чтобы уж наверняка внушить чувство вины туристам с переполненными желудками.

Марта не скрывала неудовольствия из-за того, что ее оторвали от лондонского дома: несмотря на то что она со своими густыми светлыми косами и сильными руками походила на обожающую сливки молочницу, прежде ей не доводилось выезжать восточнее Бишопсгейта. Здешние поля и дубовые рощи навевали на нее уныние и страх, а в выкрашенных в розовый цвет домах обитали, по ее мнению, полоумные. Изумление, которое Марта испытала от того, что в такой глуши, оказывается, подают кофе, равнялось лишь отвращению к горькой жиже, которую ей принесли; со всеми местными жителями она разговаривала преувеличенно ласково, как с неразумными детьми. И все же за те две недели, что они провели в Колчестере (Фрэнсиса забрали из школы — к молчаливому, но очевидному облегчению учителей), Марта почти полюбила этот городок за то, как он подействовал на ее подругу, которая, сбжав от недреманного ока Лондона, сбросила продиктованный чувством долга траур, а вместе с ним и десяток лет, оживилась и повеселела. Марта знала, что рано или поздно непременно поинтересуется у Кору, сколько времени та намерена провести в двух комнатах на Хай-стрит, предаваясь безделью, гуляя до упаду по окрестностям и сидя над книгами, пока же просто радовалась, видя Кору счастливой.

Кора подняла повыше зонт, который не защищал от дождя, а лишь направлял его слабые струи за воротники пальто обеих дам, и посмотрела, куда указывала Марта. Безногий укрылся от непогоды лучше, чем они, к тому же, судя по удовольствию, с каким он разглядывал содержимое своей перевернутой шляпы, насобирал за день немало. Он сидел на обломке стены, который Кора сперва приняла за каменную скамью. Длинной обломок

был по меньшей мере три фута и два в ширину; слева от культей нищего виднелся обрывок надписи на латыни. Заметив, что с другой стороны улицы его рассматривают две дамы в хороших пальто, калека принял сокрушенный вид, который, впрочем, счел тривиальным и тут же сменил на гримасу благородного страдальца: дескать, мне и самому отвратительно это ремесло, но никто и никогда не упрекнет меня в том, что я манкирую своими обязанностями. Кора, восхищавшаяся театром, вытащила руку из-под локтя Марты и, обогнув сзади проезжавший мимо омнибус, с серьезным видом подошла к нищему и встала рядом; неглубокий портик лишь отчасти укрывал ее от дождя.

— Добрый день. — Кора достала кошелек.

Нищий возвел глаза к облакам, где в эту самую минуту образовалась прогалина, сквозь которую выглянуло ослепительно синее небо, и ответил:

— Вовсе нет. Но еще может распогодиться — ваша правда.

Мимолетные лучи солнца осветили строение за спиной нищего, и Кора заметила, что оно словно разворочено взрывом. Слева оно осталось таким, как задумал его архитектор, — здание в несколько этажей, некогда бывшее ратушей или особняком, — правая же часть откололась и ушла на несколько футов в землю. Вал из досок и столбов не давал стене рухнуть на тротуар, но укрепление было непрочным: Коре показалось, что сквозь уличный гул она различает скрип и скрежет железа по камню. Марта встала рядом с ней, и Кора невольно взяла ее за руку, не зная, что делать — то ли отойти от дома, то ли подобрать юбки, приблизиться к руинам и все хорошенько рассмотреть. Азарт, побуждавший разбивать камни в поисках аммонитов, пока в воздухе не повиснет густой запах бездымного пороха, толкал ее вперед. Подняв глаза, Кора разглядела комнату с нетронутым камином; с разломанного пола, точно язык, свисал обрывок алого ковра. Еще выше, у лестницы, пророс молодой дубок, а оштукатуренный потолок покрылся бледным грибком, похожим на множество беспалых рук.

— Стойте! — испуганно воскликнул калека, скользнул по каменному сиденью и схватил Кору за полу пальто. — Что это вы удумали? Нет-нет, давайте-ка назад... еще чуть-чуть... вот теперь хорошо, вы в безопасности, и больше так не делайте, — произнес нищий властно, точно привратник, и Коре стало стыдно.

— Извините, я не хотела вас пугать. Мне показалось, там что-то пошевелилось.

— Ласточки, кто же еще, не стоит за них беспокоиться. — На минуту выйдя из роли, калека поправил шарф и представился: — Томас Тейлор, к вашим услугам. Вы, стало быть, впервые здесь?

— Мы приехали несколько дней назад. Мы с подругой, — Кора указала на Марту, которая неподвижно стояла чуть поодаль в тени зонта и с неодобрением взирала на происходящее, — пробудем здесь некоторое время, вот мне и захотелось с вами познакомиться.

Тут и Кора и нищий призадумались, есть ли в ее словах логика, не нашли ее и не стали придирааться.

— Так вы, наверно, землетрясением интересуетесь, — предположил Тейлор, обведя рукой развалины за спиной. Сейчас он казался лектором, который напоследок сверяется с записями, и Кора, всегда готовая учиться, подтвердила его догадку.

— Не могли бы вы нас просветить? — попросила она. — Разумеется, если у вас есть время.

Землетрясение произошло (как рассказал им калека) восемь лет назад, [9] ровно в девятнадцать минут девятого. Стояло ясное апрельское утро, какого не помнили даже старожилы, и впоследствии это сочли милостью Божьей, потому что благодаря хорошей погоде многие были на дворе. Земля вздыбилась, словно хотела стряхнуть с себя все городки и деревни Эссекса; секунд двадцать, не более, город сотрясали толчки, потом прекратились, как будто недра хотели перевести дух, после чего судороги возобновились. В море, в устьях рек Коулн и Блэкуотер, вспенились волны, обрушились на берег, разнесли в щепки на воде корабли. От церкви в Лангенхоке, где, по слухам, водились призраки, камня на камне не осталось, а деревни Уивенхоу и Эббертон обратились в руины. Подземные толчки почувствовали даже в Бельгии — там со столов слетали чайные чашки, — здесь же, в Эссексе, на мальчонку, которого оставили в колыбели на полу возле стола, упала ступа и пришибла его, спящего, а работник, чистивший циферблат часов на ратуше, свалился с лестницы и сломал руку. Жители Молдона подумали, что кто-то заложил динамит, чтобы взорвать город, и высыпали на улицы, крича от страха, а церковь в Вирли так и не восстановили, и теперь лисы — единственные ее прихожане, а вместо скамей — заросли крапивы. С садовых яблонь осыпались цветы, так что урожая в тот год не дождались.

Кажется, что-то такое припоминается, подумала Кора, какие-то газетные заголовки, в которых сквозило удивление: подумать только, в таком маленьком скромном графстве, как Эссекс, где и холмов-то почти нет, и вдруг подземные толчки и разрушения!

— Невероятно! — радостно воскликнула она. — Ведь у нас под ногами ископаемые палеозойской эры, как везде в этой части света! Вы только представьте: породы, образовавшиеся пятьсот миллионов лет назад,

вдруг пошевелили плечами, так что сбили с церкви шпили!

— Никогда об этом не слышал. — Тейлор с Мартой переглянулись, и он кое-что понял. — Во всяком случае, Колчестер хорошенько трянуло, как видите, хотя и обошлось без жертв. — Ткнув большим пальцем в разверстые руины, он добавил: — Если уж решили зайти, ступайте аккуратнее и высматривайте мои ножки, они остались где-то там, в развалинах, ярдах в пятнадцать отсюда.

Тейлор подпернул пустые штанины на кулечках, и Кора, всегда готовая пожалеть ближнего, наклонилась к калеке, положила руку ему на плечо и проговорила:

— Мне очень жаль, что мы напомнили вам о печальном, хоть вы, наверно, и не забывали, и об этом я тоже сожалею. — Она полезла за кошельком, гадая, как объяснить Тейлору, что это не подаяние, а плата за рассказ.

— Так я вам вот что скажу. — Тейлор милостиво принял у Кору монету. — Это еще не все! — И продолжал, сменив манеру с лекторской на балаганную: — Наверняка вы слышали про змея из Эссекса, который некогда наводил ужас на Хенхем и Уормингфорд и объявился снова?

Заинтригованная, Кора призналась, что ни о чем подобном не слышала.

— Ах вот как, — помрачнел Тейлор, — тогда даже и не знаю, стоит ли вас пугать, дамы ведь так впечатлительны.

Он окинул собеседницу пристальным взглядом и, видимо, заключил, что женщине в таком пальто никакие чудища не страшны.

— Что ж, тогда слушайте. Дело было в 1669 году, когда на троне сидел сын короля-изменника.^[10] Тогда и милю нельзя было пройти, чтобы не наткнуться на дощечку с предупреждением, прибитую к дубу или к столбу ворот. ДИКОВИННЫЕ ВЕСТИ, гласили они, о чудовищном змее с глазами овцы, который появляется из вод Эссекса и уползает в березовые рощи и на пастбища! — Тейлор до блеска натер монетку о рукав. — Те годы стали временем змея из Эссекса, чем бы он ни был — чудищем с жилами и чешуей, картиной на холсте, резной фигуркой из дерева или бреднями полоумных. Детям запрещали ходить на берег реки, а рыбаки жалели, что не избрали другого ремесла. Потом змей исчез так же внезапно, как появился, и почитай две сотни лет о нем не было ни слуху ни духу, пока не случилось землетрясение и что-то содрогнулось там, под толщей вод, что-то вырвалось на волю! Идет молва, будто бы это огромное пресмыкающееся, скорее дракон, чем змей, которому вольготно и на суше, и в воде, а в погожий день он выбирается погреть крылья на солнце.

Первый, кто увидел это чудище неподалеку от деревни Пойнт-Клир, потерял рассудок, да так и не нашел: не далее как полгода тому назад помер в сумасшедшем доме, оставив дюжину рисунков углем из камина...

— Диковинные вести! — перебила Кора. — И в небе и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости...^[11] Скажите, удалось ли хоть раз сфотографировать этого змея, не думал ли кто сообщить о нем в газету?

— Мне об этом ничего не известно. — Тейлор пожал плечами: — Да и признаться, я не очень-то верю слухам. Земляки мои на выдумки горазды, взять хотя бы ведьм из Челмсфорда или рассказы про Черного Пса, который, пресытившись жертвами из Саффолка, рыщет по Эссексу в поисках свежей человечины.

Тейлор внимательно посмотрел на собеседниц. Похоже, разговор с ними его вдруг утомил. Он спрятал монету и дважды хлопнул себя по карману:

— Ну что ж, на прокорм я сегодня заработал, даже сверх того, и скоро меня заберут ужинать. Да и вам, — он покосился на Марту, у которой от нетерпения зонт плясал в руках, — пожалуй, пора идти туда, куда вы собирались, только смотрите себе под ноги: как сказала бы моя дочь, никогда не знаешь, что там, в трещинах мостовой.

Он величественно взмахнул рукой, точно государственный деятель, отпускающий секретаря, и, заслышав разносившийся во влажном воздухе смех юной пары, отвернулся от Кору и принял профессиональный просительный вид.

— Только подумай: где-то там, — сказала Кора, вернувшись к Марте, — среди пыли и обломков камней, лежат его ботинки, а может, и кости перебитых ног...

— Все вздор, я не верю ни единому его слову. Шестой час, уже зажигаются фонари. Нам пора возвращаться к Фрэнки.

Им действительно нужно было идти: они оставили Фрэнки в постели, туго закутанного в одеяло, точно мумия, под присмотром хозяина гостиницы. Тот вырастил своих трех сыновей и был уверен, что у Кору не ребенок, а паинька, а от простуды нет ничего лучше горячего супа. Фрэнсис, изумленный встречей с человеком, который смотрел на него не только без малейшего подозрения, но и практически без интереса, не смог устоять перед грубоватой лаской, на какую его мать никогда не была способна. Марта с Корой своими глазами видели, как он подарил хозяину гостиницы одно из своих сокровищ (кусочек железного колчедана — мальчик в душе надеялся, что его примут за золото) и взялся за рассказы о Шерлоке

Холмсе. Кора сама не понимала, как можно переживать за сына — когда Фрэнсис болел, его блестящее личико казалось девчачьим и у матери сжималось сердце от жалости — и при этом испытывать облегчение, расставаясь с ним. В гостинице они ютились в двух комнатах, так что Кора поневоле наблюдала все его маленькие ритуалы и не могла не заметить, что и ее гнев, и ласку Фрэнсис встречает с одинаковым безразличием. На главной башне замка и под голыми ивами на берегу реки Коулн она наслаждалась каждой минутой свободы, и возвращаться в гостиницу ей отчаянно не хотелось. Марта, ухитрявшаяся высказать мысли Кору, прежде чем они успевали прийти ей в голову, заметила:

— Посмотри на себя: полы пальто волочатся по лужам, а волосы промокли насквозь. Давай-ка лучше найдем кафе и переждем дождь. — И кивнула на ломившуюся от пирожных витрину под навесом, с которого капала вода.

— Тем более что он, скорее всего, сейчас спит, — нерешительно подхватила Кора, — как думаешь? И очень злится, когда его будят...

Сговорившись, женщины пересекли мокрую мостовую, блестящую в лучах заката, и направились в кафе, как вдруг Кора услышала знакомый голос:

— Ба, да ведь это же миссис Сиборн!

— Неужели нас кто-то видел? — Кора с удивлением взгляделась в уличный сумрак.

— Да кто тебя тут может знать? — Марта с досадой поправила ремень сумочки: ей совершенно не улыбалось общаться с очередными назойливыми знакомцами. — Мы же тут меньше недели — наверное, обознались.

— Глазам своим не верю! Кора Сиборн собственной персоной!

Кора вскрикнула от удовольствия, выскочила на тротуар и замахала рукой:

— Чарльз! Как я рада вас видеть! Идите же сюда!

Навстречу ей под такими большими зонтами, что те перекрыли всю улицу, шагали Чарльз и Кэтрин Эмброуз. Кора никак не ожидала встретить их здесь. Чарльз был коллегой Майкла Сиборна по Уайтхоллу, хотя Кора никогда не понимала, какую же именно роль он исполнял: казалось, Эмброуз обладал вдвое большим влиянием, нежели обычные политики, но ответственности при этом не нес никакой. Чарльз был частым гостем на Фоулис-стрит. Его яркие жилеты и ненасытный интерес к жизни скрывали пронизательный ум, который большинство не замечало, Кора же разглядела с первой встречи, чем тотчас покорила Эмброуза. Как ни удивительно, он

был всецело предан жене, которая была настолько же миниатюрна, насколько сам Чарльз огромен, и не чаяла в нем души. Оба были щедры, великодушны, отзывчивы, так что, когда супруги в один голос заявили, что ни один врач не поможет занедужившему Сиборну так, как Гаррет, отказаться было решительно невозможно.

Кора успокоительно обняла компаньонку за талию:

— Ты же знаешь, мне бы тоже хотелось, чтобы были только мы с тобой да книги. Но ведь это же Чарльз и Кэтрин Эмброуз, ты с ними знакома, они тебе даже нравились, — нет, правда! Чарльз! — Кора присела в глубоком шутливом реверансе, который мог бы даже показаться изящным, если бы выставившаяся из-под платья нога не была обута в заляпанный грязью мужской ботинок. — Вы ведь знакомы с Мартой?

Та выпрямилась во весь рост и холодно кивнула.

— Надо же, Кэтрин! — продолжала Кора. — Я думала, вы и не догадываетесь, что Англия не кончается за пределами Палмерс-Грин, вы, часом, не заблудились? Дать вам карту?

Чарльз Эмброуз с отвращением уставился на грязный ботинок, твидовое пальто, слишком широкое в плечах, и сильные руки с обгрызенными ногтями.

— Признаться, я рад нашей встрече, хотя прежде мне никогда не доводилось видеть никого, кто настолько походил бы на королеву варваров, готовую совершить набег. Стоит ли подражать иценам^[12] лишь потому, что мы сейчас на их землях?

Кора, которая решительно отказалась от корсетов, причесывала волосы рукой и запихивала под шляпу, а украшений не носила уже месяц, с того самого дня, как вытащила из ушей жемчужные серьги, ничуть не обиделась.

— О, я уверена, что и Боудикка постыдилась бы такого вида. Давайте выпьем кофе и подождем, пока распогодится! Мы-то вас ничуть не стесняемся. — Кора подхватила Кэтрин под руку, женщины подмигнули друг другу и проводили взглядом спину Чарльза в бархатном пальто: он величественно прошествовал в кафе.

— Как все-таки ваши дела? — Кэтрин остановилась на пороге, взяла Корино лицо в ладони, повернула к свету и внимательно оглядела ее высокие скулы и серо-голубые глаза.

Кора не ответила, боясь признаться, что постыдно счастлива. Ей было невдомек, что Кэтрин догадывалась, как Майкл Сиборн обходился с женой. Кэтрин все поняла по глазам Кору, привстала на цыпочки и поцеловала ее в висок. Стоявшая позади них Марта кашлянула; Кора обернулась к ней,

наклонилась, взяла свой холщовый мешок и прошептала: «Всего полчаса, я обещаю...» И втокнула свою спутницу в кафе.

— Кэтрин, так каким же ветром вас сюда занесло? Вы для меня — воплощение Кенсингтона и Уайтхолла. Вот уж не ожидала встретить вас во плоти за пределами Лондона!

Кора с удовольствием оглядела стол. Чарльз велел взиравшей на него с благоговением девушке в белом переднике принести по меньшей мере дюжину пирожных на ее вкус и к ним галлон чаю. Служанка явно предпочитала кокосовые: на столе появились миндальные бисквиты с кокосом, песочные коржики с кокосом и ромбовидные куски торта, политые малиновым вареньем и обваленные в кокосовой стружке. Кора, за утро прошагавшая несколько миль, мигом проложила себе путь к красовавшимся в самом центре мадленкам.

— Да, — подхватила Марта, намеренно подпустив в голос металл, — какими судьбами?

— Приехали погостить у друзей, — пояснила Кэтрин Эмброуз, повела плечами, сняла пальто и с удивлением огляделась по сторонам.

В кафе приятно пахло и стоял полумрак. Ниспадавшая им на колени зеленая скатерть с кистями, видимо, понравилась Кэтрин: она погладила ткань и сказала, пряча улыбку:

— А что тут еще делать? За покупками сюда не поедешь, во всей округе нет большого магазина. Интересно, где местные жители берут сыр и вино?

— Вероятно, в коровниках и на виноградниках. — Чарльз протянул жене тарелку, на которую положил маленькое пирожное в яркой глазури. Она сроду не ела сладкое, но мужу иногда нравилось ее поддразнить. — Мы пытаемся уговорить полковника Говарда на следующих выборах выдвинуть свою кандидатуру в парламент. Ему пора в отставку, и...

— ...и это прекрасные новости, — закончила Кора излюбленной фразой Чарльза.

Сидевшая рядом с ней Марта чуть напряглась, видимо, готовясь разразиться обличительной тирадой о здравоохранении или о необходимости жилищной реформы. (В холщовом мешке, спрятанная в синий бумажный пакет, лежала утопия некоего американского прозаика, в самых лестных выражениях живописавшего городские коммуны. Марта несколько недель ждала, пока роман удастся купить в Англии, и теперь ей не терпелось вернуться в гостиницу и взяться за книгу.) Кора уважала чуткую совесть подруги, но сейчас слишком устала, чтобы наблюдать ссору за чашкой чая. Она подложила Кэтрин мадленку, но та оттолкнула тарелку

и подтянула к себе карту, которую Марта уже развернула на столе:

— Можно посмотреть? — Кэтрин листала путеводитель, пока не нашла черно-белую карту Колчестера с фотографиями и достопримечательностями. Музей замка Кора обвела кружком, а на шпиле церкви Святого Николая виднелось пятно от чая. — Да, — продолжала Кэтрин, — мы рассчитывали поговорить с полковником раньше прочих. Он не делает тайны из своих устремлений, но неизменно умалчивает, в каком направлении они простираются. Кажется, Чарльзу удалось его убедить, что на следующих выборах сменится правительство, и он утверждает, что мы все обязаны в это вложиться. Сил у нашего доброго друга, как у молодого, да и упрямства ему не занимать, так что, кто знает, может, будет у нас самый старый премьер-министр в истории.

Ей не требовалось упоминать имя Гладстона: для Эмброузов он был кем-то вроде святого чудака и любимого родственника одновременно. Кора его видела лишь однажды, когда стояла, застыв, рядом с мужем, который впился острыми ногтями ей выше локтя, а Гладстон, чуть наклонясь, приветствовал вереницу гостей. Тогда и ее поразила острый ум, сверкавший в глазах под кустистыми бровями, которые не мешало бы подстричь. Гладстон поздоровался с Майклом Сиборном таким ледяным тоном, что Коре стало ясно: государственный деятель всем сердцем ненавидит ее мужа, и хотя саму Кору Гладстон приветствовал столь же холодно, она с тех пор всегда видела в нем союзника.

— Что, он по-прежнему шляется по девкам? — бросила Марта, словно задалась целью опозориться, но Чарльза ее слова ничуть не задели, он лишь ухмыльнулся поверх чашки с чаем.

— Ну да хватит о нас, — поспешно проговорила Кэтрин. — Так что же вы все-таки делаете в Колчестере? Если хотели отдохнуть на море, можно было поехать в наш дом в Кенте. Здесь же на целые мили только грязь да болота, от таких унылых видов и клоуна возьмет тоска. Разве что вы решили прочесать гарнизон в поисках нового мужа, другого объяснения я подобрать не могу.

— Сейчас покажу. — Кора пододвинула к себе карту и не слишком-то чистым (отметила Кэтрин) пальцем прочертила линию к югу от Колчестера, к устью реки Блэкуотер. — В прошлом месяце двое прохожих чуть не угодили под оползень у подножия скал на острове Мерси. Они догадались взглянуть на обломки камней и нашли среди них остатки древних ископаемых — несколько зубов, ну и разумеется, обычные копролиты — и какое-то небольшое млекопитающее. Его отвезли в Британский музей, чтобы определить, что же это такое. Вдруг какой-нибудь

новый вид!

Чарльз с опаской покосился на карту. Несмотря на всю свою либеральность и решительные усилия быть человеком светским, в душе он оставался сущим консерватором и не стал бы держать в кабинете работы Дарвина и Лайеля, опасаясь, как бы таящаяся в них зараза не распространилась на здоровые книги. Эмброуз не был особенно религиозен, однако полагал, что лишь общая вера под надзором благожелательного Бога не дает социальной ткани расползтись, точно ветхой простыне. Мысль о том, что человек по природе своей вовсе необязательно благороден, а род людской не отмечен божественной благодатью, в предрассветный час лишала его сна, и, как и прочие трудные вопросы, он предпочитал ее игнорировать, пока она не исчезнет сама. Более того, он винил себя за то, что Кора увлеклась Мэри Эннинг: прежде она не выказывала ни малейшего интереса к геологии, ее вовсе не тянуло рыться среди камней и грязи — до тех пор, пока на званом обеде именно у Эмброузов Кора не очутилась за столом рядом со старичком, которому довелось однажды побеседовать с Эннинг. С тех пор старик хранил о ней светлую память, и, наслушавшись его рассказов о дочери плотника, которую едва не убило молнией, после чего Мэри, до той поры болезненный ребенок, поправилась и окрепла, о том, как в двенадцать лет она нашла первое ископаемое, о ее бедности, о том, как она умирала от рака, Кора тоже влюбилась в нее и несколько месяцев с того вечера говорила только о голубом лейасе и безоаровых камнях. И надеяться, что со временем это увлечение пройдет, устало думал Чарльз, мог лишь тот, кто совсем не знал Кору.

Он покосился на последнее миндальное пирожное и заметил:

— Оставим это специалистам. Все-таки сейчас не темные века, чтобы все зависело от чудачек с молотками и кистями. Существуют университеты, научные общества, стипендии и так далее.

— И что с того? Чем, по-вашему, я должна заниматься? Сидеть дома, составлять меню и ждать, пока привезут новую пару туфель? — Кора устремила на Эмброуза тяжелый взгляд. Разговор начинал ей досаждать.

— Нет, конечно! — воскликнул Чарльз, уловив раздражение в тоне Кору. — Зная вас, бессмысленно этого ожидать. Но вы могли бы уделить время и внимание тому, что важно *сейчас*, а не тратить их на останки животных, которые и при жизни ничего не значили, а уж после смерти и подавно! — В отчаянии он указал ей на Марту: — Неужели нельзя вступить в общество Марты — как бишь его — и помогать сиротам из Пекхэма или добиваться того, чтобы в Уайтчепеле провели канализацию?

Или за что она там сейчас борется?

— Правда, Кора, неужели нельзя? — усмехнулась Марта, прекрасно зная, что ее политические взгляды вызывают у Чарльза такое же отвращение, как и грязные ботинки Кору. И с мольбой округлила голубые глаза.

— То есть как это «ничего не значили»? — Кора уже набрала в грудь воздуха, чтобы разразиться хорошо отрепетированной речью на излюбленную тему — о важности останков животных для науки, но Кэтрин прохладной белой рукой накрыла ее ладонь и спросила так, словно и не слышала, о чем говорили за столом последние несколько минут:

— Так вы хотите туда съездить и тоже найти какую-нибудь тварь?

— Хочу! И найду, вот увидите! Майкл никогда... — На этом имени она невольно запнулась и коснулась шрама на шее. — Он считал, что это пустая трата времени и лучше бы мне читать модный журнал, чтобы узнать, в юбке какого фасона следует идти в «Савой». — Кора с отвращением оттолкнула тарелку. — Теперь же я сама себе хозяйка, верно?

Она обвела глазами всех собравшихся за столом, и Кэтрин ответила:

— Милое дитя, ну конечно! Мы вами очень гордимся. Правда, Чарльз? (Эмброуз покорно кивнул.) И с удовольствием вам поможем: там живет одно наше знакомое семейство.

— Разве? — с сомнением произнес Чарльз. Единственным его другом в Колчестере был полковник Говард, человек холерического темперамента. Один вид Кору добьет измученного битвами ветерана.

— Чарльз! А Рэнсомы! Прелестные дети, ужасный дом и Стелла с ее георгинами!

Рэнсомы! При мысли о них Чарльз просиял. Уильям Рэнсом был братом либерального члена парламента, к которому Эмброузы благоволили. Надежд семьи Уильям не оправдал: с ранних лет решил посвятить свой недюжинный ум не юриспруденции или политике и даже, на худой конец, не медицине, а церкви. Но это еще полбеды. Вдобавок ко всему у него не было ни капли честолюбия, которое обычно сопутствует незаурядным способностям, и последние пятнадцать лет Уильям послушно окормлял немногочисленную паству в унылой деревушке неподалеку от устья реки Блэкуотер, женился на белокурой фее и души не чаял в своих детях. Чарльз и Кэтрин гостили у них как-то раз после неудачной поездки в Харидж и уехали в полном восторге от детей Рэнсомов. На прощанье Кэтрин вручили бумажный пакет с семенами, из которых должны были вырасти черные георгины.

— Такой чудесной семьи вы сроду не видели. — Кэтрин обернулась к

Коре: — Преподобный Рэнсом и малютка Стелла, крошечная, как фея, только в два раза красивее. Они живут в Олдуинтере^[13] — местечко такое же скверное, как и название, но в ясную ночь оттуда виден Пойнт-Клир, а по утрам можно наблюдать, как отчаливают баркасы с Темзы, груженные устрицами и пшеницей. Если кто и покажет вам побережье, так это Рэнсомы, — не смотри на меня так, дорогая, ты прекрасно понимаешь, что не можешь бродить там с картой.

— Не забывайте, это чужие края, вам и разговорник не помешает. Калитки на пастбище называют «вертушками», участки земли — «клаптиками», а во время прилива под воду уходят целые акры земли, которые местные именуют «солончаками». — Чарльз слизнул сахар с указательного пальца и подумал, не взять ли еще пирожное. — Как-то раз Уилл провел меня по церковному кладбищу и показал могилы, которые местные называют «горбатыми». Сельчане верят, что у тех, кто умер от туберкулеза, земля проседает в гроб.

Кора с трудом подавила досаду. Подумать только, какой-то сельский пастор с бычьей шеей, у которого на уме лишь Кальвин да исправление заблудших, и его скупердяйка жена! Ничего хуже нельзя и придумать, и, судя по тому, как окаменела сидевшая рядом с ней Марта, Кора поняла, что та разделяет ее чувства. И все же было бы полезно пообщаться с кем-то из местных, кто знает географию Эссекса. Да и вовсе необязательно церковному служителю не разбираться в современной науке — к примеру, среди любимых книг Кору был труд неизвестного приходского священника из Эссекса о древности земли, автор которого вовсе не пытался вычислить дату сотворения на основе родословий Ветхого Завета.

— Наверно, Фрэнсису там понравится, — неуверенно проговорила Кора. — Знаете, я советовалась о нем с Люком Гарретом. Вовсе не потому, что с ним что-то не так!

Она вспыхнула, поскольку никого не стыдилась так, как сына. Кора прекрасно понимала, что все, кто знаком с Фрэнсисом, ощущают в его присутствии такую же неловкость, как она сама, и не находила себе оправдания: кто же, как не мать, виноват в его холодности и странных увлечениях? Гаррет разговаривал с ней на удивление мягко и спокойно: «Патологии я тут не вижу, как и возможности поставить диагноз. Не изобрели еще анализа крови на эксцентричность и критериев объективной оценки вашей или его любви!» Впрочем, не исключено, что психоанализ пошел бы мальчику на пользу, хотя обычно детям его не назначают, поскольку сознание их еще не оформилось. Так что Коре оставалось лишь как можно тщательнее наблюдать за сыном, любить его и заботиться о нем,

насколько он позволит.

Эмброузы переглянулись, и Кэтрин поспешно проговорила:

— Ну конечно, свежий воздух пойдет ему на пользу. Давайте Чарльз напишет преподобному и расскажет о вас. Отсюда до Олдуинтера не будет и пятнадцати миль — вы гуляете и того дальше! — так что, если захотите, заглянете к Рэнсомам в гости, Стелла напоит вас чаем.

— Я напишу Уильяму, дам ваш адрес — вы же остановились в «Георге»? — уверен, вы мгновенно подружитесь да вдобавок найдете там кучу этих ваших мерзких ископаемых.

— Мы остановились в «Красном льве», — уточнила Марта. — Кору подкупило название: она решила, что оно истинно английское, и была разочарована, не увидев в гостинице ни соломы на полу, ни козы, привязанной к стойке бара.

«Надо же, преподобный Рэнсом! — с насмешкой подумала Марта. — Как будто Коре может быть интересен тугодум священник и его толстощекие дети!» Но те, кто был добр к ее подруге, всегда вызывали у Марты симпатию, так что она положила последнее пирожное на тарелочку Чарльза и совершенно искренне проговорила:

— Я так рада нашей встрече. Быть может, вы еще вернетесь в Эссекс до нашего отъезда?

— Вполне возможно, — с видом благородного страдальца ответил Эмброуз. — Надеюсь, до той поры вы откроете и досконально изучите совершенно новый вид, который пополнит коллекцию во флигеле имени Кору Сиборн в музее здешнего замка.

Жестом дав понять жене, что им пора, Чарльз стал надевать пальто, но, едва просунув руку в рукав, воскликнул:

— Ах да! — И повернулся с улыбкой к Коре: — Как же мы могли забыть! Слышали вы о диковинном звере, который наводит ужас на здешний народец?

— Полно, Чарльз, не ехидничай, — рассмеялась Кэтрин, — мало ли что болтают. Один сказал, другой подхватил, и пошло-поехало.

— Вот вам и научная загадка, — не обращая внимания на жену, продолжал Эмброуз, натягивая пальто, — да снимите же вы эту жуткую шляпу и послушайте! Три сотни лет тому назад или около того в Хенхеме, в двадцати милях к северо-западу от Колчестера, объявился дракон. Спросите в библиотеке, они покажут вам брошюрки, которые развешивали по всему городу, — рассказы очевидцев-поселян да изображение какого-то левиафана с кожаными крыльями и оскаленной пастью. Поговаривают, дракон частенько грелся на солнышке и щелкал клювом (клювом! Можете

себе такое представить?). Никто не обращал на него внимания, пока какой-то мальчишка не сломал ногу. Вскоре дракон исчез, но слухи никуда не делись. С тех пор всякий раз, как приключался неурожай, солнечное затмение или нашествие жаб, обязательно кто-нибудь видел чудовище на берегу реки или где-нибудь на лужайке. И вот сейчас оно снова вернулось! — произнес Чарльз с торжествующим видом, будто лично породил этого дракона специально для Кора.

— Ну конечно, слышала, Чарльз! — сказала Кора, хотя ей даже было неловко его расстраивать. — Нам только что прочитали лекцию о землетрясении в Эссексе — правда, Марта? — которое сдвинуло что-то в глубине здешних вод. Меня так и подмывает отправиться туда с блокнотом и фотоаппаратом, чтобы увидеть все своими глазами!

Кэтрин утешила мужа поцелуем и спокойно произнесла:

— Мы узнали об этом из писем и рассказов Стеллы Рэнсом. В канун Нового года к солончаку неподалеку от Олдуинтера прибило труп мужчины со сломанной шеей. Скорее всего, напился и попал в течение, но вся деревня переполошилась. Выставили на берегу дозор, и якобы кому-то удалось заметить, как глухой ночью чудовище плыло по реке и глаза у него горели жаждой крови. Ну надо же, Чарльз, ты был прав: тебе когда-нибудь приходилось наблюдать такой восторг?

Кора, как ребенок, заерзала на стуле и принялась теревить прядь волос.

— Мэри Эннинг тоже видела морского дракона, много лет назад! Раз в полгода обязательно выходит какая-нибудь статья о том, что вымершие животные на самом деле до сих пор существуют, и указывают места, где они могут обитать. Что если нам удастся отыскать их в таком унылом захолустье, как Эссекс? Подумать только! Ведь это доказывает, что нашему миру миллионы лет и мы обязаны всем естественному развитию, а не божеству...

— Как знать, как знать, — перебил Чарльз, — но вам там, несомненно, понравится. Будете в Олдуинтере, обязательно попросите Рэнсомов показать вам их личного дракона. У них в церкви подлокотник одной из скамей обвивает крылатый змей, хотя, после того как селяне принялись выставлять дозоры, преподобный клянется сбить змея стамеской.

— Решено, — сказала Кора, — напишите им поскорее. Ради морского дракона мы вытерпим общество сотен приходских священников, правда, Марта?

Женщины оставили Чарльза оплачивать счет (к которому он для очистки совести прибавил щедрые чаевые) и вышли на улицу. Дождь стих,

и в лучах закатного солнца церковь Святого Николая отбрасывала на тротуар косую тень. Кэтрин указала на широкий белый фасад гостиницы:

— Я сейчас же пойду наверх, найду лист почтовой бумаги и предупрежу Рэнсомов, что вы нарушите их покой вашими столичными идеями и безобразным пальто. — Она потянула Кору за рукав и спросила у Марты: — Неужели вы не можете на нее повлиять?

Кора вырядилась оборванкой не в последнюю очередь и затем, чтобы спровоцировать возмущение друзей. Она подняла воротник от ветра, сдвинула шляпу набекрень, точно мальчишка, и засунула большие пальцы за пояс:

— Прелесть вдовства в том, что больше не надо казаться женщиной, — но вот и Чарльз, и, судя по его взгляду, ему не помешало бы пропустить стаканчик. Спасибо вам, мои дорогие. — Кора расцеловала обоих Эмброузов и на прощанье чересчур сильно пожалала Кэтрин руку. Ей хотелось бы все объяснить, признаться, что годы брака настолько убили в ней надежду на счастье, что возможность просто сидеть с чашкой чая в руках и не думать о том, что ждет ее в доме на Фоулис-стрит, казалась почти чудом. Но она просто поспешила к «Красному льву», гадая, Фрэнсиса ли заметила в окне и обрадуется ли он ее приходу.

Чарльз Эмброуз
Клуб «Гаррик»
Лондон
20 февраля

Дорогой Уилл,

Надеюсь, все Ваше семейство в добром здравии и в скором времени мы с вами увидимся. Кэтрин просила передать Стелле, что георгины цветут вовсю, но оказались не черными, а синими — может, дело в почве?

Хочу рекомендовать Вам нашу добрую подругу, она будет очень рада познакомиться с Вами и Стеллой. Это вдова скончавшегося в январе Майкла Сиборна (Вы были столь любезны, что молились о его выздоровлении, но Всевышний судил иначе).

С миссис Сиборн мы знакомы много лет. Это необыкновенная женщина, выдающегося — я бы даже сказал, мужского — ума: она в некотором смысле натуралист (Кэтрин уверяет меня, что у светских дам

теперь такая мода). Впрочем, вреда от ее увлечения никакого, к тому же оно утешает ее после перенесенных страданий.

Недавно она с сыном и компаньонкой приехала в Эссекс, чтобы изучать тамошнее побережье, — кажется, ее интересуют ископаемые останки птиц в Уолтоне-на-Нейзе. Они остановились в Колчестере. Я, разумеется, рассказал ей легенду о змее и слухи о том, что он вернулся, а также о любопытной резьбе в церкви Всех Святых. Миссис Сиборн была очень заинтригована и решила наведаться в ваши края.

Если Кора навестит Олдуинтер (а насколько я ее знаю, она уже наверняка готовится к путешествию!), не могли бы вы со Стеллой ее принять? Она разрешила мне дать ее нынешний адрес, каковой прилагаю вместе с нашими добрыми пожеланиями, и остаюсь Ваш покорный слуга

Чарльз Генри Эмброуз.

3

Преподобный Уильям Рэнсом, настоятель Олдуинтерского прихода, спрятал письмо в конверт и в задумчивости поставил его на подоконник. Мысль о Чарльзе Эмброузе неизменно вызывала у него улыбку: очень уж тот любил заводить друзей, часто (хотя, разумеется, не всегда) из искренней симпатии. Неудивительно, что он проявил такое участие к вдове. И все же, несмотря на улыбку, письмо смутило Рэнсома. Не то чтобы он был не рад новым гостям, тем не менее одна или две фразы (*светские дамы... мужской ум...*) не могли не вызвать беспокойство у ревностного служителя церкви. Преподобный Рэнсом представил себе Кору Сиборн так ясно, словно в конверте лежала ее фотография: одинокая стареющая вдова, закутанная в тафту, от нечего делать интересующаяся новыми науками. Сын ее наверняка закончил Оксфорд или Кембридж, откуда привез с собою в Колчестер какой-нибудь тайный порок, который либо покорит весь город, либо закроет перед юношей двери цивилизованного общества. Вдова, должно быть, питается вареным картофелем с уксусом, надеясь, что Байронова диета пойдет на пользу ее фигуре, и испытывает склонность к англикатолической церкви, так что отсутствие в алтаре храма Всех Святых

богато украшенного креста уж конечно вызовет ее осуждение. Не прошло и пяти минут, а преподобный уже вообразил себе даму во всей красе — с несносной собачкой на коленях и сухопарой косоглазой компаньонкой, которая лебезит перед хозяйкой.

Утешало преподобного лишь одно: Олдуинтер (постоялый двор, два магазинчика) выглядел до того уныло, что невозможно было представить, чтобы светская дама, пусть даже скучающая любопытная вдова, решилась его посетить. Каждую весну горстка рьяных натуралистов приезжала в эти края, намереваясь описать малочисленных морских птиц, чей путь пролегал через солончаковые болота, но даже эти пернатые оказывались самыми что ни на есть заурядными, грязное их оперение настолько сливалось с пейзажем, что зачастую самих птиц-то было и не разглядеть. И хотя здешние поля считались едва ли не самыми обширными во всем Эссексе, вряд ли это заинтересовало бы даже местных жителей. Помимо церковных диковинок — которые, по правде говоря, приводили в легкое замешательство каждого нового священника, — единственной достопримечательностью в радиусе пяти миль был почерневший остов клипера, каковой можно было увидеть во время отлива в устье Блэкуотера. Каждый год во время сбора урожая деревенские дети украшали его, точно для языческого ритуала, за что преподобный их всякий раз распекал. Линия железной дороги заканчивалась в семи милях к западу от Олдуинтера, так что крестьяне по-прежнему возили на баржах овес и ячмень до мельницы в Сент-Осайт, а оттуда в Лондон на продажу. Но кое-что, пожалуй, можно было бы отнести к достоинствам Олдуинтера. Хотя он не отличался ни богатством, ни красотой, но зато и не был беден. Жители Эссекса не привыкли склонять голову под ударами изменчивой судьбы и прозябать в нищете, так что, когда на смену Джону Ячменное Зерно пришел дешевый импорт, один или двое здешних земледельцев переключились на тмин и кориандр, а еще купили вскладчину молотилку, которая не только на удивление повысила производительность, но и придала деревне праздничность. Местные детишки собирались поглазеть на выпускавшую клубы пара машину, послушать, как она грохочет.

Уилл почувствовал раздражение и, подавив порыв швырнуть конверт в огонь, спрятал его за рисунок, который ему в то утро подарил младший сын, Джон. На картинке было изображено существо, похожее на аллигатора с крыльями, но с тем же успехом это могла оказаться и гигантская гусеница, пожирающая мотылька. Мама Джона считала рисунок очередным шедевром юного гения, но Уилл не разделял ее восторга: он помнил, как в детстве изрисовывал блокноты такими сложными

двигателями и приборами, что уже на следующей странице начисто забывал их назначение, и какой из этого вышел толк?

Настроение Уилла омрачал не только приезд вдовы (которая к тому же могла оказаться совершенно безобидной): в последнее время над приходом сгустились тучи. Он взгляделся в рисунок сына и решил, что там изображен крылатый морской дракон, который подбирается к деревне. С тех самых пор, как утром первого января на болотах у реки Блэкуотер нашли утопленника — голого, со свернутой шеей, с открытыми глазами, в которых застыл ужас, — легендарный змей из способа держать детей в узде превратился в чудовище, которое рыщет по округе. Пьяницы, в пятницу вечером собиравшиеся в «Белом зайце», клялись, что видели дракона, а игравшие на солончаках дети возвращались домой засветло без понуканий, и сколько бы Уилл ни уговаривал прихожан, ему так и не удалось убедить их, что утопленник стал жертвой спиртного и течения.

Чтобы встряхнуться, преподобный решил обойти приход — навестить по дороге кое-кого из паствы и, если понадобится, развеять слухи о морском драконе. Он взял шляпу и пальто. За дверью кабинета послышался шепот (детям вход был запрещен, но они все равно норовили потеревить ручку двери), Уилл рявкнул, что на две недели посадит всех на хлеб и воду, и по привычке вылез в окно.

Олдуинтер в тот день оправдывал название: твердую землю покрывал иней, и черные дубы царапали блеклое небо. Уилл сунул руки в карманы и двинулся в путь. Оставшийся у него за спиной дом из красного кирпича был новым в тот день, когда преподобный переступил его порог; Стелла, помнится, медленно ковыляла по мощенной плитками дорожке, обняв округлившийся живот, а замыкала шествие Джоанна с невидимым зверьком на веревке (кто он, родители так никогда и не узнали). Эркеры на первом и втором этаже казались плоскими башенками по обе стороны от входной двери, в чье арочное окно с цветным стеклом каждый день в урочный час било солнце. Самый высокий дом на единственной улице, которая шла через всю деревню на юг от Колчестера и оканчивалась у маленького причала, где ныне стоял на приколе одинокий баркас, выглядел ярко и строго, облик его совершенно не вязался с остальной деревней. Рэнсом не находил в своем жилище других достоинств, кроме уединенного расположения да обширного сада, где часами пропадали дети, но прекрасно понимал, что ему повезло: по меньшей мере один из его знакомых священников ютился в доме, который словно медленно уходил под землю, а в столовой на потолке по углам росли грибы величиной с ладонь.

Уилл вышел на улицу, которую называли Высокой за то, что она была чуть выше уровня моря, и свернул влево, к пустоши. Овцы щипали траву под олдуинтерским дубом — говорят, когда-то под ним отдыхали войска, присягнувшие изменнику Карлу. Дерево было черное, точно обугленное, нижние ветви, прогнувшись под собственной тяжестью, вошли в землю и вышли чуть дальше, так что весной казалось, будто дуб окружен порослью. На выгнутых вниз ветвях летом сиживали влюбленные парочки, а сейчас на ветке, расправив юбки, пристроилась какая-то женщина и бросала птицам хлебные крошки. За дубом, отгороженная от дороги мшистой стеной, виднелась церковь Всех Святых с невысокой колокольней. Уилла привычно потянуло зайти в храм, посидеть на холодной голой скамье, успокоиться, но там, в полумраке, кто-то из прихожан мог ждать его благословения или порицания. С тех самых пор, как в Эссексе объявился змей (Рэнсом называл его «напастью»: не хотел давать слуху имя), прихожане стали чаще к нему обращаться, и длилось это уже целый год. Сельчанам казалось, хотя Уиллу об этом никто прямо не говорил, что над ними нависла кара Господня, несомненно заслуженная, и спасти от наказания их может только преподобный. Но разве мог он их утешить, не подтвердив тем самым страха? Разумеется, нет, как не мог сказать Джону, который частенько просыпался по ночам: «В полночь мы с тобой вместе пойдем и уьем чудовище, которое прячется у тебя под кроватью». То, что построено на лжи, пусть даже во спасение, разрушится при первом же столкновении с реальностью. А время проповедей и бесед настанет завтра, когда солнце озарит день воскресный; сейчас же преподобному так остро хотелось взглянуть на солончаки, вдохнуть свежего воздуха, что он едва не бежал.

Мимо «Белого зайца» («Мой дорогой Мэнсфилд, вы же знаете, священнику сюда путь заказан!»), мимо опрятных домиков с цикламенами на подоконниках («Спасибо, она здорова, слава Богу, грипп прошел...»), туда, где Высокая улица спускается к причалу. Хотя, конечно, причалом это не назовешь — так, мосточки над Блэкуотером, которые держались на камнях и были до того хлипкими, что хватало их всего лишь на сезон, и каждую весну их латали всем, что попадалось под руку. На мостках, скрестив ноги, сидел Генри Бэнкс и штопал паруса; руки у него так побелели от холода, что казались одного цвета с холстиной. Бэнкс сновал туда-сюда по устью Блэкуотера и, помимо мешков с ячменем и кукурузой, перевозил сплетни: кто где был, кто что делал. Заметив Уилла, он кивнул и сказал:

— Так ее никто и не видел, ваше преподобие. Нигде ее нет. — И печально отхлебнул из фляжки.

Несколько месяцев назад Бэнкс потерял лодку, а страховку ему платить отказались, сославшись на то, что он сам виноват: наверняка напился и забыл ее привязать. Отказ оскорбил Бэнкса до глубины души. С тех пор всем, кто соглашался его выслушать, он рассказывал, что лодку увели у него ночью торговцы устрицами с острова Мерси, а он человек честный. Вот была бы Грейси жива, она бы подтвердила, упокой Господь ее душу.

— Правда? Очень жаль, — искренне огорчился Уилл. — Нет ничего тяжелее несправедливости. Я буду посматривать.

Рэнсом отказался глотнуть рома, с сожалением указав на свой воротничок, и продолжил путь — мимо причала, оставляя реку справа, туда, где на невысоком косогоре росли голые ясени, похожие на воткнутые в землю серые перья. За ясенями стоял последний дом в Олдуинтере, который, сколько помнил преподобный, все звали Краем Света. Кривые стены его поросли мхом и лишайником, а с годами к дому пристроили столько навесов и флигелей, что он постепенно раздался вдвое и казался живым существом, которое щиплет траву. Участок земли вокруг дома с трех сторон окружала изгородь, четвертая же выходила на травянистые солончаки. Дальше тянулась бледная полоска грязи, изрезанная ручейками, которые блестели в тусклом свете солнца.

Уилл поравнялся с домом и только тут заметил его единственного обитателя: тот настолько слился со стеной, что появился словно по волшебству. Казалось, мистер Крэкнелл сделан из того же материала, что и его дом: пальто хозяина было зеленым, как мох, и таким же сырым, а борода красноватой, как упавшая с крыши черепица. В правой руке Крэкнелл держал серенькую тушку крота, а в левой — сложенный нож.

— Осторожнее, ваше преподобие, не подходите ближе, а то как бы пальто не испачкали.

Уилл послушался, заметив, что вдоль изгороди развешена дюжина или более освежеванных кротов. Шкурки, точно тени, свисали у них с задних лапок, бледные передние лапки, похожие на детские ручки, тянулись к земле. Уилл оглядел ближайший трупик:

— Богатая добыча. По пенни за штуку?

Преподобный ничуть не сомневался в том, что Господь создал человека владыкой над тварями земными, и все-таки от души жалел бедных зверьков в бархатных шубках. Ему хотелось бы, чтобы война крестьян с кротами обошлась без кровопролития.

— Точно так, по пенни за штуку. Ох и трудное же это дело! — Крэкнелл положил трупик на землю и проворно перерезал петлю на передних и задних лапках.

— Столько лет живу в Олдуинтере и не перестаю удивляться вашим обычаям. Неужели, чтобы кроты не поели посевы, нельзя отпугнуть их как-то иначе, не трупами убитых собратьев?

Крэкнелл нахмурился:

— Я же это не понапрасну, ваше преподобие. Есть у меня задумка! — Крэкнелл удовлетворенно просунул палец между шкуркой и мясом убитого крота, чтобы проверить, насколько легко их отделить друг от друга. — Мне ли не знать, что некоторые обо мне болтают, будто я прост как пятак, — хоть я пятаков давненько не видал, я и тому рад, если пенни перепадет. — Тут он примолк и откровенно уставился на карманы Уилла, после чего продолжал: — И вот служитель Господень спрашивает, что я задумал?

— Я сразу догадался, — серьезно произнес Уилл. — Как будто сердце подсказало.

Кожа отстала от мяса так легко, словно Крэкнелл разорвал лист бумаги. Он поднял освежеванного крота повыше и, довольный, полюбовался делом своих рук; в холодном воздухе над тушкой вилась струйка пара.

— Да, отпугнуть. — Крэкнелл помрачнел, отрезал кусок проволоки, продел его в розовый кротовый нос, из ноздри в ноздрю, и трижды обмотал вокруг столба. — Отпугнуть, говорите! Так ведь еще неизвестно, кого именно я хочу отпугнуть, — а может, никто об этом и не узнает, пока не раздастся вопль и горькое рыдание, и будем мы плакать по детям своим, ибо нет их, и не захотим утешиться... ^[14]

Рука его, сжимавшая проволоку, затряслась, и Уилл в смятении заметил, что и нижняя губа у Крэкнелла дрожит. Первым его порывом, продиктованным столько же выучкой, сколько сердцем, было подать страждущему утешение, но это желание тут же сменилось раздражением. Значит, старик тоже поддался обману зрения, в который поверила вся деревня! Преподобный вспомнил, как его дочь прибежала домой в слезах от испуга: мол, к ним по реке кто-то подкрадывался; вспомнил и записки, которые прихожане просовывали в ящик для пожертвований: священника просили молиться об искуплении грехов, навлекших на деревню Божью кару.

— Мистер Крэкнелл, — отрывисто проговорил Рэнсом и продолжил не без иронии, пусть старик поймет, что бояться нечего, кроме долгой зимы и запаздывающей весны: — Мистер Крэкнелл, я, может, в епископы не гожусь, но всегда узнаю искаженную цитату из Писания. Детям нашим не грозит никакая опасность! Где ваш рассудок? Куда вы его подевали?

Тут преподобный вытянул руки и сделал вид, будто хлопает старика по

карманам.

— Не хотите же вы сказать, что развесили здесь этих несчастных зверюшек, чтобы отпугнуть какое-то... какого-то мифического морского змея, который якобы обитает в Блэкуотере!

Крэкнелл польщенно улыбнулся:

— Любезно с вашей стороны взывать к моему рассудку, ваше преподобие, тем паче что вся деревня считает, будто у меня его сроду не было. — Старик любовно шлепнул освежеванного крота по спинке. — И все ж таки я говорил и говорю: предосторожность никогда не помешает. Если же кто из людей или зверей вздумает сунуться на Край Света, мои маленькие пугала его остановят.

Он ткнул большим пальцем за спину, на зады дома, где прилежно щипали траву две привязанные козы:

— Тут у меня, изволите видеть, Гог и Магог для компании, к тому же они дают молоко и сыр, которые так нравятся любезной миссис Рэнсом, и я не могу рисковать их жизнью! Ну уж нет! Я не хочу остаться один! — Голос его снова дрогнул, но на этот раз Уилл понял причину. Трижды за три года он стоял рядом с Крэкнеллом над могилами — сперва жена, потом сестра, а за нею сын.

Преподобный сжал плечо старика:

— Вам и не придется: у вас свое стадо, у меня свое, и оба опекает один и тот же Пастырь.

— Спасибо на добром слове, ваше преподобие, а в церкву к вам я все равно не приду. Уж я так решил: раз Всевышний прибрал миссис Крэкнелл, я к нему больше не ходок, помяните мои слова, я от них ни за что на свете не отступлюсь.

На лице старика появилось упрямое выражение, как у непослушного ребенка, и все же это было настолько лучше слез, что Уилл, еле удержавшись от смеха, ответил серьезно, вполне отдавая себе отчет, чего стоит договор с Господом:

— Что ж, раз вы так решили, я не вправе вас переубеждать. Вы человек слова.

На солончаках за домом прибывала вода; закатное солнце не грело. За болотом в Олдуинтере, в отличие от деревень на другом берегу Блэкуотера, глазам открывался простор до самого горизонта, где Блэкуотер впадал в Северное море. Уилл заметил огни рыбацкой лодки, направлявшейся домой, и подумал о Стелле — к вечеру она уставала, управляясь с детьми. Вот она отдергивает занавеску, вглядывается в сторону Дуба изменника и смотрит, как возвращается муж. Преподобному так остро захотелось

увидеть жену, услышать, как дети возятся за дверью кабинета, что он едва не возненавидел вросшую в землю мшистую лачугу, но вспомнил, как Крэкнелл бросал горсть земли на сосновый гробик, и помедлил у ворот.

— Обождите-ка, ваше преподобие, — сказал Крэкнелл, — я вам кое-что дам.

Он слился со стеной дома, спустя мгновение вернулся с парой симпатичных востроглазых кроликов, которых недавно поймал, и сунул их Уиллу:

— Передайте миссис Рэнсом мои наилучшие пожелания, ей сейчас нужны силы, возраст у нее самый такой, только детишек рожать, а миссис Крэкнелл всегда говорила, что от этого кровь становится жиже.

Старик сиял от удовольствия, сделав Уиллу подарок. Тот принял его с достоинством и, чувствуя, как сжалось горло, поблагодарил: из кроликов получится отличный пирог, кстати, Джонни его обожает. Потом, чтобы сделать приятное Крэкнеллу, повесил зверьков к себе на пояс, как заправский крестьянин, и попросил:

— Расскажите мне, что вы видели, мистер Крэкнелл, потому что я уже сам не знаю, кому и чему верить. Один бедолага утонул в реке, но ведь зимой это не редкость. Ходили слухи, будто бы задрали овцу, но лисам тоже нужно что-то есть, а девочка, которая якобы потерялась вечером, утром нашлась в кладовке, где втихомолку ела мамины конфеты. Бэнкс привозит на своем баркасе странные вести из Сент-Осайта и Молдона, но мы же с вами оба знаем, что он все врет. На постоялом дворе судачат, будто бы в Пойнт-Клире из лодки украли ребенка, но кто же додумается взять малыша с собой в море, когда дни такие короткие и холодные? Скажите мне, что вы своими глазами видели то, чего нужно бояться, и тогда я, может, поверю.

Преподобный пристально посмотрел старику в глаза, но тот отвел взгляд и уставился поверх его плеча в пустое пространство.

Рэнсом знал цену молчанию, поэтому не говорил ни слова, и чуть погодя Крэкнелл вздохнул, пожал плечами, потербил нож и ответил:

— Дело ведь не в том, что я вижу, а в том, что чувствую. Эфир же я не вижу, но чувствую, как он входит и выходит из легких, и не могу без него обходиться. Я чувствую: рано или поздно что-то будет, попомните мои слова. Вам прекрасно известно, что так уже было и будет впредь, не на моем веку, так на вашем, или ваших детишек, или их потомков, так что я препояшу чресла, и — простите мою дерзость, ваше преподобие, — лучше бы вам тоже подготовиться.

Уилл вспомнил вырезанного на церковной скамье персонажа старинной легенды и пожалел (уже не в первый раз), что в день, когда

принял приход, не взял молоток и стамеску и не уничтожил резьбу.

— Я всегда на вас рассчитывал, мистер Крэкнелл, и впредь возлагаю на вас большие надежды; можете даже считать себя стражем Олдуинтера здесь, на краю света», и в знак предупреждения зажигать в саду огонь. Да призрит на вас Господь светлым лицом Своим,^[15] хотите вы того или нет! — произнес Уилл и, благословив старика, отправился домой, рассчитывая чуть-чуть обогнать надвигающуюся ночь и успеть домой как раз до темноты.

Пугала Крэкнелла и его очевидный страх тревожили преподобного не потому, что он поверил, будто на дне Блэкуотера притаилось диковинное чудовище и ждет своего часа, но потому, что он чувствовал себя ответственным: его паства поддалась греховному суеверию. Все спорили о том, какого змей размера, вида и откуда взялся, но не сомневались, что он облюбовал реку и появляется на заре. Не было ни единого доказательства, что змей нападает на поселян, но с самого конца лета его винили во всех бедах, стоило заблудиться чьему-то ребенку или взрослому сломать руку либо ногу. До преподобного как-то раз дошел слух, будто из-за мочи дракона испортилась водяная колонка в Феттлуэлле и трое там даже отравились и умерли еще в канун Нового года. Стелла не раз мягко предлагала ему заявить обо всем с кафедры, но он наотрез отказывался признавать «напасть», даже после того как заметил, что по воскресеньям прихожане, не сговариваясь, единодушно отказываются садиться на скамью, где вырезан змей, словно опасаются, что тогда их страх обретет плоть и кровь.

Сумерки сгущались, и преподобный прибавил шаг, только раз оглянувшись на щербатый белый лик восходящей луны. Крепчающий в камышах ветер выл до того заунывно и монотонно, что Уилл почувствовал, как сердце затрепыхалось, точно от страха, и рассмеялся: вот вам пожалуйста, как легко испугаться неведь чего. Впереди замаячили огни Олдуинтера. Там ждали его дети — теплые, крепкие, пахнущие мылом, светлокожие, как он сам мальчишкой, целиком и полностью настоящие, упрямо заявляющие о себе, шумливые непоседы. При мысли об этом преподобного охватила такая радость, что он негромко вскрикнул (а может, хотел предупредить или напугать бродячих собак, буде встретятся на пути?) и оставшиеся полмили до дома бежал бегом. Джон уже поджидал его, в белой ночной рубашке стоя на одной ноге на столбе ворот. Завидев Уилла, малыш крикнул: «Пальцы чешутся. К чему бы?»^[16] — и уткнулся лицом в отцово пальто. Почувствовав, как его шею коснулась кроличья

шерсть, Джон радостно воскликнул:

— Ура! Ты сдержал слово, ты принес мне друга!

*Кора Сиборн
Гостиница «Красный лев»
Колчестер
14 февраля*

Мой дорогой Чертенок!

Как Вы поживаете? Тепло ли одеваетесь? Хорошо ли питаетесь? Как Ваш порез, зажил? Любопытно было бы на него посмотреть. Очень он был глубокий? Пусть будет остер Ваш скальпель, а ум еще острее. Как же я по Вам скучаю!

У нас все благополучно, Марта шлет Вам привет, — впрочем, Вы все равно в это не поверите, правда? Фрэнсис не шлет ничего, но, думаю, был бы не прочь снова увидеть Вас, если бы Вы согласились приехать в это захолустье; большего никто из нас от него не дождется — так вы приедете? Правда, здесь холодно, однако морской воздух хорош, да и в Эссексе вовсе не так скверно, как говорят.

Я побывала в Уолтоне-на-Нейзе и в Сент-Осайте, но морского дракона так и не нашла — и даже захудалой морской лилии! — но Вы же меня знаете, я просто так не сдамся. Владелец здешней скобяной лавки решил, что я сошла с ума, и продал мне два новых молотка и такой замшевый пояс, чтобы их носить. Марта ворчит, что я хожу чумичкой, уродиной, но Вы же знаете, я всегда считала красоту проклятьем и безумно рада, что отделалась от необходимости выглядеть привлекательно. Я порой даже забываю, что я женщина, — точнее, не думаю о себе как о женщине. Мне кажется, что все радости и обязанности, которые сулит женский пол, больше не имеют ко мне никакого отношения. Я не знаю, как должна себя вести, да если бы и знала, едва ли стала бы трудиться.

Кстати, о светской публике: ни за что не угадаете, кого мы встретили на Хай-стрит, пока искали

приличное местечко, чтобы переждать дождь. Чарльза Эмброуза! В своем бархатном пальто он выглядел что твой попугай в стае голубей. Чарльз настаивает, что мне необходимо завести в Эссексе знакомства, чтобы я по незнанию не переломала себе ноги где-нибудь в полосе прилива (или даже чего похуже). Сообщил нам, что в Блэкуотере якобы обитает чудовище, но об этом я Вам расскажу при встрече. Чарльз грозился познакомить меня с каким-то сельским священником, и хотя меня, признаться, так и подмывает воспользоваться его предложением — исключительно ради удовольствия эпатировать этого бедолагу, знакомого Эмброуза, — но все-таки я бы предпочла, чтобы меня оставили в покое. ПРИЕЗЖАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, МИЛЫЙ ЧЕРТЕНОК! Я так по Вам скучаю. Без Вас мне худо и почему это я должна оставаться без Вас?

С любовью,

Кора.

Д-р Люк Гаррет
Пентонвилль-роуд
N1
15 февраля

КОРА,

Рука уже лучше, спасибо. Инфекция оказалась полезной: опробовал новые чашки Петри и вывел кое-какие бактериальные культуры. Вам бы точно понравилось. Они получились синие и зеленые.

Мы со Спенсером, скорее всего, приедем на той неделе. Так что увидимся. Если можете, прогоните дожди.

ЛЮК.

P. S. Формально это была «валентинка». Не отпирайтесь.

Кора шагала под легким дождем в пяти милях к востоку от Колчестера. Она понятия не имела, куда идет и как вернется домой, ей лишь хотелось выбраться из мерзлой комнаты «Красного льва». Фрэнсис разрезал подушку, чтобы достать и пересчитать перья, и ни Коре, ни Марте не удалось объяснить ему, почему так делать нельзя («Ну и что, вы же можете за нее заплатить, и тогда она будет моей»). Чтобы избавиться от его неумолчного бормотания, — когда она закрывала за собой дверь, вслед ей летело «сто семьдесят три», — Кора подпоясала пальто и сбежала по лестнице. Марта услышала крик: «Буду засветло, деньги взяла, меня кто-нибудь подвезет» — и со вздохом вернулась к мальчику.

Через полчаса Колчестер скрылся из виду, и Кора направилась на восток, практически уговорив себя, что сумеет дойти до устья Блэкуотера и не устать. Встретившуюся на пути деревню она обошла стороной: не хотелось никого видеть, ни с кем говорить. Кора выбирала поросшие травой проселки на опушках дубовых рощ, навстречу ей почти никто не попадался, лишь изредка медленно проедет телега. Никто не обращал внимания на женщину, шагавшую по обочине. Когда начался дождь, Кора углубилась в рощу и подняла глаза к унылому, однообразно серому небу — ни бегущего облачка, ни синей прогалины, а солнца и вовсе не видать. Словно неисписанный лист бумаги, на фоне которого чернели ветви деревьев. От такого вида любого охватит тоска, но Коре все казалось красивым: обрывки березовой коры, похожие на куски беленого холста, мокрая и скользкая листва под ногами. Повсюду зеленел мох, окутывая, точно мехом, подножия деревьев и валявшиеся на дороге сломанные сучья. Раз-другой Кора запнулась о плети ежевики, к колючкам которой пристали клочки белой шерсти и какие-то перышки, серые на кончиках, и беззлобно выругалась.

Ей вдруг подумалось, что все вокруг, под этим блеклым небом, сотворено из одной и той же материи — не совсем плоти и крови, но и не из земли. Там, где ветви отрубили от стволов, зияли раны, и Кора не удивилась бы, если бы пни дубов или вязов, мимо которых она проходила, принялись пульсировать. Кора представила, что она — часть этой природы, рассмеялась, подошла к дереву так близко, что услышала трели дрозда, и подняла руку: вдруг сочный зеленый лишайник затянет кожу между пальцами?

Неужели это было всегда — и чудесная черная земля, в которой утопаешь по щиколотку, и коралловая плесень, что вьется оборкой по

сучьям под ногами? Неужели и птицы тоже пели? И с неба сеялась изморось, такая легкая, что буквально растворяешься в ней? Конечно, было, ответила себе Кора, и не так уж далеко от дома. Наверно, она и раньше смеялась в одиночестве, уткнувшись лицом в сырую кору дерева, и вскрикивала от восторга, залюбовавшись листом папоротника, но все это было так давно, что теперь и не вспомнить.

Нельзя сказать, чтобы последние недели выдались совершенно безоблачными. Время от времени ее охватывала боль, и в мучительно долгие мгновения, когда Кора заново училась дышать, она чувствовала себя так, словно в груди открылась рана, ощущала внутри странное опустошение, будто какой-то жизненно важный орган был один на двоих с умершим и теперь медленно атрофировался за ненадобностью. В эти леденящие минуты она вспоминала не годы тревог, когда ей ни разу не удалось угадать его настроения или предвидеть, как и какие именно раны он нанесет ей на этот раз, а первые их месяцы, конец ее юности. Ах, как она была в него влюблена! Никто и никогда не мог бы любить сильнее. Она была слишком молода, чтобы устоять перед этим чувством, — ребенок, опьяневший от глотка вина. Он мерещился ей всюду, словно она долго смотрела на солнце, а когда зажмуривалась, в темноте перед глазами мелькали сполохи. Он был так мрачен, что, когда Коре удавалось его рассмешить, она чувствовала себя императрицей во главе армии; он держался с ней так строго и отчужденно, что стоило ему в первый раз ее обнять, как она тут же ему покорилась. Тогда она еще не знала, что это дешевые трюки дешевого трюкача: уступить в малом, чтобы выиграть в главном. И боялась она его в следующие годы так же, как прежде любила, — так же бешено колотилось сердце, так же не спала ночей и прислушивалась к его шагам в коридоре, страх пьянил ее, как любовь. К ней в жизни не прикасался ни один мужчина, и Кора не могла судить, насколько странна ее такая же податливость страху, как наслаждению. Она не знала любви других мужчин, а значит, не в силах была понять, естественна ли его внезапная холодность. Что, если она неизбежна, как отлив, и столь же неумолима? Когда ей наконец пришлось на ум подать на развод, было уже поздно: Фрэнсис не смирился бы даже с тем, что обед подадут в другое время против обычного, так что любые перемены угрожали его здоровью. К тому же само присутствие мальчика, несмотря на все его пугающие ритуалы и необъяснимые перепады настроения, внушало Коре чувство, в котором она — единственном из всех — ничуть не сомневалась: он ее сын, и она исполнит свой материнский долг. Она любила Фрэнсиса, и порой ей казалось, что он тоже ее любит.

Ветерок стих, смолк шелест дубравы, и Коре почудилось, будто ей снова двадцать, будто ее сын, стиснув кулачки, только что с криком появился на свет. Его хотели забрать у нее, укутать в белую пеленку, но она взбунтовалась, и младенца оставили. Он вслепую нащупал ее грудь и присосался к ней с такой силой, что акушерка изумилась: надо же, какой хороший мальчик, умненький. Они часами смотрели друг на друга; сын не сводил с нее глаз — мутных, темно-синих, цвета сумерек, — и она думала: «У меня появился союзник, и он никогда меня не оставит». Шли дни, и Коре казалось, будто ее раскололи на части, рана эта вовеки не заживет, из-за сына сердце ее всегда будет беззащитным, но она об этом никогда не пожалеет. Она боготворила его, восторженно подмечала в нем каждую мелочь, любовалась, какая нежная кожа у него на пяточках — точно шелковая наволочка на подушке, часами щекотала их кончиком пальца, чтобы снова и снова увидеть, как он блаженно растопырит пальчики, — подумать только, ему нравится! Она доставляет ему удовольствие! Кулачок его походил на согретую солнцем ракушку, и она захватывала губами сжатые пальчики, удивляясь ему, его ручкам и ножкам, в которых таились такие сокровища. Но не прошло и нескольких недель, как глаза его словно зашорились, и Коре иногда казалось, что они действительно затуманились. Ее прикосновения причиняли ему боль или по меньшей мере приводили его в ярость, которую он не умел обуздать; когда она брала его на руки, он принимался вырываться, размахивал ручками, поцарапал ей веко острым ноготком большого пальца. Теперь не верилось, что когда-то они обожали друг друга. Растерянная и униженная Кора, чью любовь снова отвергли, научилась скрывать свои чувства, а Майкл смеялся над ее бедой: мол, с детьми возятся только простолюдины, и лучше ей препоручить воспитание няне и гувернантке. Шли годы. Она выучила привычки и характер сына, а он — ее. И пусть их отношения почти ничем не напоминали ту беззаботную любовь, которую Кора замечала между матерью и сыновьями в других семьях, все же их связь стала достаточно прочной, и это была их жизнь.

Кора шла вперед. Ледяной дождь и черная земля могли бы ввергнуть в уныние кого угодно, но в душе ее не было скорби об умершем. В горле забулькало, и она бессовестно расхохоталась, да так, что молчавшие дотолы птицы раскричались от испуга. Разумеется, Коре тут же стало стыдно, но она привыкла всю жизнь себя стыдиться, к тому же верила, что ей удастся скрывать растущее счастье от всех, кроме Марты. При мысли о подруге (которая наверняка сейчас хмуро сидит в кафе, куда сбежала от очередной причуды Фрэнки, или кокетничает с хозяином «Красного льва») она

примолкла и приподняла руки, представив, что Марта шагает к ней навстречу меж мокрыми деревьями. По ночам они лежали спина к спине под тонким стеганым одеялом, подтянув от холода колени к животу, иногда поворачиваясь друг к другу, чтобы шепотом пересказать вспомнившуюся сплетню или пожелать доброй ночи; иной раз Кора просыпалась у Марты в объятиях. Их простая дружба поддерживала Кору, когда все вокруг ввергало ее в отчаяние, и если Марта боялась, что в ней пропадет нужда, поскольку теперь Кора крепче стоит на ногах, то она ошибалась.

На восьмой миле Кора почувствовала, что устала. Она стояла на пригорке. Лес вокруг поредел, дождь кончился, в воздухе пахло свежестью, и хотя из-за низких белых облаков не пробивалось ни луча солнца, мир вокруг заиграл яркими красками. Повсюду краснели заросли прошлогоднего папоротника-орляка, а над ними желтели кусты рано зацветшего дрека. Невдалеке паслось стадо овец с фиолетовыми чернильными пятнами на задних ногах; животные на мгновение подняли глаза на Кору, повели лопатками и отвернулись. Тропинка, на которой стояла Кора, была яркой, глинистой, чуть ниже по склону холма зеленело густо поросшее мхом поваленное дерево. От перемены пейзажа у Кору захватило дух, как от высоты, и она зажмурилась, чтобы привыкнуть. Вдруг тишину пререзал странный вопль — казалось, плакал ребенок, но не такой уж маленький, чтобы так реветь. Слов было не разобрать, только всхлипы и хныканье, которые то стихали, то звучали громче. К детскому прибавился другой голос, явно мужской — глубокий, спокойный, напевный. Сперва Кора не поняла ни слова, но потом, прислушавшись, различила: «ну... ну... ну...» Повисло молчание. У Кору заколотилось сердце, хотя впоследствии она утверждала, будто ничуть не испугалась. Затем мужской голос раздался снова, на этот раз он звучал выше и грубее, и в какую-то минуту Коре показалось, будто посреди отчаянных уговоров проскользнула фраза: «Да чтоб тебя! Будь ты неладна!» Потом раздался глухой стук, как если бы чем-то твердым ударили по мягкому, а следом сдавленный вопль.

Тут Кора подобрала длинные полы пальто, отяжелевшие от грязи, и ринулась на крик. Глинистая тропинка с пригорка спускалась между высоких светло-зеленых изгородей со скрюченными почерневшими стручками, которые затрещали, когда Кора пробежала мимо. Чуть ниже бурные заросли папоротника наконец расступились, и Кора увидела овец, уткнувшихся мордой в траву, а слева — мелкое озерцо, над которым высился голый дуб. Вода в озере помутнела от грязи, поверхность испещряли капли дождя. Ни водорослей, ни птиц — ничем не

примечательное озеро, за исключением того, что на ближнем к Коре берегу над водой склонился какой-то мужчина. Он боролся с чем-то белым, что ожесточенно сопротивлялось и хныкало, и от этого звука Кору затошнило. Отчаянные движения неизвестного существа показались ей до того знакомыми, что Кора припустила вперед, пытаясь крикнуть: «Довольно! Прекратите!» — но голос сорвался на визг.

Неизвестно, услышал ли незнакомец ее вопль, но головы не поднял и дела своего не оставил. Он вдруг снова что-то проворковал тем же глубоким голосом, который Кора слышала в первый раз, но теперь это привело ее в смятение: разве можно так ласково разговаривать с тем, с кем обходишься так жестоко? Подбежав ближе, она увидела, что мужчина стоит по щиколотку в мутной воде и спина его в темном зимнем пальто забрызгана грязью. Даже с такого расстояния Кора заметила, что незнакомец выглядел сущим оборванцем — от пропитанной влагой плотной одежды до мокрых вьющихся волос, падавших ему на воротник. Если верить легендам, подумала Кора, и человек действительно сотворен из горсти праха, то перед нею Адам собственной персоной — грязный, словно слепленный из глины, дурно сложенный, косноязыкий.

— Что вы делаете? Прекратите!

Незнакомец обернулся, и Кора увидела, что роста он чуть выше среднего и крепко сбит. Лицо его было таким чумазым, что казалось, будто у мужчины растет борода. Возраста не разберешь, то ли двадцать, то ли шестьдесят, рукава засучены до локтей, так что видны жилистые сильные предплечья. Окинув Кору взглядом, незнакомец, видимо, решил, что опасности она не представляет, а помощи от нее не дожدهшься, пожал плечами и отвернулся. С таким пренебрежением Кора мириться не собиралась: с отчаянным криком она бросилась к мужчине и, подбежав к кромке воды, увидела, что белое существо, которое отчаянно сопротивлялось незнакомцу, просто увязшая на мелководье овца. Кору охватило облегчение: ужасы, которые она вообразила, оказались пшиком.

Овца вытаращила на Кору глупые глаза и заблеяла. Задние ноги животного до самого живота были выпачканы в глине, и оттого, что овца трепыхалась, увязала она еще сильнее. Незнакомец просунул правую руку под левую переднюю ногу овцы, схватил ее за спину, а левой пытался уцепиться за бок и вытащить бедолагу на сушу, но поскользнулся на раскисшем берегу. Овца с перепугу зажмурилась, замерла на мгновение, словно покорившись судьбе, потом заблеяла, снова принялась биться и ударила передним левым копытом мужчину по щеке. Он вскрикнул от боли, и Кора увидела, что под грязью проступила кровь.

Вид его рассеченной щеки вывел Кору из оцепенения.

— Давайте помогу, — предложила она, и мужчина что-то пробурчал в знак согласия.

«Да он полоумный!» — осенило Кору (забавно будет описать это происшествие друзьям). Овца снова обмякла, испустила долгий вздох, так что изо рта у нее поднялась струйка пара, и позволила мужчине вцепиться обеими руками ей в спину. Оба тут же ухнули в жидкое месиво, и мужчина, оглянувшись, в сердцах бросил Коре:

— Ну что же вы? Помогите!

Значит, все-таки не совсем полоумный. Незнакомец растягивал гласные — типичный акцент для этих краев. Кора взялась за свой широкий мужской ремень. Замерзшие пальцы не слушались, и, пока она пыталась расстегнуть пряжку, овца увязла еще глубже. Наконец Коре удалось снять ремень, она кинулась к овце и набросила на нее петлю из пояса, как уздечку, чтобы подхватить под передние ноги. Мужчина выпустил овцу и забрал у Кору ремень; животное, почуяв, что его больше не держат, дернулось, и Кора упала в грязь. Незнакомец и бровью не повел, лишь пробурчал: «Вставайте! Ну же!» — жестом велел взять ремень и снова вцепился овце в бок. Вдвоем они медленно потащили бедолагу на берег. Кора чувствовала, как напрягаются плечевые кости в суставных ямках. Наконец овца оказалась на суше, а Кора с незнакомцем рухнули на землю. Кора отвернулась, стараясь отдышаться. Бог с ним, с испорченным пальто и болью в запястьях, но стоило ли так убиваться ради этого олуха с его безмозглой скотиной? Пасшиеся в отдалении товарки несчастной настороженно уставились на них, но чудесное спасение утопающей ничуть их не тронуло. «Мне бы радоваться», — подумала Кора, но на душе было скверно.

Кора обернулась. Мужчина смотрел на нее поверх рукава, который прижимал к ссадине на щеке. Он надел шапку, такую неказистую, словно сам кое-как связал ее из обрывков алой пряжи, натянул до бровей, которые были так густо облеплены грязью, что едва не закрывали глаза.

— Спасибо, — буркнул он гнусаво, и даже это короткое словцо выдавало в нем деревенщину.

«Явно селянин», — подумала Кора и, не ответив на высказанную столь неучтиво благодарность, спросила, указав на лежавшее без сил животное:

— Она оправится?

Овца беззвучно пожевала губами и закатила глаза.

Незнакомец пожал плечами:

— Наверно.

— Ваша?

— Ха! Нет. Не из моего стада.

Эта мысль, должно быть, его позабавила, и он усмехнулся.

Значит, он бродяга! Кора привыкла думать о людях хорошо, если только они не давали ей повода считать иначе, к тому же она скоро вернется домой, к Марте и чистым белым простыням, а этот бедняга, быть может, устроится на ночлег в зарослях папоротника, и рядом с ним не будет никого, кроме едва не утонувшей овцы. Кора улыбнулась и решила закончить разговор со светской любезностью:

— Что ж, мне пора домой. Рада была с вами познакомиться. — Она обвела рукой мокрые дубы и илистый пруд, поверхность которого после их борьбы еще не успокоилась, и, желая казаться любезной, проговорила: — До чего же здесь мило.

— Неужели?

Голос его прозвучал приглушенно из-за рукава, который бродяга по-прежнему прижимал к щеке. Кора заметила, что по лицу у него струится кровь, смешанная с грязной водой. Ей хотелось спросить, не больно ли ему, сумеет ли он благополучно добраться до дома, не нуждается ли в помощи, но, в конце концов, это его края, а она здесь лишь гостья. Тут Кора увидела, что сгущаются сумерки, и подумала вдруг, что если кто из них двоих и нуждается в помощи, так это она: до гостиницы бог знает сколько миль, к тому же она понятия не имеет, где сейчас находится. Стараясь сохранить лицо, она спросила:

— Скажите, пожалуйста, далеко ли до Колчестера? Где мне нанять кэб, чтобы доехать до дома?

Бродяга, видимо, был так глуп, что даже не удивился. Он кивнул на дальний берег, где меж дубов виднелся просвет, за которым тянулось поле:

— Вон там дорога, по ней налево, через пятьсот ярдов будет трактир, они добудут вам кэб.

С этими словами бродяга махнул ей, словно вельможа, отпускающий слугу, развернулся и побрел прочь. От холода он так ссутулился, что казался горбуном в тяжелом от грязи пальто. Кора, которую всегда было легче развеселить, чем разгневать, не удержалась от смеха. Видимо, незнакомец это услышал, поскольку остановился, полуобернулся к ней, но потом передумал и продолжил путь.

Кора поплотнее запахнула пальто, затянула пояс. Вокруг нее пели свои вечерние песни птицы. Овца проползла ярд-другой по берегу, приподнялась на согнутых ногах и тыкалась мордой в землю в поисках травы. Смеркалось, над холодной землей вставала тонкая молочная пелена тумана,

касаясь ботинок Кора. Травяная изгородь у последнего дуба покосилась, прилегла на обочину; неподалеку ярко светились окна деревянно-кирпичного трактира, маня проезжавших мимо путешественников, и Кора вспомнила, что до дома еще далеко, дороги она не знает, и при мысли об этом на нее вдруг обрушилась такая усталость, что она едва устояла на ногах. Переступив порог трактира, Кора увидела женщину с белокурыми локонами, уложенными в высокую прическу. Блондинка стояла, облокотясь на барную стойку, и приветливо улыбалась гостю. Кора замерла в дверях, чтобы поправить одежду. Разгладив пальто, она обнаружила на пряжке ремня клочок белой шерсти с пятном крови. В свете лампы кровь блестела, как свежая.

5

Джоанна Рэнсом, неполных тринадцати лет, высокая, в отца, и в его новехоньком пальто, вытянула руку над костром, поднесла пальцы к самому огню и медленно убрала, стараясь сохранить достоинство. Ее младший брат Джон с серьезным видом наблюдал за сестрой. Он куда охотнее засунул бы руки в карманы, но ему было велено потерпеть, чтобы промерзли как следует.

— Мы же приносим жертву, — пояснила Джоанна по дороге к клочку земли за Краем Света, где за болотами начиналось устье Блэкуотера, а за ним — море. — А какая жертва без мучений?

Днем Джоанна отвела Джона в уголок их холодного дома и прошептала: что-то в Олдуинтере нечисто. Сперва утопленник (говорят, его нашли голым, с пятью глубокими ссадинами на бедре!), потом эпидемия в Феттлуэлле, да еще им всем приснился кошмар: мокрые черные крылья. И мало того: ночи уже должны были стать светлее, в саду должны были зацвести подснежники, а мама давным-давно должна была спать ночи напролет, а не просыпаться от надсадного кашля. По утрам должны петь птицы. Дети не должны дрожать от холода в кровати. Все это либо из-за нераскаянного греха, либо из-за того, что землетрясение разбудило что-то в глубине Блэкуотера, — а может, потому что отец соврал («Сказал, будто не боится и ничего там нет, но тогда почему больше не ходит к морю после заката? Почему не пускает нас поиграть на лодки? И почему у него такой усталый вид?»). Что бы ни стало причиной, кто бы ни был виновен, но они обязаны вмешаться. В древности в далеких странах вырезали жертвам сердца, чтобы умиловить солнце, так отчего бы им ради спасения деревни не провести небольшой обряд?

— Я все придумала, — сообщила Джоанна. — Вы же мне доверяете, правда?

Они стояли меж ребер клипера, который кто-то бросил здесь лет десять тому назад да так и не убрал с берега. Суровая стихия оставила от корабля с дюжину выгнутых почерневших балок, до того похожих на разъятую грудную клетку утонувшего зверя, что местные прозвали этот скелет Левиафаном. Лежал он неподалеку от деревни, так что детей не ругали за самовольные отлучки, но при этом они оказывались вне поля зрения взрослых, и те не видели, чем дети там занимаются. А они летом сушили на балках одежду, зимой жгли в корпусе костры, причем всегда опасались, что он сторит, и расстраивались, когда этого не случалось. На досках вырезали перочинным ножом ругательства и любовные послания, прятали на мачтах монетки и забывали их тратить. Джоанна разложила костерок чуть поодаль от клипера, в круге из камней, и дрова хорошо занялись. Она обвязала их бурыми водорослями, источавшими пряный запах, и вдавила в крупный песок семь своих лучших ракушек.

— Я есть хочу. — Джон посмотрел на сестру и тут же пожалел о своем малодушии. Весной ему исполнится семь лет, а ведь с годами отвага должна прибывать. — Но я потерплю, — добавил Джон и дважды вприпрыжку обежал вокруг костра.

— Так и надо, ведь сегодня же ночь голодной луны, правда, Джо? — Рыжая Наоми Бэнкс прислонилась к Левиафану и с обожанием уставилась на подругу. В глазах Наоми дочь преподобного Рэнсома обладала властью королевы и премудростью Всевышнего, так что девочка с радостью прошла бы босиком по горящим углям, если бы подруга велела.

— Верно, голодная луна и последнее полнолуние зимы.

Стараясь держаться одновременно строго и снисходительно, Джоанна представила себе отца во время проповеди и приняла такую же позу. За неимением кафедры она воздела руки к небу и произнесла нараспев (чему училась несколько недель):

— Мы собрались здесь в день голодной луны, чтобы умолить Персефону разорвать цепи Аида и принести весну в наши родные края. — Джоанна бросила быстрый взгляд на подругу, гадая, удалось ли взять верный тон и не злоупотребляет ли она образованием, на котором настоял отец.

Наоми прижала к горлу ладонь, покраснелась, глаза ее сияли, и ободренная Джоанна продолжала:

— Слишком долго терзали нас зимние ветры! Слишком долго темные ночи скрывали ужасы, что таятся в реке!

Джон взвизгнул. Как бы он ни храбрился, а все равно боялся чудовища, которое, быть может, прячется в ста ярдах от них. Джоанна нахмурилась и чуть возвысила голос:

— Услышь нас, о богиня Персефона! — После чего повелительно кивнула соратникам, и те дружно повторили:

— Услышь нас, о богиня Персефона!

Они возносили мольбы многочисленным богам, на каждом имени преклоняя колена; Наоми, чья мать держалась старой веры,^[17] истово крестилась.

— А теперь, — заявила Джоанна, — мы должны принести жертву.

Джон отлично помнил историю Авраама, который связал сына, положил на алтарь и занес над ним нож; мальчик снова взвизгнул и дважды обежал вокруг костра.

— Вернись, дурачок, — крикнула Джоанна, — никто тебя не тронет.

— Кроме змея, — добавила Наоми и, растопырив пальцы, точно когти, пошла на Джона, но тот посмотрел на нее с таким упреком, что она покраснела от стыда и взяла мальчика за руку.

— Мы жертвуем тебе наш голод, — проговорила Джоанна, и в желудке у нее позорно заурчало (завтрак она завернула в салфетку и позже скормила собаке, а от обеда отказалась, сославшись на головную боль). — Мы жертвуем тебе наш холод. (Наоми преувеличенно содрогнулась.) Мы жертвуем тебе нашу боль. Мы жертвуем тебе наши имена.

Джоанна примолкла, на минуту забыв ритуал, который придумала раньше, потом сунула руку в карман и достала три клочка бумаги. Днем она окунула уголок каждого в церковную купель, оглядываясь, не идет ли отец, хотя на всякий случай заготовила несколько отговорок. От воды уголки листов скукожились и сейчас, когда она протянула бумажки остальным участникам обряда, отчетливо хрустели.

— Теперь нам надо сотворить заклинание, — сурово объявила Джоанна, — отдать частичку собственной природы. Мы должны написать свои имена, поклявшись богам, которые нас слышат, пожертвовать собой — в надежде, что зима отступит от деревни.

Она вслушивалась в слова, которые произносила, довольная придуманной формулировкой. Вдруг ей на ум пришла мысль. Девочка подобрала с земли палочку, сунула в костер, дала ей заняться, после чего, задув пламя, угольком накорябала на клочке бумаги свое имя. Палка еще тлела, бумага коробилась и рвалась, так что богам понадобилась бы вся небесная мудрость, чтобы с такой высоты разобрать хоть что-то, кроме инициалов Джоанны, но на остальных ее жест произвел огромное

впечатление. Она протянула палку Наоми, та нацарапала на бумажке «Н» и хотела было помочь Джону поставить отметину, но тот так гордился своим почерком, что лишь отмахивался да отпихивал помощницу локтем: сам справлюсь.

— А теперь, — Джоанна собрала бумажки и порвала их на клочки, — идем к костру. Отморозили руки? Наполнили их зимой? («Отлично сказано: наполнить зимой», — подумала Джоанна. Пожалуй, когда вырастет, она станет священником, как отец.)

Джон посмотрел на кончики пальцев: что, если они почернеют от холода?

— Я не чувствую рук, — признался он.

— Ничего, сейчас почувствуешь, — ухмыльнулась Наоми — рыжая, в рыжем пальто. Джон ее терпеть не мог. — Еще как почувствуешь.

Она рывком подняла его на ноги, и они следом за Джоанной подошли к костру. Кто-то наступил на пучок водорослей, и те затрещали. Невдалеке набегали на берег волны: начинался прилив.

— Ну, Джон, — проговорила Джоанна, — сейчас придется потерпеть: будет больно.

Она бросила в огонь клочки бумаги, а следом — щепотку соли из серебряной материнной солонки. Пламя на мгновение вспыхнуло синим. Джоанна протянула руки над костром, величаво кивнула товарищам, чтобы те последовали ее примеру, закрыла глаза и повернула ладони к пламени. Сырое полено брызнуло искрами, так что прожгло рукав отцова пальто. Джоанна вздрогнула и, опасаясь, как бы брат не обморозился (кожа на его запястьях побелела), взяла его за руки и подтянула их на дюйм-другой ближе к огню.

— Это не чтобы ты получил ожог, — поспешно пояснила она, — а чтобы согрелся быстрее. Руки будут гореть, словно когдаходишь домой с мороза.

— Смотрите, у меня вены просвечивают, — похвасталась Наоми, прикусив прядь волос. И правда: у нее были перепоночки между пальцами, и она гордилась этим дефектом — ей как-то сказали, что такой же был у Анны Болейн, и ничего, окрутила самого короля. Пламя костра просвечивало сквозь тонкую кожу, так что были видны синие жилки.

Джоанна молча подивилась, но сказала, желая подчеркнуть, кто здесь главный:

— Мы пришли сюда, чтобы пожертвовать плотью, Номи, а не чтобы ею хвалиться. — Она назвала подругу детским именем, чтобы показать, что не осуждает ее.

Наоми согнула пальцы и серьезно проговорила:

— Больно, между прочим, уж будь уверена. Как крапива жжет.

Подруги посмотрели на Джона: у мальчика дрожали руки от страха, и либо стелившийся по земле дым от костра ел глаза, либо малыш изо всех сил старался не расплакаться. Но с ним явно что-то было неладно: пальцы покраснели, и Джоанне даже показалось, что кончики их опухли. Джоанна не сомневалась, что боги милостиво примут жертву такого юного участника обряда, как не сомневалась и в том, что мама ей задаст (и поделом!). Она толкнула брата локтем и сказала:

— Подними руки выше, что ты как дурак! Пальцы до костей сжечь хочешь?

Тут у Джона брызнули слезы, и в тот же самый миг (по крайней мере, так потом рассказывала Джоанна, когда они забрались в школе под стол, Наоми кивала, прижавшись к боку подруги, а сидевшие у них в ногах девочки благоговейно слушали) из-за низкой сизой тучи вышла полная луна. Мертвенно-бледным светом залило усыпанный галькой песок; море, подкрадывавшееся сзади по соленым болотам, заблестело.

— Это знак, видели? — Джоанна отдернула руки от огня, но тут же вытянула обратно, заметив приподнятую бровь Наоми. — Знамение свыше! Сама богиня... — она запнулась, вспоминая имя, — богиня Феба услышала наши мольбы!

Джон и Наоми обернулись на луну и долго глядели на ее обращенный к миру лик. Каждый увидел в щербатом диске печальные глаза и искривленный рот женщины, окутанной тоской.

— Думаешь, получилось? — Наоми не допускала мысли, что подруга могла ошибиться в таком важном деле, как заклинание весны, к тому же у нее болели руки и во рту маковой росинки не было со вчерашнего вечера, после хлеба с сыром; да и разве она не видела, как ее собственное имя на крещеном клочке бумаги вспыхнуло снопом искр? Она застегнула до горла пальто и оглянулась на море за солеными болотами, словно ожидала увидеть рассвет, а с ним и стаю стрижей.

— Ох, Номи, не знаю! — Джоанна вяло ковыряла песок носком ботинка, ей уже было немного стыдно за свое представление. Подумать только: говорила нараспев, размахивала руками, как маленькая! — Не спрашивай меня, — добавила она, предупреждая вопросы, — я же раньше такого не делала, правда?

Джоанну кольнуло чувство вины. Она опустила на колени возле брата и сказала угрюмо:

— Ты держался молодцом. Если не получится, то уж точно не из-за

тебя.

— Я домой хочу. Мы опоздаем, нас накажут, весь ужин съедят, а сегодня мое любимое.

— Не опоздаем, — успокоила его Джоанна. — Мы же обещали вернуться засветло, а еще светло, видишь? Еще не стемнело.

Но уже почти стемнело, и Джоанне показалось, будто темнота наползает из-за устья реки, с моря, которое словно почернело и так загустело, что по нему при желании можно было пройти пешком. Всю свою жизнь она провела здесь, в глухом краю, и ни разу ей в голову не пришло усомниться в этой переменчивой земле. И соленая вода, сочащаяся по болотам, и меняющиеся очертания илистых берегов и ручейков, и приливы и отливы, время которых она ежедневно сверяла по отцовскому альманаху, были ей так же привычны, как семейный уклад, и не внушали страха. Еще не умея различать их на бумаге, Джоанна, сидя у отца на плечах, с гордостью показывала и называла Фаулнесс и Пойнт-Клир, Сент-Осайт и Мерси, и где находится часовня Святого Петра на стене. Домашние повторяли, покружив ее на месте с десяток раз: «Все равно она встанет лицом на восток, к морю».

Но во время их ритуала что-то переменилось. Джоанну так и подмывало оглянуться через плечо, словно она могла увидеть, как прилив повернет вспять или волны расступятся, будто перед Моисеем. Разумеется, она слышала о притаившемся в водных глубинах чудовище, из-за которого пропал ягненок, а человек сломал руку, но не придавала этому значения: в детстве и так всего боишься, так зачем верить сплетням и умножать страхи? Она подняла глаза, чтобы еще раз увидеть бледное печальное лицо лунной женщины, но небо над болотами затянули густые тучи. Ветер стих, как обычно бывает в сумерках, и землю на простирившейся перед ребятами дороге прихватил морозец. Джона явно снедала тревога: позабыв о том, что уже почти большой, он взял сестру за руку, и даже Наоми, сроду никого и ничего не боявшаяся, беспокойно прикусила свой локон и придвинулась ближе к подруге. Они молча прошли мимо догоравших углей костра, мимо Левиафана, на ночь поглубже зарывшегося в песок, то и дело оглядываясь через плечо на черную воду, которая подбиралась по илу все ближе. «Все на улицу бегом, — пропела Наоми, не сумев скрыть дрожь в голосе, — под луной светло как днем!»

Гораздо позже (и то под нажимом, поскольку все это казалось частью ритуала, которого они почему-то стыдились) каждый из них утверждал, будто вода в одном месте загустела и вздыбилась, — там, где соленое болото сменял обрывистый берег. Впрочем, ни длинных лап, ни вылезших

из орбит глаз — словом, ничего такого страшного они не видели и не слышали ни звука, лишь заметили, как что-то мелькнуло, слишком быстро для волн и не в том направлении, в котором они обычно бегут. Джон настаивал, что оно было белесое, Джоанна же считала, что это лунные блики на воде. Первой об этих странностях заикнулась Наоми и расписала чудовище в таких красках — и крылья его, и рыло, — что все дружно решили, что она вообще ничего не видела, и больше ее никто не слушал.

— Далеко еще до дома, Джоджо? — Джон дернул сестру за руку. Его так и подмывало бегом бежать к маме и стывшему на столе ужину.

— Уже почти пришли. Видишь дым из труб и паруса на лодках?

Они вышли на тропинку, и керосиновые лампы на окнах Края Света показались им прекраснее огней рождественской елки. От холода и страха зуб на зуб не попадал. Крэкнелл обходил перед сном хозяйство, запер в хлеву Гога с Магогом и остановился у калитки, чтобы поздороваться с детьми.

— *Все на улицу бегом,* — заслышав их шаги, пропел Крэкнелл, похлопывая в такт по столбу ворот, — и пусть сегодня на небе полная луна, не надейтесь, что будет светло как днем: она же берет свет взаймы, и платит проценты, и месяц за месяцем теряет капитал, оттого она такая тусклая. А?

Старик усмехнулся, довольный шуткой, поманил детей ближе, еще ближе, так что они почувствовали запах сырой земли, исходивший из карманов его пальто, и увидели освеженные тушки кротов, висевшие кверху задними лапками на заборе.

— Что, малый, не терпится домой? — Крэкнелл кивнул Джону, с которым они были старые друзья.

В другое время мальчик ни за что бы не упустил возможность забраться на спину Гогу или Магогу и объехать вокруг хижины, а потом полакомиться медом прямо из сот, но Джон уже успел представить, как его ужин отдают собаке, и бросил на старика сердитый взгляд, а Крэкнелл, видимо, не ожидавший такого, тоже нахмурился и схватил мальчишку за ухо.

— Вот что я вам скажу: времена теперь такие, что если вы на улицу бегом, то домой уже, глядишь, и не вернетесь, и я по вам так точно не заплачу, «ей, гряди, Господи Иисусе!», ^[18] сказал бы я, да уж давно не поминаю имя Божье... как там дальше поется, «и с друзьями поиграй», только уж больно странного дружка вы себе нашли в темных водах Блэкуотера, не думайте, что я ничего не знаю, я сам его видел раза два или три в лунную ночь... — Крэкнелл крепче сжал ухо Джона. Тот вскрикнул

от боли.

Старик удивленно уставился на собственную руку, как будто она сделала что-то помимо его воли, и отпустил Джона: тот расплакался и принялся тереть глаза.

— Ну-ну-ну... чего ревешь? — Крэкнелл похлопал себя по карманам, но не нашел ничего, чем мог бы утешить мальчишку, которому больше всего на свете хотелось поужинать и забраться к маме на колени. — Я по-доброму говорю, из самых лучших побуждений, я же вам добра желаю, мне вовсе не хочется, чтобы кого-нибудь из вас или ваших высмотрели, да подобрались к вам да сожрали.

Джон безутешно рыдал, и Джоанна на миг испугалась, что старик тоже сейчас расплачется от стыда и, пожалуй, от страха (так ей показалось). Она потянулась поверх увешанного кротами забора и погладила Крэкнелла по засаленному рукаву, лихорадочно соображая, чем бы его успокоить, как вдруг старик напрягся, вскинул руку и крикнул:

— Стой! Кто идет?

Все трое подскочили от неожиданности, Джон уткнулся в сестрино пальто, Наоми развернулась на месте и ахнула. Прямо на них по тропинке с глухим ворчанием медленно надвигалась бесформенная тень. Она не ползла — неизвестное существо шло на задних ногах и было похоже на человека. Вот оно вскинуло руки — и впору перепугаться до смерти, если бы звук, который оно издавало, не походил на смех. Да, это явно был человек, и его неспешная походка даже показалась детям знакомой. Человек приблизился, вышел на свет ламп и остановился. Джоанна увидела тяжелые ботинки и длинное перепачканное пальто, лица было не разобрать за плотным шарфом и надвинутой на глаза шапкой, сквозь грязь на которой местами проглядывала алая шерсть.

— Что, не узнали? Неужели я так плохо выгляжу? — Мужчина стащил вязаную шапку, и в свете ламп блеснули густые растрепанные кудри того же каштанового оттенка, что и длинная коса Джоанны.

— Папочка! Где же ты был? Что ты делал? Как ты порезал щеку?

— Джон, сынок, неужели ты отца родного не узнал? — Преподобный Рэнсом обнял детей, потрепал по плечу Наоми и кивнул Крэкнеллу.

— Видеть вас — всегда большая радость, ваше преподобие, и раз уж вы, я так полагаю, отведете этих малюток домой, то позвольте пожелать вам всем доброй ночи. — Старик поклонился каждому из них (и ниже всех Джону), ушел в дом и захлопнул дверь.

— Что вы здесь делаете так поздно, а? Придется нам с вами держать ответ перед мамой. И что я скажу вашему отцу, мисс Бэнкс? —

Преподобный ласково ущипнул Наоми за щеку и подтолкнул к дому, выстроенному из серого камня; окнами дом смотрел на причал. Девочка оглянулась через плечо на друзей и убежала. Скоро они услышали, как лязгнул засов.

— Папа, так где же ты был? Где ты так поранился? Наверно, придется зашивать? — С радостью проговорила Джоанна, втайне мечтавшая стать хирургом.

— Ничего страшного. Джон, почему ты плачешь? Ты уже большой! — Уилл крепче обнял сына, и тот подавил всхлип. — Я спасал овец и пугал дам. И должен вам сказать, — они дошли до клетчатой садовой дорожки, вдоль которой во мраке белели подснежники, — что давненько мне не было так весело. Стелла! Мы дома, иди скорей сюда!

Март

Стелла Рэнсом
Дом приходского
священника церкви
Всех Святых
Олдуинтер
11 марта

Уважаемая миссис Сиборн,

Пишу Вам в надежде, что Вы уже слышали обо мне, а значит, мое письмо не станет для Вас неожиданностью. Чарльз Эмброуз уверяет, что Вы ждете весточки от семейства Рэнсомов из Олдуинтера, — и вот они мы!

Прежде всего примите наши самые искренние соболезнования в связи с недавней утратой. Лондонские новости доходят до нас нечасто, но о мистере Сиборне мы слышали от Чарльза и даже читали в «Таймс». Мы знаем, что им многие восхищались и наверняка очень любили. Мы с мужем молимся за Вас, а я особенно: кому, как не женщине, понять горе жены, потерявшей супруга!

Теперь о деле. В будущую субботу мы ждем к ужину Чарльза и Кэтрин Эмброуз и были бы счастливы, если бы Вы смогли к нам присоединиться. Я слышала, что Вы приехали с сыном и компаньонкой, о которой Чарльз отзывался очень тепло, и мы были бы очень рады с ними познакомиться. Ужин будет без особого повода — это лишь возможность встретиться со старыми друзьями и завести новых.

Адрес наш Вы найдете на конверте. Добраться к нам из Колчестера очень просто: поезда, к сожалению, к нам не ходят, но можно взять кэб. Надеюсь, Вы у нас заночуете. Места у нас довольно, так что ни к чему Вам возвращаться домой на ночь глядя. Буду ждать Вашего ответа, а пока придумаю, какими деликатесами

удивить даму столичных вкусов!

Искренне Ваша,

Стелла Рэнсом.

Р. S. Не удержалась и отправила Вам примулу, но мне не хватило терпения высушить ее как следует, и она испачкала страницу. Вечно я тороплюсь! С.

1

Доктор Люк Гаррет со сдержанным удовольствием оглядел номер в колчестерской гостинице «Георг» и вынужден был признать, что денег Спенсер не пожалел. На кончике пальца, которым доктор провел по всем поверхностям в комнате, не осталось ни пылинки.

— Здесь можно делать аппендэктомию, — заметил Люк с выражением, которое его друг справедливо истолковал как пожелание всем встречным свалиться с недугом. Убедившись, что в номере чисто, Гаррет открыл латунные защелки чемодана и вытащил пару мятых рубашек, несколько книг с загнутыми страницами и пачку бумаги. Все это он выложил на туалетный столик и благоговейно увенчал белым конвертом, на котором аккуратной и твердой рукой было выведено его имя.

— Она ждет нас? — Спенсер кивнул на конверт: он прекрасно знал почерк Кору, поскольку последнее время друг давал ему читать все ее письма, чтобы лучше вникнуть в скрытый смысл каждой фразы.

— Ждет ли? Еще как ждет! Сам бы я ни за что не поехал: у меня куча дел. Что уж скрывать, Спенсер, она меня умоляла. «Приезжайте, пожалуйста, милый Чертенок! Я так по вам скучаю», — писала она, — оскалился Гаррет, и черные глаза его просияли. — «Я так по вам скучаю!»

— Мы увидим ее сегодня? — с деланным безразличием спросил Спенсер, у которого были свои причины проявлять нетерпение, но он их успешно прятал даже от испытующего взора Гаррета и старался не выдавать себя. Однако друг его был так поглощен письмом Кору (дважды шепотом прочел вслух обращение «милый Чертенок!»), что ничего не заметил и обронил лишь:

— Да, они остановились в «Красном льве», мы договорились встретиться в восемь — минута в минуту, насколько я знаю Кору, а я ее знаю.

— Тогда я пройдуся. Жаль в такой погожий день сидеть взаперти, да и замок посмотреть хочется. Говорят, здесь сохранились развалины после землетрясения. Пойдешь со мной?

— Еще чего. Терпеть не могу прогулки. К тому же у меня с собой доклад шотландского хирурга, который утверждает, будто можно облегчить паралич, надавливая на позвоночник, и я частенько думаю, что в Эдинбурге мне было бы стократ лучше, чем в Лондоне: тамошние медики куда смелее столичных, да и этот их жуткий климат мне подходит...

Тотчас позабыв о Спенсере и замке, Гаррет уселся по-турецки на кровать, разложил перед собой дюжину страниц машинописного текста, перемежавшегося изображениями позвонков. Спенсер, обрадовавшись, что весь день будет предоставлен самому себе, застегнул пальто и вышел.

Опрятный белый фасад «Георга» выходил на широкую Хай-стрит. Хозяева гостиницы явно считали ее лучшей в городе и подчеркивали это высокое положение с помощью множества подвесных кашпо, в которых отчаянно боролись за место нарциссы и примулы. День выдался ясный, и небо словно жалело, что зима так медленно отступает: высокие облака неслись по неотложным делам в какой-то другой город. Впереди блестел шпиль церкви Святого Николая, повсюду пели птицы. Спенсер, который разве что под пыткой отличил бы сороку от воробья, восхищенно слушал их пение и любовался живописным городком, яркими полосатыми навесами над тротуаром и вишневыми лепестками, испещрившими рукав его пальто. Наконец он нашел разрушенный дом, калеку, сидевшего на пороге, как часовой после смены, и это тоже привело Спенсера в восторг: и комнаты, поросшие плющом и молодыми дубками, и нищий, который снял пальто и нежился на солнце, словно кот.

Спенсер стеснялся своего богатства и от этого бывал непомерно щедр; вот и сейчас ему захотелось поделиться с калеккой частичкой радости этого дня, и он опустошил карманы в перевернутую шляпу. Потрепанный фетр просел под тяжестью монет, нищий подозрительно вперился в Спенсера — не разыгрывает ли? — но потом успокоился и ухмыльнулся, обнажив превосходные зубы.

— Похоже, на сегодня можно заканчивать, — произнес он, нашарил за своим каменным постаментом низкую деревянную тележку на четырех железных колесах, привычным движением перетащил на нее туловище, надел кожаные перчатки, чтобы не ссадить ладони, и проворно покатился к тротуару.

Спенсер заметил, что тележка сработана на славу: на ней даже был вырезан узор из переплетающихся колец. От такой тележки не отказался бы

и изрубленный в битве кельт, так что жалость, которую Спенсер почувствовал было к бедняге, казалась оскорбительной.

— Не хотите ли взглянуть? — Калека кивнул на зияющие руины за спиной с таким важным видом, будто имел на эти разрушенные стены все права. — Жертва землетрясения, вот это, и если хотите знать мое мнение (хотя кто меня, старика, когда спрашивал!), там можно и жизни, и ног лишиться, а судьи все препираются, никак решить не могут, кто должен платить, меж тем в столовой уже поселились совы.

Калека обогнул лежавшие на земле мраморные глыбы с поросшими мхом остатками надписей на латыни и подвел Спенсера к порогу дома. Фасадная стена почти вся обвалилась, обнажив комнаты и лестницы. Внутри осталось только то, до чего нельзя было дотянуться и чем нельзя было поживиться, но с нижних этажей вынесли все подчистую, кроме огромных ковров, на которых проклюнулись фиалки, причем листья их разрослись так густо, что робких синих цветков было не увидеть. Наверху еще оставались картины и безделушки, на подоконнике блестело какое-то серебро, и хрустальные подвески канделябров на верхней площадке лестницы сияли, словно утром на них навели глянец перед раутом.

— Не правда ли, удивительное зрелище? Взгляните на мои великие деянья, владыки всех времен, всех стран и всех морей! Кругом нет ничего... ^[19] — и так далее.

— Впору продавать у входа билеты, — ответил Спенсер, сияясь разглядеть в доме хоть одну сову, — наверняка никто из прохожих не отказался бы на это взглянуть.

— Ваша правда, мистер Спенсер, только кто же их пустит! — Голос принадлежал не калеке: слова прозвучали не снизу, где тот сидел, к тому же говоривший не растягивал гласные, как принято в Эссексе. Нет, это была женщина, причем явно из Лондона. Спенсер узнал бы ее голос где угодно; он обернулся, чувствуя, что краснеет, но ничего не мог с этим поделать.

— Марта. Вы здесь.

— Да и вы здесь, как я погляжу, и даже успели познакомиться с моим добрым другом! — Марта улыбнулась и пожала нищему руку. Тот ответил на приветствие, потряс набитой монетками шляпой:

— Здесь хватит на ногу-другую! — И, махнув на прощанье, покатил домой.

— Нет там никаких сов. Он это говорит, чтобы порадовать туристов.

— Что ж, меня ему порадовать удалось.

— Все-то вас радует!

На Марте было синее пальто, а на плече висела кожаная сумка, из

которой торчали павлиньи перья. В левой руке она держала журнал в белой обложке, на которой Спенсер прочитал набранное изящным черным шрифтом название: «Журнал социально-промышленных вопросов для английских женщин». Стараясь казаться галантным, Спенсер ответил:

— Что ж, я и правда очень рад вас видеть.

Но Марту любезностями было не пронять. Она приподняла бровь, свернула журнал в трубочку и хлопнула Спенсера по руке:

— Да полно вам. Пойдемте же к Коре, ей будет очень приятно, что вы приехали. Чертенок с вами?

— Он читает статью о параличе и о том, как с ним бороться, так что присоединится к нам позже.

— Вот и хорошо: мне надо с вами поговорить, а в присутствии этого человека совершенно невозможно говорить серьезно. Как доехали?

— Чей-то ребенок рыдал от Ливерпуль-стрит до самого Челмсфорда и замолчал лишь тогда, когда Гаррет сказал, что сейчас из него выльется вся вода, он скукожится и к Мэннингтри отдаст Богу душу.

Марта постаралась подавить смешок.

— Понятия не имею, как вы с Корой его терпите. Это ваша гостиница? — Она окинула взглядом белесый фасад «Георга» и подвесные кашпо. — Мы остановились в «Красном льве», это чуть дальше, я не думала, что мы задержимся здесь так надолго, но Фрэнсис привязался к хозяину, так что последнее время у нас затишье. Мальчик увлекся перьями. Можно подумать, он решил себе сделать крылья, хотя ангелом его не назовешь.

— А как себя чувствует Кора?

— Я никогда еще не видела ее такой счастливой, хотя иногда она вспоминает, что ей положено скорбеть, надевает черное платье и садится у окна — хоть сейчас пиши с нее неутешную вдову.

Они прошли мимо цветочницы, которая уже собиралась закрывать киоск и распродавала нарциссы по пенни за охапку. Спенсер порылся в карманах, выудил последние две монетки, сунул цветочнице, забрал у нее все, что оставалось, и, сжимая дюжину желтых букетов, сказал Марте:

— Принесем Коре весну. Наполним ее комнаты цветами, и она забудет все печали. — Испугавшись, что сболтнул лишнее, Спенсер бросил быстрый взгляд на свою спутницу. Быть может, следовало соблюдать приличия, которые траур диктует добропорядочной женщине?

Но Марта ответила с улыбкой:

— И за это Кора тоже будет вам благодарна. Она месяц ходила, все высматривала приметы весны и возвращалась грязной и злой. А потом

весна взяла и настала за один день, ровно в полдень, точно по вызову.

— Удалось ли ей найти в Эссексе ископаемые? В газетах писали, будто бы этой зимой на побережье в Норфолке после шторма обнаружили какой-то новый вид. Я иногда думаю, что мы, сами того не подозревая, ходим по чьим-то останкам и весь мир — огромное кладбище. — Спенсер, нечасто осмеливавшийся рассуждать вслух, зарделся и приготовился выслушать в ответ привычную колкость, но Марта ответила только:

— Вроде бы нашла пару магнетитов, но и только. Теперь вся надежда на здешнего змея. Ну вот мы и пришли.

Спенсер заметил поодаль фахверк с железной вывеской, на которой красовался стоящий на задних лапах красный лев.

— Здешнего змея? — переспросил Спенсер и взглянул себе под ноги, словно ожидал увидеть на тротуаре гадюку.

— Она ни о чем другом не говорит — разве она не писала Чертенку? Среди местных деревенских дурачков ходит легенда о крылатом змее, который будто бы выбирается из реки и держит в страхе побережье. Кора вбила себе в голову, что это может быть какой-нибудь динозавр, — говорят, будто бы некоторые из них уцелели. Вы когда-нибудь слышали подобное?

Сквозь толстое крапчатое стекло двери гостиницы был виден огонь в камине. Густо пахло пролитым пивом и жареным мясом.

— А чего еще ждать от бедных поселян, которые не умеют ни читать, ни писать? — Презрение уроженки Лондона к провинциалам распространялось и на шпиль церкви Святого Николая, и на ничтожное землетрясение, и на гостиницу «Красный лев» со всеми постояльцами. — Но Кора если что забрала себе в голову, так уж не отступится, твердит день и ночь, что это, скорее всего, живое ископаемое, — она вам сама расскажет, как они называются, я вечно забываю, — и намерена его отыскать.

— Гаррет всегда говорит, что она не успокоится, пока ее имя не увековечат на стене Британского музея, — ответил Спенсер. — И я не удивлюсь, если в один прекрасный день так и будет.

Услышав имя доктора, Марта фыркнула и толкнула дверь:

— Поднимайтесь к нам и поздоровайтесь с Фрэнсисом. Он вас вспомнит и не будет против.

* * *

Люк пришел поздно: пытался смастерить из папье-маше модель

позвоночника. Друзья его в утыканной перьями одежде сидели на вытертом ковре, Марта у окна листала журнал и смотрела, как Фрэнсис молча продевал чайчьи и вороньи перья в пальто Спенсера, так что тот становился похож на ангела, обескураженного своим падением. Кора отделалась сравнительно легко: сзади из платья у нее торчали павлиньи перья, а плечи усеяло содержимое подушки. Прихода Чертенка никто не заметил, так что тот вышел и вошел снова, громко хлопнув дверью.

— Что здесь творится? Я попал в сумасшедший дом? Где тогда мои крылья? Или я обречен слоняться по земле? Кора, я принес вам книги. Спенсер, налей мне выпить. В чем у тебя пальто?

Кора вскрикнула от удовольствия, вскочила, взяла вновь прибывшего за плечи и расцеловала в обе щеки:

— Наконец-то вы пришли! Ба, да вы подросли на целых полдюйма, — ах нет, простите, я не хотела вас обидеть. Между прочим, вы опоздали! Фрэнки, поздоровайся с Люком — как видите, у Фрэнсиса новое увлечение, ну а нам остается только терпеть, — помнишь его?

Мальчик не поднял глаз, но почувал, что вокруг происходит что-то, на что он согласия не давал, и принялся молча собирать с ковра перья, пересчитывая их в обратном порядке: «Триста семьдесят шесть, триста семьдесят пять, триста семьдесят четыре...»

— Ну вот, игра окончена, — расстроилась Кора, — хотя он будет сидеть тихо, пока не досчитает до единицы...

— Вы отвратительно выглядите, — заметил Люк, мечтая прикоснуться к каждой веснушке на Корином лбу. — Неужели в этой дыре вы совсем перестали причесываться? У вас руки грязные. И что это за платье?

— Мне больше не нужно казаться красивой, — парировала Кора. — И я счастлива как никогда. Не помню, когда в последний раз смотрелась в зеркало...

— Вчера, — перебила Марта. — Любовалась на свой нос. Добрый вечер, доктор Гаррет.

Это было сказано таким ледяным тоном, что Люка пробрала дрожь, и он наверняка съязвил бы что-нибудь в ответ, но тут появился хозяин гостиницы и, великодушно не замечая разбросанные по всей комнате перья и бубнившего мальчишку, поставил на буфет поднос с пивом. За подносом последовали тарелка с сыром и холодной говядиной в тонких прожилках жира, и белый плетеный хлеб, и кусок бледно-желтого масла, посыпанный солью, и, наконец, пропитанный бренди вишневый пирог. С такими яствами на столе злиться было совершенно невозможно, так что Люк одарил Марту самой любезной улыбкой, на которую только был способен,

и бросил ей зеленое яблоко.

Спенсер сидел рядом с Мартой у окна и смотрел на прохожих.

— Вы обещали мне об этом рассказать, — напомнил он и взял у нее журнал. — Можно взглянуть, что вы читаете?

Он пролистал брошюру, в которой приводились ошеломляющие данные статистики, свидетельствовавшие о том, что Лондон перенаселен и снос ветхих домов грозит катастрофой.

Марта, успевшая выпить вина, ненадолго смягчилась. Обычно Спенсер вызывал у нее смутное отвращение, которое ей с трудом удавалось подавить. Безусловно, он добр, благороден и, в отличие от остальных гостей, старается поладить с Фрэнсисом (чего стоят хотя бы шахматные партии, завершавшиеся молниеносным поражением старшего игрока!). Марту восхищали его старания обуздать Чертенка, и самое главное — с Корой Спенсер держался любезно и дружелюбно, при этом ни разу не сделав попытки узнать ее ближе. Но богатство и родовитость окутывали его, словно меховая шуба, и, судя даже по той малости, которую Марта знала о его материальном положении (денег у Спенсера девать некуда, так что он мог позволить себе заниматься медициной исключительно для души, в то время как на долю женщин оставалось лишь подавать больным судно и бульон), он принадлежал к числу тех, кого она всю жизнь считала врагами.

Вера в социализм укоренилась у Марты с детства, как у других — вера в Бога, и с годами ничуть не ослабла. Народные дома и кордоны пикетов стали ее храмами, а Анни Безант^[20] и Элеонора Маркс^[21] — служительницами в алтаре; она не знала иных псалмов, кроме яростных песен о страданиях английского народа. На кухне их уайтчепелской квартиры отец красными от вьевшейся кирпичной пыли пальцами со стершимися подушечками пересчитывал заработанное, откладывая в сторону профсоюзные взносы и аккуратным почерком подписывал петиции в парламент с требованием установить десятичасовой рабочий день. Ее мать, некогда вышивавшая на мантиях и столах золотые кресты и пеликанов, выклевывавших собственное сердце, резала ткань на транспаранты, которые поднимали над головой пикетчики, и выкраивала из семейного бюджета деньги на говяжью похлебку для бастовавших работниц спичечной фабрики Брайанта и Мэя. «Все сословное и застойное исчезает, — благоговейно цитировал отец Марты учение своего апостола, — все священное оскверняется».^[22] Марта, никогда не склоняй головы перед устоями: даже империю разрушают время и плющ». Отец

стирал рубашки в жестяном корыте — вода краснела от кирпичной пыли — и, выжимая их, напевал: «Когда пахал Адам, а Ева пряла, кого тогда бы англичанином назвали?»^[23] По пути из Лаймхауса в Ковент-Гарден Марта видела не высокие окна и дорические колонны, а труд строителей. Кирпичные здания казались ей красными от крови граждан, известка — белой от их праха, а дома стояли на закопанных вповалку трупах женщин и детей: на их спинах возведен город.

Наняться к Сиборнам Марта решила исключительно из прагматических соображений: с одной стороны, выполнять работу, к которой общество относилось с одобрением, и вдобавок получать неплохое жалованье, а с другой — ни в коем случае не войти в презируемый ею класс, но твердо занять свое место среди тех, кто к нему принадлежал. Она же не могла предвидеть встречу с Корой Сиборн — да и кто сумел бы такое предугадать?

Длинное печальное лицо Спенсера зарделось; Марта догадалась, что ему хочется сделать ей приятное, и решила его подразнить.

— «Все сословное и застойное исчезает», — продекламировала она, испытывая его смелость.

— Это Шекспир? — уточнил Спенсер.

Марта снисходительно улыбнулась:

— Нет, это Карл Маркс, хотя он тоже был в некотором роде поэт. Да, я хотела вам кое о чем рассказать, — добавила она, потому что, как ни прискорбно это сознавать, Спенсер и такие, как он, полезны в качестве источника влияния и дохода, как ты их ни презирай.

Раскрыв журнал, Марта показала Спенсеру карту с планами застройки лондонских трущоб. Новые дома, объяснила она, будут гигиеничные и просторные; во дворах посадят деревья, устроят детские площадки, а жильцам больше не придется зависеть от капризов домовладельцев. Но (тут она презрительно щелкнула по странице) необходимо показать примерное поведение, для того чтобы получить право там жить.

— Чтобы получить для своих детей крышу над головой, надо вести поистине праведный образ жизни: ни тебе алкоголя, ни склок между соседями, ни азартных игр, и боже упаси, если у матери слишком много ребят или они от разных отцов. Вы, Спенсер, с вашим происхождением и состоянием, можете до беспамятства напиваться кларетом и портвейном и сохранить все свои резиденции; стоит же бедняку потратить свои гроши на дешевое пиво и собачьи бега — и он уже недостоин спать в сухой постели.

О жилищном кризисе в Лондоне Спенсер знал лишь из заголовков газет и живо почувствовал в словах Марты презрение к своему богатству и

положению в обществе. Однако она была так прекрасна в гневе, что показалась ему желаннее прежнего, и он, проникшись ее возмущением, почувствовал, как в душе шевельнулась злость.

— А если человеку дадут там квартиру, а потом он на улице разобьет соседу голову пивной кружкой?

— На улице и останется, причем вместе с детьми, — ничего другого он не заслуживает. Бедность у нас наказуема. — Марта захлопнула журнал. — Тот, кто беден и несчастен, и ведет себя как нищий и несчастный человек (а как еще?), обреченный на еще большую бедность и несчастье.

Спенсера так и подмывало спросить, чем он может помочь, но ему было неловко за свое благополучие, словно карманы его были битком набиты золотом, и он начал говорить, путаясь в словах сочувствия и осуждения, — безусловно, необходимо принять меры, как-то поднять вопрос, ну и так далее... но тут Марта решительно заявила:

— Но я не намерена с этим мириться. — И, чтобы пресечь дальнейшие расспросы, проговорила громче: — Ну что, Кора, ты уже рассказала Чертенку про змея и бедолагу священника?

Кора, сидя у ног Люка, описывала, как вырвала овцу из цепких лап деревенского орка. Специально для Гаррета она пояснила, как они встретились с Чарльзом Эмброузом и как тот рассказал им про обитавшего в Блэкуотере змея, которого разбудило землетрясение. Показывая ему фотографии плезиозавра, которого обнаружили в Лайм-Риджисе, она ткнула в длинный хвост и плавники, похожие на крылья:

— Мэри Эннинг назвала его «морским драконом». Теперь видите почему? Видите?

Кора с победоносным видом захлопнула книгу и сообщила, что собиралась съездить на побережье, где Коулн и Блэкуотер сливаются и впадают в море, а Чарльз Эмброуз подсудобил их с Мартой ни в чем не повинному сельскому священнику и его семейству. От дикого хохота Гаррета едва не треснули черные балки, на которых держалась крыша; доктор сложился пополам, тыча пальцем в Корины мужские ботинки, грязь под ногтями и безбожную библиотечку на подоконнике. После чего развернул любезное пригласительное письмо, прочел, передал Спенсеру (примула уже совсем раскрошилась), и друзья единодушно решили, что Стелла Рэнсом — милейшее создание и надо во что бы то ни стало защитить ее от Кору, которая, несомненно, перепугает бедняжку так, как не удалось бы и морскому чудовищу.

— Надеюсь, его преподобие крепок в вере, — заявил Гаррет. — Она

ему понадобится.

И лишь Спенсер, молча наблюдавший за Люком с подоконника, заметил за его веселостью беспокойство ревнивца, который предпочел бы, чтобы Кора не общалась ни с кем, кроме него, — ни с друзьями, ни с конфидентами, даже если те носят пасторский воротник и вдобавок тупы как пробка.

Чуть позже, глядя из окна, как Спенсер ведет друга в гостиницу неподалеку, Марта заметила:

— Славный малый. Я всегда полагала, что он глуп, а он на самом деле добр.

— Так ведь сразу и не поймешь, — ответила Кора, — да и порой это одно и то же. Отведи Фрэнсиса в его комнату, а я пока уберу перья. А то горничные подумают, что мы тут устроили черную мессу, и тогда прощай наше доброе имя.

Стелла Рэнсом, стоя у окна, застегивала голубое платье. Ей очень нравился этот вид: мощенная разноцветной квадратной плиткой дорожка в обрамлении колокольчиков, а за нею — улица Высокая с группой домов и магазинов, прочная колокольня церкви Всех Святых и новая школа из красного кирпича. Больше всего на свете Стелла любила чувствовать себя в гуще событий; она обожала начало весны, когда на Дубе короля-изменника набухают почки, а деревенские дети сбрасывают тяжелую одежду и бегут играть на улицу. Стелла, всегда бодрая и жизнерадостная, приуныла за долгую зиму, которая к тому же выдалась холодной и совершенно бесснежной, а оттого особенно мрачной, и даже Рождество не сумело развеять охватившую землю тоску. Кашель, не дававший ей спать по ночам, с наступлением теплых дней почти прошел, исчезли и тени под глазами, и это тоже радовало Стеллу. Она вовсе не была кокеткой и любовалась в зеркале своими белокурыми волосами, личиком-сердечком и ярко-голубыми глазами так же, как любовалась бы распутившейся на клумбе алой камелией. Свою красоту Стелла воспринимала как нечто само собой разумеющееся — впрочем, как с недавних пор и полноту. Да, теперь Уиллу уже не удавалось обхватить ладонями ее талию, но все-таки Стелла родила пятерых детей, из которых выжили трое.

Стелла услышала, как дети внизу заканчивают ранний ужин, и, закрыв глаза, увидела каждого из них так же ясно, как если бы вошла на кухню. Джеймс, забыв о еде, склонился над столом и рисует свои фантастические механизмы — какую-нибудь очередную шестеренку или маховик; старшая, Джоанна, присматривает за Джоном, самым младшим, который наверняка уписывает третий кусок пирога. Дети обрадовались, что вечером будут

гости (они обожали Чарльза Эмброуза — впрочем, как вообще все дети — за щедрость и яркие пальто), и помогали накрывать на стол: выставили всю стеклянную и серебряную посуду, какая только была в доме, и положили парадные салфетки, на которых мама вышила незабудки; обычно детям не позволяли их брать, и сейчас они ахали от восторга. Дождаться гостей разрешили только Джоанне, и она пообещала братьям, что соберет все сплетни и перескажет им за завтраком.

— Вдова наверняка толстенная, как ломовая лошадь, и будет рыдать над супом, — фантазировала Джоанна, — а ее сын окажется богатым и глупым красавцем, попросит моей руки, а когда я ему откажу, пустит себе пулю в лоб.

У Стеллы дух захватило от счастья, и она, как обычно, подумала, что ничем не заслужила такой подарок судьбы. За пятнадцать лет брака любовь к Уиллу, поразившая Стеллу в семнадцать лет внезапно и сильно, точно недуг, ничуть не ослабла. Мать Стеллы, разочаровавшаяся почти во всем, предупреждала, что не следует рассчитывать на счастье: муж будет требовать от нее всяких гадостей, но ради детей придется потерпеть, вскоре она ему наскучит, но к тому времени и сама будет этому рада, потом он наверняка растолстеет, а раз его посылают в сельский приход, богатства им не видать. Но Стелла, для которой само существование Уильяма Рэнсома с его строгим взглядом, искренностью и скрытым юмором было чудом сродни браку в Кане Галилейской, лишь смеялась над этими наставлениями и чмокала мать в щеку. И тогда и теперь ей было искренне жаль всех женщин, которым не удалось выйти замуж за такого человека, как Уилл. Мать Стеллы прожила достаточно долго, чтобы вконец разочароваться, наблюдая упорное нежелание дочери разочаровываться. Казалось, брак приносил ей непристойное удовольствие: едва успев родить одного, она уже ждала следующего ребенка, по главной улице Олдуинтера они с мужем ходили под руку, и даже смерть двоих детей не подорвала, а лишь укрепила их любовь. Время от времени Стелла признавалась, что в Лондоне или Суррее ей жилось бы куда веселее: там невозможно улицу перейти, чтобы не завести новое знакомство, но с ее добродушным нравом и словоохотливостью она и в Олдуинтере находила поводы посудачить о ближних, хотя никто и никогда не слышал, чтобы Стелла о ком-то отзывалась дурно.

Уилл с завтрака не выходил из кабинета: по субботам он обычно весь день проводил в одиночестве, а вечером растягивал как можно дольше один-единственный бокал хорошего вина. Как ни дивились родные и друзья его добровольной ссылке в маленький приход (большинство

уверяло, что ему через год там надоест), но к воскресным своим обязанностям преподобный Рэнсом относился серьезно, словно лично к нему Всевышний воззвал из неопалимой купины. Вера его зиждилась не на ритуалах и правилах богослужений, как если бы он был чиновником, а Господь — бессменным начальником небесной канцелярии, — нет, он верил в Бога всей душой, чувствовал его присутствие всюду, особенно на природе, где купол небес заменял ему неф, а дубы — колонны трансепта, а в те дни, когда вера его слабела, преподобный видел, как небеса славят Бога, и слышал, как камни вопиют к Нему.

Уилл разметил чтение в молитвеннике, сочинил молитву о благополучии Олдуинтера и всех его обитателей, услышал, как дети гомонят в комнате, которая находилась в другом конце коридора от его кабинета, и с досадой подумал, что время мирного уединения истекает: часы на каминной полке пробили шесть, и через каких-нибудь два часа звонок в дверь нарушит его покой.

Преподобный не был нелюдимом, хотя и не разделял страсти жены к общению. Чарльза и Кэтрин Эмброуз он любил больше, чем родных братьев, и всегда тепло встречал снедаемых тревогой прихожан, пусть те и наведывались к нему в неурочный час. Ему нравилось видеть жену довольной, когда та сидела во главе стола, тепло и умно шутила с гостями и то и дело поворачивала прелестную головку, приглядывая, чтобы всем было хорошо. Но вдова из Лондона с каргой-компаньонкой и балованным сынком! Уилл покачал головой и захлопнул тетрадь. Он, как обычно, выполнит свой долг, но не станет потакать капризам богатой дамы, со скуки увлекшейся естественными науками, причем, скорее всего, в ущерб духовному здоровью. И если она попросит его помощи в безрассудной попытке обнаружить, что же, как она вообразила, таится в здешней глине или обитает в реке, он ответит ей вежливым, но категоричным отказом. Это все из-за «напасти», подумал Рэнсом, как обычно не желая называть предмет тревожных деревенских пересудов «чудовищем» или «змеем»; пусть испытывает Господь, они выйдут из горнила, как золото.^[24] «Слава Богу», — произнес он с легким вздохом и отправился выпить чаю.

* * *

— Я вас представляла совершенно иначе!

— И я вас: вы слишком молоды и красивы для вдовы! В десять минут

девятого Стелла Рэнсом и Кора Сиборн сидели бок о бок на кушетке у камина. Они сразу друг другу понравились и жалели, что не познакомились раньше, в детстве. Марта не обращала на них внимания: она привыкла, что ее подруга легко привязывается к людям и так же быстро к ним остывает. Она смотрела на Джоанну, которая смущенно тасовала колоду. Умное серьезное лицо девочки и ее тощая косица умилили Марту. Она под села к Джоанне и предложила сыграть.

— Ну что вы, я вовсе не красавица, — возразила Кора, которой польстила маленькая ложь Стеллы. — Моя мать говорила: лучшее, на что я могу рассчитывать, — что меня сочтут интересной, а мне и того довольно. Хотя, признаться, сегодня я в кои-то веки оделась как подобает. Видели бы вы меня днем, на порог не пустили бы.

Это была правда: по настоянию Марты Кора облачилась в нарядное зеленое платье, в складках чудились всевозможные оттенки мха. Шрам на ключице Кора прикрыла светлым шарфом, а вместо мужских ботинок надела дамские туфли. Волосы ее, тщательно расчесанные Мартой, так и норовили выбиться из-под шпилек, и часть шпилек уже валялась на ковре.

— Уилл обрадовался вашему приезду и очень жалел, что припозднится. Его только что позвали к прихожанину, который живет на другом конце деревни, но долго он там не задержится.

— И мне не терпится с ним познакомиться! — воскликнула Кора, и это тоже была правда: едва ли такая очаровательная женщина, как Стелла, с ангельским личиком и белокурыми локонами, так лучилась бы счастьем, будь она замужем за каким-нибудь косолапым болваном, потому Кора заранее полюбила Уилла. Удобно устроившись на кушетке, она прихлебывала вино. — С вашей стороны было очень любезно пригласить моего сына, но ему нездоровится, и я решила не брать его в дорогу.

— Ах! — Голубые глаза Стеллы наполнились слезами и оттого показались еще ярче; она проворно их вытерла. — Смерть отца — огромная потеря, я так ему сочувствую! Мне следовало догадаться, что бедному мальчику будет тяжело среди чужих.

Честная натура Кору не могла смириться с тем, что кто-то оплакивает горе, которого на самом деле не было, и она возразила:

— Да нет, он держится молодцом... но он не самый обычный ребенок и едва ли так глубоко переживает потерю, как можно было бы ожидать.

Заметив недоумение Стеллы, Кора обрадовалась, когда за дверью послышались шаги и кто-то поскреб подошвы ботинок о сетку у входа: теперь не нужно было пускаться в дальнейшие объяснения. В замке заскрежетал ключ, загремела тяжелая связка, и Стелла Рэнсом вскочила на

ноги:

— Уильям, ну что? Неужели Крэкнелл? Он заболел?

Кора подняла глаза. Стоявший в дверном проеме мужчина наклонился и поцеловал Стеллу в подбородок. Она была такой крохотной, что он, казалось, нависал над ней, хотя был не так уж высок. Элегантное черное пальто сидело на мужчине как влитое, обтягивало его широкие сильные плечи, так странно контрастировавшие с узким белым воротничком священника. Непослушные волосы его невозможно было пригладить — разве только остричь под ноль; в свете лампы светло-каштановые кудри отливали рыжиной. Преподобный приобнял жену за талию (пальцы у него были короткие и толстые), повернулся к двери и сказал:

— Нет, любимая, Крэкнелл здоров, — и угадай, на кого я наткнулся по дороге?

Он отступил в сторону, сорвал воротничок и бросил на стол. В комнату вошел Чарльз Эмброуз в алом сюртуке, а за ним Кэтрин с таким большим букетом оранжерейных цветов, что за букетом ее почти не было видно. До чего же противный запах, подумала Кора. Ее затошнило, и она не могла понять почему, пока не вспомнила, что последний раз видела лилии на похоронах мужа — ими убран был постамент, на котором стоял гроб.

Последовал оживленный обмен приветствиями; Кора обрадовалась, что о ней в кои-то веки позабыли, и посмотрела на Марту, которая раскладывала с дочкой Стеллы пасьянс.

— Дама в казначействе, — сказала Джоанна и сдала еще одну карту.

Но эту мирную сценку скоро прервали: гости и хозяйева вошли в комнату, Чарльз и Кэтрин обняли Кору, потрепали по щеке, восхитились ее нарядным платьем и туфлями без единого пятнышка грязи. Здоровая ли она? И волосы, вы только посмотрите! Чистые, расчесанные! А вот и Марта: что новенького? А Фрэнки? Пошел ли ему на пользу деревенский воздух? Что там с морским драконом, когда уже о Коре напишут в «Таймс»? Ведь правда, Стелла само очарование? А как вам преподобный Уилл?

На это глубокий голос ответил негромко и добродушно, однако без лишнего энтузиазма (во всяком случае, так показалось Коре):

— Я еще не знаком с нашими гостями. Чарльз так ослепил меня своей неземной красотой, что я теперь ничего не вижу.

Чарльз Эмброуз отступил в сторону и указал хозяину на кушетку, где сидела Кора. Она подняла глаза и увидела натянутую улыбку, глаза цвета полированного дуба и щеку, похоже сильно порезанную во время бритья. Кора, в свете далеко не новичок, гордилась умением с первого взгляда определить положение и нрав собеседника: вот богатый коммерсант,

стесняющийся собственных успехов, а вот обедневшая дама, у которой дома на лестнице висит Ван Дейк. Однако, сколько ни вглядывалась в начищенные до зеркального блеска ботинки и расстегнутый воротник черной рубашки, стоявший перед ней человек не вписывался ни в одну из категорий. Слишком крепок и силен для ученого мужа, который проводит дни за письменным столом, но взгляд слишком задумчивый для того, кто не интересуется ничем, кроме сельского хозяйства; улыбка слишком вежлива, чтобы быть искренней, но глаза светятся добродушием; произношение (кстати, где же она слышала этот голос? Может, на улице в Колчестере или в лондонском поезде?) выдает в нем жителя Эссекса, однако говорит он как человек образованный. Кора встала и, преодолевая дурноту от запаха лилий, грациозно протянула преподобному руку.

Уилл же увидел высокую статную даму с тонким веснушчатый носом; платье цвета мха (которое, как правильно догадался преподобный, стоило раза в два дороже, чем весь гардероб Стеллы) придавало ее серым глазам зеленоватый оттенок. Горло она обмотала газовым шарфом (смешно: неужели правда надеется, что этот пустяк ее согреет?), бриллиант в обручальном кольце на безымянном пальце преломлял свет и отбрасывал на стену косые лучи. Несмотря на роскошный наряд, было в ней что-то ребячье: щеки не напудрены, горят румянцем от соленого здешнего ветра. Когда она встала, преподобный отметил, что гостья хоть и не толстая, будто ломовая лошадь (как предполагала Джоанна), но и худой ее не назовешь, скорее дородной. Такую невозможно не заметить, как ни пытайся.

И то ли оттого, как она подняла руку, то ли оттого, что они оказались одного роста, но в эту минуту преподобный узнал ее. Перед ним стояла та самая вынырнувшая из тумана мегера, с которой они вместе тащили из грязи овцу, когда глупое животное рассекло ему щеку. Гостья же преподобного явно не узнала и улыбалась ему тепло, хотя и несколько снисходительно. Остальные едва ли обратили внимание, что преподобный замялся, прежде чем протянуть Коре руку, однако сама она это заметила и бросила на него пристальный взгляд. С того самого вечера, когда Уилл вернулся домой в заляпанном пальто, его разбирали смех всякий раз, как он вспоминал эту странную встречу у озера; вот и сейчас он не удержался и расхохотался, коснувшись красной отметины, оставленной овцой.

Кора, всегда чуткая к чужим переменам настроения, опешила. Преподобный сжал ее руку, и его крепкое рукопожатие, видимо, напомнило ей что-то, поскольку она всмотрелась в шрам на его щеке, в кудри, спускавшиеся на воротник, ахнула, воскликнула: «Так это вы!» — и тоже покатила со смеху. Марта, — которая наблюдала за этой непонятной

сценой с чувством, весьма похожим на страх, — глядела, как ее подруга и хозяин дома жмут друг другу руки и хохочут. Время от времени Кора, не забывшая о правилах приличия, пыталась объяснить изумленной Стелле, что же их так развеселило, но никак не получалось. Наконец Уилл выпустил ее руку, отвесил шутливый поклон, выставив вперед ногу, точно при дворе, и сказал:

— Очень рад с вами познакомиться, миссис Сиборн. Не желаете ли что-нибудь выпить?

— Я бы не отказалась от бокала вина, — ответила Кора, которой наконец удалось успокоиться. — Кстати, позвольте представить Марту, мою постоянную спутницу. — И поджала губы, чтобы снова не рассмеяться. Но тут же добавила: — Что-то я от волнения дрожу, как овца.

— Так вы знакомы? — удивленно спросила Стелла, не любившая, когда ее исключали из общего веселья.

Уилл перестал хохотать, подвел жену к Коре и проговорил:

— Помнишь, на позапрошлой неделе я пришел домой поздно и весь в грязи, потому что вытаскивал из болота овцу? Мне тогда помогла какая-то добрая душа. Так вот она. — Он повернулся к Коре: — Прошу прощения за то, что так невежливо обошелся с вами. Без вас я бы ни за что не справился.

— Вы были чудовищно грубы, — ответила Кора, — но так позабавили моих друзей, что я охотно вас прощаю. Вот Марта никак не поверит, что я приняла вас за существо, которое вылезло из грязи и туда же вернется. Марта, это преподобный Уильям Рэнсом; мистер Рэнсом, это моя подруга.

Коре вдруг захотелось зацепиться за что-то привычное, и она обвила рукой талию Марты, отметив, что подруга окинула преподобного оценивающим взглядом и наверняка сочла его ненормальным.

Чарльз захлопал в ладоши, как если бы всю эту сцену разыграли исключительно для его удовольствия, а потом, словно вспомнив о главном, жалобно прижал руку к внушительному животу и спросил у Стеллы:

— Кажется, вы обещали нам фазана и яблочный пирог?

Он предложил левую руку жене, а правую хозяйке; Джоанна, вспомнив свои обязанности, бросила карты, вскочила и побежала открывать дверь в столовую. Свет играл на полированной деревянной столешнице, на резном узоре хрустальных бокалов, а на салфетках цвели вышитые Стеллой незабудки. Столовая была тесная, так что за стульями с высокими спинками проходили гуськом. Зеленые обои и акварели над камином давным-давно вышли из моды, но Кора подумала, что никогда еще не видала комнаты уютнее. Она вспомнила квартиру на Фоулис-стрит, с лепниной на высоких потолках и длинными окнами, на которые Майкл строго-настрого запретил

вешать портьеры, и ей вдруг отчаянно захотелось никогда их больше не видеть. Джоанна, которой эта смешливая статная дама в зеленом платье внушала благоговейный страх, робко указала на карточку, где изящным почерком Джона было выведено имя Кору.

— Спасибо, — прошептала гостья и легонько дернула девочку за косу: — Я видела, как ты обыграла Марту в карты, ты куда умней меня!

(Позже, когда Джоанна с вазочкой шоколадных конфет пришла к братьям, чтобы рассказать, как прошел вечер, она так описывала Кору: «Она не старая, но богатая; у нее саквояж из крокодиловой кожи; мне показалось, что она похожа на Жанну д'Арк, уж не знаю почему. И голос у нее странный — Джон, не ешь всё, оставь и нам конфетку! — с акцентом. Не знаю, откуда она родом, должно быть, издалека».)

Стелла незаметно разглядывала гостью из-под длинных светлых ресниц: Кора вызывала у нее живой интерес. Она-то представляла себе светскую даму, которая с напускной грустью то поковыряет вилкой в тарелке, то замолчит, крутя обручальное кольцо, или откроет медальон, чтобы полюбоваться портретом усопшего, а вместо этого изумленному взору хозяйки предстала женщина, которая ела изящно, но очень много, с улыбкой извиняясь за свой аппетит: дескать, с утра на прогулке прошла десять миль и завтра намерена пройти столько же. Разговор за столом перескакивал с темы на тему, так что у Стеллы голова шла кругом. Сперва обсуждали проповедь Уилла («Да-да, как же, знаю — “посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля”^[25] и так далее? — это вы отлично придумали: как раз для ваших прихожан!»), потом политические интриги Чарльза Эмброуза («Что же, Чарльз, удалось вам уговорить полковника Говарда? Ваше преподобие, а вы что думаете о новом члене парламента?»), потом Кора обмолвилась о том, как ищет на побережье ископаемые.

— Мы рассказали Коре о вашем змее, — проговорил Чарльз, разворачивая шоколадку. — Точнее, о двух змеях.

— Я знаю только одного, — спокойно ответил Уилл. — И если нашим гостьям интересно, то завтра утром я им его охотно покажу.

— Змей очень красивый, со сложенными на спине крыльями. — Стелла подалась к Коре: — Он вырезан на подлокотнике скамьи в церкви. Уилл каждую неделю грозитя взять рубанок и уничтожить это богохульство, но, разумеется, он этого не сделает.

— Я бы с удовольствием на него посмотрела, — ответила Кора. Огонь в камине почти догорел. — А что нового слышно о том змее, который якобы обитает в реке?

Стелла встревоженно посмотрела на мужа — он не любил, когда

упоминали про «напасть», — и решила предложить гостям кофе, чтобы переменить тему.

— Ничего нового, потому что никакого змея нет и в помине, пусть даже кое-кто из прихожан со мной не согласится! Я был у Крэкнелла, — пояснил Уилл, обернувшись к Стелле, — одна из его коз, не то Гог, не то Магог, испустила дух.

— Ой! — воскликнула Стелла, нахмурилась и решила наутро непременно отнести старику поесть. — Бедный Крэкнелл, он и так уже всех потерял. — Она протянула госте чашку кофе и пояснила: — Он живет на краю деревни, у болота, и недавно похоронил последнего члена семьи. Эти козы, Гог и Магог, — единственная его радость, к тому же они обеспечивали нас молоком и маслом. Уилл, что же случилось?

— Судя по тому, что он рассказывает, к нему на порог явилось чудовище и буквально вырвало козу у него из рук. Никто не верит в змея больше, чем Крэкнелл. Но разумеется, на самом деле все было не так, просто коза ночью выбралась из хлева, увязла в болоте и захлебнулась, когда начался прилив. — Преподобный вздохнул и продолжал: — Крэкнелл уверяет, будто коза умерла от страха, в буквальном смысле заледенела от ужаса, и такой он ее обнаружил. Боюсь, теперь прихожане нипочем не выбросят из головы бредни про змея. Как бы мне им объяснить, что мозг порою нас дурачит и если мы не ищем опоры в вере, то можно увидеть незнамо что... — Уилл пошевелил пальцами, словно пытаясь нащупать мысль, и попробовал снова: — Наши страхи обретают плоть, когда мы отворачиваемся от Бога. Заметив, что Кора пристально рассматривает его — с любопытством, но без высокомерия, — он спрятал лицо за дымящейся чашкой кофе.

— То есть вы полагаете, что он сошел с ума? И вы не допускаете, что в его словах может быть доля правды? — Кора жалела старика, но это не умерило ее любопытства: ведь это свидетельство, и еще какое!

Преподобный фыркнул:

— Чтобы коза умерла от страха? Чушь. Ни одна бессловесная тварь не способна так перепугаться, даже если сумеет отличить морского дракона, или кто там якобы водится в реке, от лежащего на болоте бревна. Подумать только, испугалась до смерти! Сдается мне, все было куда проще. Коза и так была при последнем издыхании, она выбралась из хлева на мороз умирать, и нет здесь никаких чудовищ, кроме змея, вырезанного в церкви на скамье, да и того я уничтожу, если жена наконец-то мне уступит.

Кора не удержалась от соблазна подразнить преподобного:

— Но вы же служитель Божий. Кому, как не вам, знать, что

Всевышний посылает нам знаки и являет чудеса? Так ли уж невероятна мысль, что Он решил дать нам знак, дабы призвать народ свой к покаянию?

Коре не удалось скрыть иронию в голосе; Уилл это услышал и приподнял бровь:

— Да вы сами не верите в то, что говорите. Господь наш — Бог разума и порядка, Он не насылает кару под покровом ночи. Все это деревенские пересуды, вымыслы маловеров, которые усомнились в могуществе Творца. И мой долг — направить их на путь истины, дать им уверенность и утешение, а не поддаваться нелепым выдумкам.

— Но что, если это не выдумки и не знак свыше, а живое существо, которое необходимо изучить и описать? Дарвин и Лайель...

Уилл раздраженно оттолкнул чашку:

— Так и знал, что рано или поздно прозвучат имена этих ученых мужей. Я читал обоих, и наверняка в их теориях много такого, чему потомки непременно найдут подтверждение. Но завтра появится еще одна теория, а за ней еще одна; первую ниспровергнут, вторую поднимут на щит, третья забудется вовсе, но через десять лет снова окажется на слуху и книгу переиздадут с новыми примечаниями. Все меняется, миссис Сиборн, и, как правило, к лучшему. Но что проку стараться устоять на зыбучем песке? Все равно упадешь, окажешься жертвой глупости и невежества. Все эти слухи о чудовищах свидетельствуют лишь об одном: мы утратили связь с благой и надежной истиной.

— Однако ведь вера сама по себе умонепостигаема и полна тайн, кровь и котлы с кипящей серой; каждый, кто верит, бредет наугад во мраке, то и дело оступаясь, и с трудом нащупывает путь.

— Вы говорите так, будто на дворе Средневековье и в Эссексе по-прежнему жгут ведьм на кострах! Нет, наша вера несет истину и просвещение, и я не плутаю во мраке, а с терпением прохожу подлежащее мне поприще, ^[26] и свет на стезе моей! ^[27]

Кора улыбнулась:

— Я никак не пойму, когда вы говорите от себя, а когда словами Писания, — тут вы меня поймали! — Допила остатки кофе, отхлебнув случайно горькой гущи, и закончила: — Мы с вами оба говорим о просвещении, вот только источники света у нас разные.

В другой раз Уилл рассердился бы, что эта сероглазая дама осмеливается с ним спорить за его же столом, но сейчас у него на душе было легко, и он ответил с улыбкой:

— Что ж, посмотрим, чья свеча погаснет первой! — и поднял чашку с кофе, как будто произнес тост.

Стелле их разговор доставил больше удовольствия, чем спектакль, который смотришь из партера. Она сдвинула ладони, точно собиралась аплодировать, но туту нее перехватило горло, и она зашлась в глубоком кашле, невероятном для такой крошечной женщины. Кашель сотрясал все ее тело; Стелла вцепилась в скатерть и перевернула бокал вина. С Уилла мгновенно слетела вся веселость. Он испуганно наклонился к жене, осторожно постучал ее по узкой спине и что-то ласково пробормотал на ухо.

— Принесите кипятка, ей надо подышать паром, — велела Кэтрин Эмброуз, но кашель прекратился так же внезапно, как начался.

Стелла выпрямилась и обвела собравшихся взглядом. В голубых глазах стояли слезы.

— Прошу прощения, что мне не удалось сдержаться, я, наверно, вас всех заразила, а грипп так долго не проходит! Если не возражаете, я пойду лягу. Спасибо за чудесный вечер. — Стелла обеими руками сжала Корину ладонь. — Ну а утром мы наконец покажем вам хотя бы одного змея.

3

Наутро оказалось, что змей на подлокотнике скамьи периода Реставрации^[28] выглядит совершенно безобидно. Рисунок появился сравнительно поздно, когда слухи о чудовище стали легендой, а с дубов и столбов давным-давно исчезли предупреждающие знаки. Так что мастер, чья озорная рука вырезала узор, ничуть не боялся змея и изобразил его с колючей чешуей и длинным хвостом, трижды обвившим подлокотник, но без когтей и клыков. Крылья чудовища и вовсе рассмешили Кору: вид у них был такой, словно воробья скрестили с летучей мышью. Когда на раскрытую пасть змея набегала тень, казалось, будто он подмигивает, но в целом ничего зловещего или загадочного в нем не было. За два столетия ревностные прихожане натерли чудовищу спину до блеска.

Джоанна, увязавшаяся за Корой и отцом на утреннюю прогулку, провела пальцем по глубокой свежей царапине на подлокотнике и пояснила:

— Это папа. Он хотел срезать змея рубанком, а мы не дали.

— Они спрятали мой ящик с инструментами, — проворчал преподобный, — и не говорят куда.

Сейчас Уильям Рэнсом выглядел намного строже, чем вечером за ужином в маленькой жаркой столовой, словно с воротничком надел и сан. Воротничок не шел ему, как и черные ризы, и гладкие щеки: после бритья

глубокий шрам был особенно заметен. И все же в усталых глазах священника мерцал свет, и Кора надеялась раздуть этот огонек, пока преподобный показывал ей деревеньку и церковь с коротким шпилем. Ночью шел дождь, и влажные каменные стены храма блестели на солнце.

Кора сунула палец в пасть змею: укуси, я потерплю.

— Вы могли бы сделать из этого сенсацию. Распускать слухи, метать громы и молнии с кафедры и брать с посетителей деньги за право узреть чудовище.

— Да, пожалуй, тогда бы хватило на новое окно, но в Эссексе и без того полно ужасов. С Хэдстоком, где дверь обита кожей викинга, мы соперничать не можем.

Заметив, что Кора наморщила лоб, он пояснил:

— Тамошняя церковная дверь вся утыкана железными гвоздями, а под ними куски кожи. Якобы некогда поймали викинга-изменника, содрали с него кожу и обтянули ею дверь, чтобы дождь не мочил. — Кора вздрогнула от восторга, и Уилл, стряхнув суровость, продолжал, чтобы позабавить гостью: — Видимо, речь о «кровавом орле»: ^[29] изменнику рассекали ребра, разводили в стороны, как крылья, и вырывали легкие... да вы побледнели, а Джоджо того и гляди стошнит!

Девочка бросила на отца сердитый взгляд — дескать, не ожидала я от тебя! — застегнула пальто и вышла поздороваться со звонарями, которые уже приступили к утренним обязанностям.

— Как же вам повезло: это ли не счастье! — сорвалось у Кору, которая смотрела вслед Джоанне. Та пробежала мимо могил, встала под крытым входом на кладбище и помахала звонарям. — Вы все такие счастливые...

— А вы? — Он уселся рядом с Корой на скамью и потрогал змея. — Вы всегда смеетесь, и ваш смех заразителен, как зевота! («Подумать только, а мы ее боялись», — мелькнуло в голове у преподобного.) Я вас представлял себе совсем иначе.

— Да, смеюсь. Последнее время я часто смеюсь, хотя не должна бы. Да, я совсем не такая, как от меня ожидают... в эти последние недели я не раз думала о том, что никогда еще разрыв между тем, какой я должна быть, и тем, какая я на самом деле, не был сильнее.

Наверно, глупо так откровенничать с посторонним, но они успели узнать друг друга не с лучшей стороны, да и какой разговор запятнает пуще грязи из того озерца у дороги?

— Я умею себя опозорить, так было всегда, правда, не столь заметно.

На лицо Кору набежало облако грусти, и преподобный поразился

таким переменам: взгляд ее потускнел, но тут же прояснился. Уилл потрогал воротничок и произнес важным тоном, уместным в подобных случаях:

— Писание учит, и я тоже так думаю, что в самые трудные минуты, когда кажется, будто Господь оставил нас милосердием Своим, источник спасения на самом деле совсем рядом... Простите меня, я вовсе не собирался читать проповедь, но и не сказать этого не мог, это все равно что не подать жаждущему стакан воды. — Последняя фраза настолько не вязалась с расхожим набором готовых утешений, что преподобный в изумлении воззрелся на свои руки, будто не веря, что эти слова обитали в его теле.

Кора улыбнулась:

— Да, меня томит жажда, я всегда жаждала — всего, всего! Только я давным-давно запретила себе думать об этом, — и обвела рукой высокий белокаменный потолок с поперечными балками и алтарь с синим покровом. — Иногда мне кажется, будто я продала душу, чтобы жить, повинуюсь долгу. Я вовсе не поступилась совестью или моральными принципами, но я утратила свободу думать о чем хочу, направлять мысли куда заблагорассудится, а не по проторенной кем-то дороге — либо туда, либо сюда, а больше никуда.

Кора помолчала, нахмурилась, провела пальцем по спине змея и продолжала:

— Я ни с кем об этом не говорила, хотя и собиралась. Да, я продала душу и, увы, продешевила. Когда-то и я верила в Бога — вы, должно быть, родились с такой верой, — но увидела, к чему это ведет, и отказалась от нее. Это же слепота или такой добровольный выбор: не видеть ничего нового, поразительного, не признавать, что под линзой микроскопа чудес ничуть не меньше, чем в Писании!

— И вы правда полагаете, что непременно нужно выбрать что-то одно: либо разум, либо веру?

— Не только разум — чего он стоит по сравнению с душой! — но и свободу. Иногда я думаю, что меня покарают за это, но я знаю, каково наказание, я сумею его вынести...

Преподобный не понял, о чем она, но спросить побоялся. Тут вошла Джоанна и встала в нефе; звонари за ее спиной тянули за веревки, и с улицы в церковь долетал тихий благовест.

— Я вас представлял совсем иначе, — повторил преподобный.

— Да и я вас, — откликнулась Кора, стараясь выдержать его взгляд, но вдруг оробела. Она подумала, что воротничок наделяет его не большей

властью, чем фартук — кузнеца, но даже кузнец — хозяин в своей кузнице. — Я думала, вы окажетесь толстым и важным, Стелла — болезненной и тощей, а ваши дети — до отвращения благочестивыми!

— «Благочестивыми»! — повторил Рэнсом с улыбкой. — По утрам тянутся в церковь, источая набожность, и наперегонки рвутся к Библии.

Тут Джоанна преклонила колена перед алтарем и трижды перекрестилась (ее школьная подруга была католичкой, и Джоанна завидовала католическим ритуалам и четкам). На девочке было белое платье, голову, будто нимб, обвивала коса, а губы она поджала так, что их почти не было видно, — ни дать ни взять святоша. Кора и Уилл весело переглянулись и снова покатались со смеху.

— Никак не могу найти свой молитвенник, — с достоинством произнесла Джоанна. Девочка не поняла, почему над ней смеются, и на всякий случай решила обидеться.

Кора и Уилл расхохотались еще громче, но тут пришли прихожане и застали преподобного врасплох. Он вышел на крыльцо приветствовать паству. Кора, точно расшалившаяся школьница, пыталась раз-другой поймать его взгляд, но тщетно: мысли Уилла были уже далеко. Скамья со змеем стояла в темном углу, где Кору никто не видел, покидать прохладную тихую церковь ей не хотелось, и она решила посидеть еще немного.

Паства в деревеньке подобралась сердечная и веселая, Коре даже показалось, будто она присутствует на празднике, — а может, прихожане бодрились перед лицом общей угрозы. На Кору никто не обращал внимания, и она слышала, как они перешептывались о змее, напасти и о том, что видели в ночь перед полнолунием, когда луна была красной; какие посеы не взошли; кто еще подвернул ногу. Молодой человек, чей черный костюм и мрачный вид сделали бы честь самому Рэнсому, протягивал руку к каждому, кто проходил мимо его скамьи, и говорил, что настали последние времена и близится Судный день.

Колокольный звон затих, прихожане замолчали, и Уильям взошел на кафедру. Коре показалось, что преподобный чем-то смущен. Когда он с Библией под мышкой поднимался по ступенькам, дверь распахнулась и на пороге показался Крэкнелл. Тень его на полу церкви была такой длинной и темной, вдобавок от старика так резко пахло грязью и сыростью, что какая-то женщина, позабывшая дома очки, воскликнула: «Это змей!» — и прижала сумочку к груди. Старик, очевидно наслаждаясь произведенным впечатлением, помедлил на пороге, пока все головы не обернулись к нему, после чего прошел к переднему ряду скамей и уселся, скрестив на груди руки. Поверх обычного замшелого пальто он натянул еще одно, с длинным

рядом медных пуговиц и меховым воротником, по которому в панике метались ухвертки.

— Доброе утро, мистер Крэкнелл, — произнес Уилл, которого появление старика, похоже, ничуть не удивило, — доброе утро всем собравшимся. «Обрадовался я, когда мне сказали: “Пойдем в дом Господень”». ^[30] Усаживайтесь поудобнее, мистер Крэкнелл. Мы начнем со сто второго псалма — я знаю, вы его любите. Нам не хватало вас и вашего голоса.

Уилл взошел на кафедру и закрыл дверцу:

— Давайте встанем.

Крэкнелл нахмурился, ему не хотелось вставать и подпевать, но у него и правда был приятный тенор, который нравился прихожанам, да и мелодия брала его за душу. Раз уж он все равно нарушил клятву, что ноги его не будет в храме в знак протеста против воли Господа, то можно пойти до конца. Потеряв несколько дней назад Гога (бедная коза на боку, закатив в ужасе желтые глаза-щелочки; такой он ее и нашел, причем на теле страдальцы не было ни царапины), Крэкнелл дал новый зарок. Он верил, что напасть — не досужая болтовня и не обман зрения, а чудовище из плоти и крови, которое каждую ночь подкрадывается все ближе к деревне. Вот только утром Бэнкс сообщил ему, что видел, как под водой у самой поверхности скользила черная тень, а вчера в Сент-Осайте среди бела дня утонул мальчишка. Крэкнелл понятия не имел, за какие такие грехи Господь решил покарать их деревеньку, но в том, что это Божья кара, ничуть не сомневался; и если его преподобие не намерен призвать грешников к покаянию, то он это сделает сам.

К счастью для преподобного Рэнсома, Крэкнелл выбрал место, куда падало солнце, и от весенней жары старика так разморило в двух пальто, что вскоре он задремал, прерывая молитвы храпом и бормотанием.

Из своего темного угла Кора наблюдала, как прихожане склоняли головы во время молитвы и вставали, чтобы спеть псалом, с улыбкой глядела на малышей, которые, опершись на мамино плечо, тянули ручки к сидевшим позади детям, следила, как менялся голос преподобного, когда от молитвы переходили к песнопениям. Возле нее на стене висела обшарпанная табличка с надписью: «Дэвид Бейли Томпсон, певчий, 1868–1871, мир его праху». Забавно, подумала Кора, это годы жизни или он три года пел в церковном хоре? Паркет в церкви был уложен елочкой, светлое дерево блестело, а у ангелов на витражах были крылья точь-в-точь как у соек. Второй псалом растрогал Кору: то ли мелодия, то ли знакомые с детства строки коснулись раны, которая, как она полагала, давным-давно

зарубцевалась, и она расплакалась. Носового платка у нее не было, потому что она никогда не брала их с собой; какой-то малыш с удивлением увидел ее слезы, ткнул маму локотком, та оглянулась, ничего не заметила и отвернулась. Слезы лились не переставая, а вытереть их было нечем, кроме волос. Преподобный с кафедры увидел, что Кора плачет, прерывисто вздыхает, стараясь подавить рыдания, и прячет лицо. Он взглянул ей прямо в глаза так, как прежде никто и никогда на нее не смотрел. Во взгляде Уилла не было ни удивления, ни насмешки, ни недоумения, как не было в нем ни высокомерия, ни злости. Наверно, так он смотрел бы на Джеймса или Джоанну, если бы те рыдали, — и все же не совсем так, поскольку ее он считал равной. Он быстро отвернулся — из деликатности и потому что музыка затихла. Прятать слезы было поздно, и Кора дала им волю.

К концу службы она приободрилась и даже смогла посмеяться над собой и влажными пятнами на своем платье. Кора продолжала сидеть, пока Уилла не обступили у дверей дети и прихожане. Она не стеснялась слез, но не хотела, чтобы ее утешали, и ждала, пока все разойдутся; тогда она вернется к Марте, к привычным блокнотам и аммонитам, ни разу не заставившим ее плакать. Наконец она решила, что уже можно идти, встала со скамьи, скользнула в темный проход и наткнулась на Крэкнелла. Тот явно поджидал ее в этом дурацком пальто с меховым воротником.

— Ну надо же, — осклабился старик, довольный тем, что ее напугал, — да у нас гости, как я погляжу. И что же вы тут делаете в этих-то зеленых ботинках?

— Я хоть и гостья, — ответила Кора, — зато не опоздала на службу! И кстати, ботинки у меня коричневые.

— Ваша правда, — согласился Крэкнелл, — ваша правда. — Он щелчком сбил с рукава ухвертку. — Вы, поди, слышали обо мне? Мы с его преподобием большие друзья, и я нашей дружбой дорожу. У меня, кроме нее, почти ничего и не осталось.

Крэкнелл протянул Коре руку и представился.

— Как же, мистер Крэкнелл, конечно, я о вас слышала! — воскликнула Кора. — Примите мои соболезнования в связи с вашей потерей: кажется, у вас умерла овца?

— Овца, говорите? Овца! — рассмеялся Крэкнелл, огляделся, словно хотел сказать: нет, ну вы слышали? Что за глупость! Но никто, кроме ангелов с крыльями соек, на них не смотрел, и Крэкнелл крикнул им: «Овца!» — и снова расхохотался. Потом осекся, словно что-то вспомнил, подался к Коре, схватил ее за локти и зашептал, так что она инстинктивно придвинулась ближе, чтобы расслышать его слова: — Значит, вам

рассказывали? Вам обо всем рассказывали, а вы внимательно слушали? О том, кто выходит из Блэкуотера под луной, а с некоторых пор и среди бела дня, потому что, когда в Сент-Осайте утонул мальчишка, стоял полдень и на небе не было ни облачка! Вам обо всем рассказали, а может, вы и сами его видели, или слышали, или чуяли: этим запахом пропиталось мое пальто, да и вы сами наверняка... — Крэкнелл придвинулся ближе и оттеснил Кору в тень; изо рта у него несло гнилой рыбой. — По лицу вижу, что все вы знаете, неужто не боитесь? Вы о нем мечтаете, прислушиваетесь, не покажется ли, ждете его, надеетесь...

Сам того не зная, старик угадал. Он наклонился к Коре так близко, что его губы почти касались ее губ, и забормотал певуче:

— Грех это, грех! Суд Божий близок, от него не скрыться, а вам только того и надо — что, угадал? — вы только и ждете, вы его ни капельки не боитесь — поди, думаете: да пусть он хоть сейчас заползет на порог, пока мы тут молимся?

Тени сгустились, повеяло холодом, где-то совсем рядом раздался голос преподобного Рэнсома; Кора поискала его глазами, но не нашла. Крэкнелл навис над ней, загораживая обзор, и бубнил: «Нееееет, он-то его не видит, он-то его не чувствует, он не сможет помочь, — нечего, нечего оглядываться, тут добра не жди».

— Да отпустите же меня! — Кора коснулась шрама на ключице и вспомнила, что сказала Уиллу, когда они вдвоем сидели на скамье: «Я знаю, каково наказание, я сумею его вынести». Неужели она сама искала наказания? Майкл был к ней жесток, так, быть может, теперь она ждет того же от других? Что, если он настолько долго ее мучил и унижал, что бесповоротно испортил и исковеркал? А может, она действительно продала душу и теперь расплачивается за это? — Пустите меня!

Кора схватилась за скамью, чтобы не упасть, та была мокрая, рука скользнула по скамье, и Кора упала на Крэкнелла. Пальто его было жирным на ощупь и воняло устрицами и солью. Крэкнелл тоже пошатнулся и поднял руки, чтобы удержать равновесие, длинное пальто его распахнулось, обнаружив черную засаленную кожаную подкладку, которая хлопала, точно крылья.

— Отпустите меня! — в третий раз крикнула Кора.

Дверь отворилась, осветив темный угол храма. На пороге стояла Джоанна, а рядом Марта.

— Кто запер дверь? Кто оставил дверь закрытой? — загалдели они.

Крэкнелл упал на скамью, рассыпался в извинениях — дескать, последние несколько месяцев ему пришлось нелегко: сперва одно, потом

другое.

— Иду! — крикнула Кора и повторила, дабы убедиться, что голос не дрожит: — Иду, и надо поторопиться, а то опоздаем на поезд.

* * *

Стелла смотрела из окна, как дети шагают по лугу к Дубу изменника. Всю ночь ее бил кашель, так что она почти не сомкнула глаз, а когда все же уснула, ей приснилось, будто кто-то пробрался в ее комнату и выкрасил все в синий цвет. Синими были стены и потолок, вместо ковра на полу блестели залитые ярким светом синие плитки. Синим было небо, на синих деревьях росли синие плоды. Стелла проснулась измученной и увидела все те же розы на обоях, те же кремовые льняные занавески и послала Джеймса в сад за колокольчиками. Она поставила цветы на подоконник к фиалкам, которые собрала и засушила в начале весны, и веточке лаванды — Уилл как-то положил ее жене на подушку. У Стеллы был небольшой жар, но в целом она чувствовала себя неплохо и, пока звонили колокола, выполнила собственный ритуал: коснувшись большим пальцем каждого из цветков, пропела «кобальт, лазурь, синька, индиго» — а почему, не сумела бы объяснить.

II

Изо всех сил

Апрель

Джордж Спенсер
Гостиница «Георг»
Колчестер
1 апреля

Уважаемый мистер Эмброуз,

Пишу Вам в надежде, что Вы меня помните: прошлой осенью нас познакомил доктор Люк Гаррет на ужине у ныне покойного Майкла Сиборна на Фоулистрит. Мы с доктором сейчас в Колчестере и остановились в гостинице имени моего тезки.

Надеюсь, Вы не рассердитесь на меня за то, что я решился написать Вам и попросить совета. При встрече мы с Вами вкратце обсудили новые парламентские законы, направленные на улучшение условий жизни рабочего класса. Если мне не изменяет память, Вы тогда выразили разочарование тем, что их так медленно претворяют в жизнь.

За последние месяцы мне выпала возможность узнать чуть больше о лондонских жилищных вопросах — в частности, о непосильной арендной плате, которую назначают домовладельцы. Я понял, что благотворительные организации (например, такие, как фонд Пибоди) играют все большую роль в борьбе с перенаселением, плачевными жилищными условиями и бесприютностью.

Я хочу найти достойное применение средствам фонда Спенсера (я знаю, отец предвидел, что я способен на нечто большее, нежели бессмысленно прожигать жизнь) и рад был бы услышать совет человека, который разбирается в этом лучше меня. Я не сомневаюсь, что Вы прекрасно осведомлены в подобных вопросах, и все же на всякий случай осмелюсь приложить к письму брошюру Лондонского жилищного комитета.

Недавно я узнал о предложениях, направленных на то, чтобы обеспечить нуждающихся новым жильем, не накладывая при этом на них никаких моральных обязательств, при которых «хороших» селят в новые удобные дома, а всех прочих оставляют гнить в трущобах, — на то, чтобы без всяких условий помочь ближнему выбраться из нищеты.

Через неделю-другую я вернусь в Лондон и был бы рад побеседовать с Вами об этом, если Вы сумеете найти время, чтобы со мной встретиться. Я сознаю, что, к сожалению, совершенно несведущ в этом вопросе, — впрочем, как и во многих других.

Буду с нетерпением ждать Вашего ответа.

С уважением,

Джордж Спенсер.

Кора Сиборн
Гостиница «Красный лев»
Колчестер
3 апреля

Милая Стелла,

Да же не верится, что мы с Вами виделись всего лишь неделю назад: мне все кажется, что прошел месяц, не меньше. Спасибо Вам за доброту и гостеприимство; не помню, когда в последний раз я столько ела и с таким аппетитом.

Пишу в надежде, что мне удастся уговорить Вас как-нибудь приехать в Колчестер. Я собираюсь посетить музей замка, детям наверняка там понравилось бы, к тому же Марта так полюбила Джоанну, что я даже ревную. А еще там дивный сад и множество голубых цветов — специально для Вас.

Прилагаю брошюру и записку для его преподобия: быть может, его это заинтересует...

До скорой встречи!

С любовью,

Кора.

Записка

Ваше преподобие,

Спасибо Вам за доброту и гостеприимство. Надеюсь, все у Вас хорошо. Я рада, что мы увиделись при более благоприятных обстоятельствах, нежели в первый раз.

Со мной произошел престранный случай, о котором я хотела Вам рассказать. Мы с Мартой поехали в Сафрон-Уолден, чтобы посмотреть ратушу и посетить музей. Прекрасный городок, который вполне искупает все недостатки Эссекса. На его улицах словно до сих пор витает запах шафрана. И как Вы думаете, что я нашла в книжной лавке на залитом солнцем углу? Факсимильное издание той самой брошюры о жутком летучем змее (прилагаю к письму)! Она называется «ДИКОВИННЫЕ ВЕСТИ ИЗ ЭССЕКСА», в предисловии сулят самую что ни на есть правдивую историю! Брошюру перепечатал некий Миллер Кристи, за что ему большое спасибо. Там даже иллюстрация есть, хотя мне показалось, что люди на ней не выглядят напуганными.

Так что смотрите в оба! У человека, побежденного овцой, нет надежды восторжествовать над таким противником.

Ваша

Кора Сиборн.

*Уильям Рэнсом
Приход Всех Святых
Олдуинтер
6 апреля*

Уважаемая миссис Сиборн,

Спасибо за брошюру, прочитал с интересом и возвращаю (к сожалению, Джон принял ее за раскраску, а Джеймс так увлекся чертежом арбалета для защиты дома, что не проследил за братом). Клянусь Вам столь торжественно, сколь допускает пастырский воротничок: если увижу страшного змея с крыльями, похожими на зонты, который вздумает щелкать клювом у нас на лугу, непременно поймаю его рыболовной сетью и отправлю Вам.

Я был рад с Вами познакомиться. По воскресеньям мне с утра бывает не по себе, и Вы помогли мне отвлечься.

Долго ли Вы пробудете в Колчестере? Мы всегда рады видеть Вас в Олдуинтере. Крэкнелл Вас любил, как и все мы.

С христианской любовью,

Уильям Рэнсом.

1

В последнюю неделю апреля, когда вдоль всех дорог в Эссексе распустились белые зонтики купыря и зацвел терновник, Кора с Мартой переехали в Олдуинтер и поселились в сером доме на лугу. Колчестер и «Красный лев» им наскучили: Фрэнсис исчерпал хозяйские запасы книг о Шерлоке Холмсе (неточности он выделял красными чернилами, а все неправдоподобное — зелеными), а Кора разочаровалась в городской речушке, где отродясь не водилось ничего крупнее щуки.

Воспоминание о встрече с Крэкнеллом — солоноватый запах его воротника и то, как он кликал чудовищ, притаившихся в мрачных глубинах Блэкуотера, — не давало ей покоя. Кора чувствовала, что в Олдуинтере ее что-то ожидает, но кого она ищет — живого ли, мертвого, — сама не знала. Часто она корила себя за наивность: ну откуда в Эссексе взяться живому ископаемому! Но если Чарльз Лайель допускал мысль о том, что кто-то из доисторических животных мог выжить, то какие у нее основания сомневаться? Ведь и кракен считался мифическим чудовищем, пока преподобный Мозес Харви не обнаружил на берегу в Ньюфаундленде

гигантского кальмара и не сфотографировал его в жестяной ванне. И кто знает, что таится в глинистой почве Эссекса у нее под ногами! Кора ходила гулять, возвращалась в грязном пальто, с мокрым от дождя лицом, и повторяла: «Мэри Эннинг ни о чем не подозревала, пока ее собака не погибла под обвалом. Так почему бы и мне тоже не сделать открытие здесь и сейчас?»

О пустующем сером доме на краю луга ей сообщила Стелла Рэнсом. Она приезжала в Колчестер за отрезами синей материи.

— Быть может, когда вам надоест в Колчестере, вы приедете в Олдуинтер? — предложила она. — Гейнсфорты вот уже несколько месяцев ищут жильцов, но кто поедет в наше захолустье, разве что какие-нибудь чудаки! А дом хороший, с садом, к тому же скоро лето. Наймете Бэнкса, он возьмет вас с собою в море, а здесь, на Хай-стрит, вы своего змея уж точно не найдете! — Стелла взяла Кору за руку и добавила: — И мы вам будем очень рады. Джоанна скучает по Марте, Джеймс скучает по Фрэнсису, и все мы скучаем по вам.

— Я всю жизнь мечтала научиться ходить под парусом, — улыбнулась Кора и пожалала маленькие ручки Стеллы. — Вы ведь познакомите меня с Гейнсфортами и замолвите за меня словечко? Боже мой, Стелла, какие у вас горячие руки! Снимайте же пальто и расскажите, как вы себя чувствуете.

Фрэнсис, в последнее время облюбовавший место под столом, с удовольствием слушал их разговор: в Колчестере он обрел обширные владения и был готов обрести новые. Скудный запас городских сокровищ (яйцо чайки, которое выдул, а скорлупу сохранил, серебряная вилка из-под развалин дома на Хай-стрит — Тейлор разрешил ее забрать) он исчерпал и разделял материнскую уверенность в том, что на болотах Блэкуотера их ждет что-то интересное. Фрэнсис чувствовал, что повзрослел за те несколько месяцев, что прошли со дня смерти отца. Кора с Мартой уже не пытались ни ласкать его, ни баловать, да ему этого никогда и не хотелось. Он давным-давно оставил привычку среди ночи или на рассвете появляться на пороге материнской спальни или стоять у окна и теперь сам даже не помнил, зачем так делал, — знал лишь, что необходимость в этом исчезла. Он стал более спокойным, молчаливым и кротко сносил поездки в Олдуинтер. Сыновья священника относились к нему свысока, но дружелюбно, и это его совершенно устраивало. В те два раза, что они встречались, мальчишки гуляли на лугу и за все время обменялись от силы дюжиной слов.

— Олдуинтер, — произнес Фрэнсис, оценивая длину слова. — Олдуинтер.

Ему понравились эти четыре слога и нисходящая интонация. Мама опустила глаза, посмотрела на него с облегчением и спросила:

— Ты не против, Фрэнки? Ну, значит, решено.

2

Люк Гаррет перебрал дешевого вина и крепко спал, когда его разбудил шум под окном на Пентовиль-роуд и стук в дверь. Мальчишка прибежал с запиской и теперь торчал на пороге, дожидаясь ответа. Гаррет развернул сложенный лист бумаги и прочитал:

Приходите как можно скорее. Привезли пациента с колотой раной с левой стороны грудной клетки над четвертым ребром (полицию уже поставили в известность). Проникающее ранение шириной в дюйм и одну восьмую сквозь межреберные мышцы к сердцу. Результаты первичного осмотра показали, что сердечная мышца не задета; возможно, рассечена оболочка перикарда (?). Пациент мужчина, возраст около тридцати, в сознании, дышит. Если прибудете в течение часа, быть может, удастся провести операцию. Я все подготовлю к Вашему приходу. Морин Фрай.

От радости Гаррет издал такой вопль, что мальчишка вздрогнул, понял, что чаевых ему не видать, и смешался с толпой. Из всего персонала больницы (Спенсер, разумеется, не в счет) сестра Морин Фрай была самым верным товарищем и наперсницей Люка. Ни скальпель, ни иглу ей взять в руки так и не довелось, так что в яростно честолубивом и целеустремленном Гаррете она видела в некотором роде воплощение своей несбывшейся мечты. Долгие годы службы, незаурядный ум и непробиваемое спокойствие, защищавшие Морин от высокомерия мужчин-врачей, превратили ее в несокрушимую, словно одна из стен, опору больницы. Гаррет привык к ее почти безмолвному присутствию в операционной и даже подозревал — хотя и не мог сказать наверняка, а значит, и поблагодарить Морин, — что именно благодаря ее поддержке ему разрешали проводить операции, которые в противном случае сочли бы чересчур опасными. И самой опасной из них была эта: ни одному хирургу еще не удавалось зашить рану в сердце. Такая операция считалась

непосильным делом, о ней говорили только в романах и легендах, словно эту задачу поставила какая-то жестокая богиня, умиловать которую не было надежды. Меньше года назад один из самых многообещающих эдинбургских хирургов решил, что сумеет удалить пулю из груди солдата, но пациент умер на столе, а врач, вернувшись домой, от горя и стыда застрелился. (Метил, разумеется, в свое сердце, но рука дрогнула, он промахнулся и в конце концов скончался от заражения крови.)

Но Люк Гаррет ни о чем таком не думал, стоя на залитом солнцем пороге дома. Он прижал записку к груди и, к недоумению прохожих, прокричал: «Благослови тебя Бог!» — имея в виду и сестру Фрай, и пациента, и того, кто его так вовремя ранил. Надел пальто, похлопал по карманам, но все деньги он потратил на вино, так что на кэб не осталось. Гаррет расхохотался и мило до больничных ворот бежал во всю прыть, окончательно стряхнув ночную хмурь. Его уже ждали. В дверях палаты, загородив собой почти весь проем, стоял пожилой хирург с бородой, формой и цветом напоминавшей садовую лопату. Рядом с ним топтался взволнованный Спенсер, примиряюще поднимая руки и то и дело показывая хирургу записку, которую, как догадался Люк, ему явно прислала сестра Фрай. Дверь за спиной хирурга открылась и тут же закрылась, но Гаррет успел заметить чьи-то длинные худые ноги под белой простыней.

— Доктор Гаррет, — хирург потянул себя за бороду, — я знаю, о чем вы думаете, но это невозможно, поймите вы, невозможно.

— Разве? — так кротко ответил Люк, что Спенсер испуганно попятился: уж он-то прекрасно знал, что в друге нет ни капли кротости. — Как его зовут?

— Я этого не допущу. Нет, и все. С ним родственники, дайте бедняге умереть спокойно. Я так и знал, что кто-нибудь за вами пошлет! — Он ломал руки. — Я не позволю вам покрыть нашу больницу позором! С пациентом сейчас мать, она разговаривает с ним с тех самых пор, как пришла, не умолкает ни на минуту.

Гаррет шагнул к хирургу, почувствовал исходивший от него едкий запах, похожий на луковый, и утешительный запах йода.

— Как зовут пациента, Роллингс? — повторил он.

— А вам к чему? Когда я узнаю, кто за вами послал... не пущу. Даже не думайте. Никому еще не удавалось зашить такую рану и спасти пациента. И лучше вас пытались, да не сумели. Он человек, а не игрушка! Это вам не на трупах упражняться! Подумайте о репутации больницы!

— Роллингс, дорогой мой, — слишком учтиво произнес Гаррет, и Спенсер вздрогнул, — не пытайтесь меня остановить, у вас все равно ничего не выйдет. Если родственники согласятся на операцию — а они согласятся, потому что положение безвыходное, — я проведу ее бесплатно. И никакой особой репутации у больницы не было — до меня!

Роллингс переступил с ноги на ногу — казалось, ему хотелось раздаться во все стороны, заполнить собой дверной проем, обратиться в сталь. Он побагровел, и Спенсер шагнул к нему, испугавшись, что Роллингса хватит удар.

— Речь не о правилах, — наконец произнес старший хирург, — а о жизни пациента! Это невозможно, вы погубите свою репутацию! Это же сердце! Сердце, понимаете вы?

Гаррет не шелохнулся, однако в тусклом коридоре казалось, что он становится не то чтобы выше, но массивнее и плотнее. Самообладания он не утратил, в нем словно пульсировала огромная, с трудом сдерживаемая энергия. Роллингс привалился к стене, поняв, что проиграл. Гаррет бросил на него почти сочувственный взгляд и торопливо шагнул в маленькую, безупречно чистую и светлую палату. Там пахло карболкой после дезинфекции и лавандой от носового платка в руках женщины, сидевшей возле раненого. Время от времени она наклонялась к пациенту под белой простыней и доверительно шептала на ухо: «Не волнуйся, на работу мы пока ничего не сообщали, ты ведь скоро поправишься».

Морин Фрай в жестко крахмаленном платье и тонких резиновых перчатках отдернула хлопковую занавеску, чтобы впустить в палату закатное солнце, обернулась и сдержанно кивнула вошедшим. Если она и слышала громкий спор за закрытой дверью, то виду не подала.

— Доктор Гаррет, доктор Спенсер, добрый день, — проговорила она. — Вам, конечно же, нужно подготовиться к осмотру. Пациент чувствует себя хорошо.

Она протянула Спенсеру карточку, на которой было отмечено, что давление у больного низкое, а температура высокая. Ни Гаррета, ни Спенсера ее слова, разумеется, не обманули: это было сказано, чтобы не напугать мать больного. Разумеется, пациент чувствовал себя отнюдь не хорошо и шансов у него не было.

— Его зовут Эдвард Бертон, — продолжала сестра, — двадцать девять лет, жалоб на здоровье нет, служит в страховой компании «Пруденшл Иншуренс». На него напали, когда он возвращался домой, в Бетнал-Грин. Пациента обнаружили на ступенях собора Святого Павла.

— Эдвард Бертон, — произнес Люк и обернулся к лежавшему под

простыней больному.

Тот был так худ, что казалось, будто под белой тканью никого нет, но высок: плечи и ступни торчали наружу. Между острыми ключицами дрожала ямка. «Словно мотылька проглотил», — подумал Спенсер, и его затошнило. Яркий румянец заливал скуластое лицо в россыпях родинок, белый, с ранними залысинами лоб усеивали бисерины пота. Пациенту могло быть как двадцать, так и пятьдесят, и, пожалуй, никогда еще он не выглядел таким красивым, как сейчас. Он был в сознании и дышал так сосредоточенно, точно годами оттачивал этот навык. Больной внимательно слушал мать и, когда она умолкала, вставлял замечания — почему-то о воронах и грачах.

— Еще несколько часов назад он прекрасно себя чувствовал, — сказала мать, будто извиняясь за то, что им не удалось застать больного в лучшие минуты и теперь они уйдут разочарованными. — Ему наложили повязку. Покажете им?

Сестра Фрай приподняла тонкую руку больного и простыню. Спенсер увидел большую квадратную повязку, которая закрывала левый сосок и спускалась на несколько дюймов ниже. Ни крови, ни нагноения, словно повязку наложили просто на спящего.

— Когда его привезли, он был в сознании, — пояснила мать. — Разговаривал. Его перевязали. Крови почти не было, да и вообще ничего такого. Потом его перевели сюда, с глаз долой, и забыли о нас. Бедняжка весь измучился. Почему к нам никто не пришел? Почему не дают забрать его домой?

— Он умирает, — мягко пояснил Люк и замолчал, чтобы женщина осознала его слова, но та лишь неуверенно улыбнулась, как будто доктор глупо пошутил. Люк опустил на корточки возле ее стула, легонько коснулся ее руки и сказал: — Миссис Бертон, к утру он умрет.

Спенсер знал, с каким нетерпением Люк ждал такого случая, видел, как тот в качестве подготовки резал собак и трупы, а однажды даже позволил другу зашить, распороть и снова зашить себе длинный порез и сейчас с изумлением и любовью наблюдал за тем, как взвешенно и спокойно Гаррет разговаривает с матерью пациента.

— Чушь! — воскликнула женщина и так вцепилась в платок, что тот порвался. — Не может такого быть! Посмотрите на него! Отоспится, и все пройдет!

— У него задето сердце. Кровотечение внутри, вот здесь, — Гаррет постучал себя по груди, — и сердце слабеет.

Он поискал слова, которые женщина могла бы понять.

— Оно будет слабеет, как раненый зверь, истекающий кровью в чаще, а потом остановится, поскольку закончится кровь, и его органы — мозг, легкие — погибнут.

— Эдвард... — выдохнула женщина.

Люк понял, что попал в цель и жертва слабеет. Он положил руку ей на плечо и пояснил:

— Я лишь хочу сказать, что если вы не позволите мне ему помочь, то он умрет.

Женщина расплакалась, не в силах примириться с неизбежным. Люк произнес негромко и с такой настойчивостью, какой Спенсер за ним сроду не замечал:

— Вы его мать. Вы дали ему жизнь и можете помочь ее спасти. Позволите ли вы мне провести операцию? Я, — тут Люк запнулся: ему не сразу удалось примирить честность с верою в успех, — я очень хороший врач. Да что там — лучший в этой больнице. Я не возьму с вас денег. Правда в том, что раньше таких операций никто не делал, и вам скажут, что это невозможно, но ведь все когда-то бывает впервые. Главное — не упустить момент. Я знаю, вам бы хотелось, чтобы я пообещал, что спасу его, но я ничего обещать не могу и прошу лишь довериться мне.

За дверью послышался шум. Подумав, что Роллингс оповестил больничное начальство, Спенсер прислонился к двери, сложив руки на груди. Они с сестрой Фрай переглянулись, и во взгляде каждого читалось: «Мы на краю пропасти». Но шум утих.

— Что вы с ним сделаете? — прерывисто вздыхая, спросила женщина.

— На самом деле все не так уж страшно, — обнадежил ее Люк. — Сердце защищает такой мешок, как младенца в утробе. Рана вот здесь, я ее видел — хотите, покажу? Или нет, пожалуй, не стоит. Так вот, рана здесь, она невелика, не больше вашего мизинца. Я ее зашью, кровотечение остановится, и он поправится. Надеюсь. Если же мы будем бездействовать... — Гаррет выразительно развел руками.

— Ему будет больно?

— Он ничего не почувствует.

Понемногу собравшись с силами, женщина решительным жестом отвела с лица прядь волос.

— Что ж, — сказала она, — делайте что хотите. Я пошла домой.

И, даже не взглянув на больного, направилась к выходу из палаты — правда, потрепав по пути сына по ноге. Спенсер последовал за ней, чтобы, как обычно, утешить страждущих и, пользуясь своим положением и богатством, уберечь друга от последствий его поступков.

Гаррет же склонился над пациентом и отрывисто произнес:

— Ну, как вы себя чувствуете? Устали? Ничего, скоро заснете и будете спать глубоко и спокойно. — Он взял мужчину за руку и продолжал сконфуженно: — Меня зовут Люк Гаррет. Надеюсь, когда проснетесь, вы вспомните мое имя.

— Один грач — это ворона, — ответил Эдвард Бертон, — а две вороны — это грачи.

— У него мысли путаются. Впрочем, этого следовало ожидать. — Гаррет опустил руку больного на белую простыню, обернулся к сестре Фрай и спросил: — Вы будете ассистировать?

Было понятно, что спросил он это исключительно из вежливости, потому что иначе и быть не могло. Сестра кивнула, и в этом безмолвном ответе было столько веры в его, Гаррета, мастерство, что сердце его, не вполне успокоившееся от быстрого бега, стало биться размереннее.

Когда Гаррет и Спенсер появились в операционной, санитары уже ушли. Хирурги так тщательно вымыли руки щеткой, что саднила кожа. Лежавший на высоком столе Эдвард Бертон не сводил глаз с сестры Фрай, которая переоделась в чистый халат и теперь заученными скупыми движениями перекладывала на стальных подносах инструменты и переставляла пузырьки с лекарствами.

Спенсер предпочел бы объяснить пациенту, к чему готовиться, — что хлороформ постепенно подействует, но от него может тошнить, и не надо пытаться сорвать маску, что он непременно проснется (хотя проснется ли?) и горло будет болеть от трубки, по которой подавали эфир. Но Гаррет настаивал на том, что в операционной должно быть тихо, так что постепенно и Спенсер, и сестра Фрай научились предвидеть его просьбы и угадывать их по кивкам, жестам да пристальному взгляду черных глаз над белой маской.

Пациент неподвижно лежал на столе. Из-за трубки его нижняя губа оттопыривалась, и казалось, будто он усмехается. Гаррет снял повязку и принялся изучать рану. Кожа разошлась, приоткрывшись, точно слепой глаз. Бертон был так худ, что под рассеченной кожей и мышцами виднелось серо-белое ребро. Рана была невелика, и Гаррет, обработав кожу вокруг нее йодом, взял скальпель и увеличил разрез на дюйм в каждую сторону. Спенсер и Фрай ассистировали: отсасывали кровь из раны, вкладывали в нее тампоны, вытирали Люку пот со лба. Сперва нужно было убрать кусок ребра, закрывавший поврежденное сердце. Гаррет взял костную пилку (однажды он такой же пилкой ампутировал раздробленный палец на ноге некоей девицы, которая всю протестовала — дескать, как же теперь с

четырьмя оставшимися танцевать в открытых туфлях?), укоротил ребро на четыре дюйма по сравнению с тем, каким создала его природа, и бросил отпиленный кусок в подставленную кювету. Затем стальными крюками-расширителями, которые уместнее смотрелись бы в руках инженера-путейца, развел в стороны края полости и заглянул внутрь. «До чего же у нас внутри все плотно уложено», — подумал Спенсер, в который раз удивляясь, как красиво и ярко выглядят внутренности человека. Красные, лиловые, с прожилками, с тонкими желтыми прослойками жира — в природе таких красок не увидишь. Мышцы вокруг разреза медленно сжались раз, другой; казалось, рана зевнула.

Показалось и сердце в лоснящейся оболочке, на которой виднелся небольшой разрез. Гаррет угадал: пострадал только перикард, само сердце не задето. Он сунул в рану палец, чтобы удостовериться. Клапаны и полости оказались целы, и он облегченно вздохнул.

Спенсер смотрел, как Люк, чуть согнув запястье и пальцы, сунул руку в грудь пациента, подхватил сердце ладонью, чтобы хорошенько его пощупать, потому что, часто повторял Гаррет, нет большей близости, даже если препарировать труп: ощупью узнаешь столько же, сколько глазами. Придерживая сердце левой рукой, правой он взял у сестры Фрай изогнутую иглу с тончайшим кетгутом, каким впору было бы шить шелковые подвенечные платья.

Когда Спенсера позже останавливали в коридорах больницы и спрашивали, долго ли длилась операция и сколько наложили швов, он привычно отвечал: «Тысяча часов, тысяча швов», хотя по правде ему показалось, что не успел он сделать вдох и выдох, как уже послышался скрип расширителей, которые вынимали из раны, с хлюпаньем выскользнул наружу инструмент и мышцы по краям открытой полости тут же сомкнулись, так что оставалось лишь зашить кожу над пустым местом, где прежде был кусок ребра.

Они провели долгий час у постели пациента, которому после хлороформа дали опий и наложили повязку, — то мерили шагами палату, то вглядывались встревоженно, не проступит ли на марле кровь. Сестра Морин Фрай светилась от счастья и держалась так прямо, словно совсем не устала и готова была хоть сейчас ассистировать на нескольких операциях кряду. Она принесла воды, но Спенсер от волнения пить не мог, а Люк осушил стакан залпом, и его едва не стошнило. В палату то и дело наведывались врачи и, приоткрыв дверь, заглядывали внутрь. Одни желали им победы, другие (втайне) поражения, третьи просто из любопытства, но, не увидев и не услышав ничего нового, уходили разочарованные.

В начале второго часа Эдвард Бертон открыл глаза и громко произнес:
— Помню, что шел мимо собора Святого Павла, смотрел на него и гадал: как же у него купол-то держится? — И добавил тише: — Горло болит.

Тем, кто на своем веку повидал немало выздоровлений и смертей, цвет его лица и попытка приподнять голову сказали столько же, сколько листок с подробной записью давления и температуры за день. Солнце уже село — он увидит восход.

Гаррет развернулся, вышел из палаты, в коридоре юркнул в первую попавшуюся бельевую, опустился на пол и долгое время сидел в темноте. Его пробрала такая сильная дрожь, что пришлось обхватить себя руками, как в смиренной рубашке, чтобы не упасть на дверь. Дрожь унялась, и он разрыдался.

3

Уильям Рэнсом прогуливался по лугу налегке, без пальто, и увидел, что к нему направляется Кора. Он узнал гостью издали по мальчишеской походке и по тому, как она то и дело останавливалась, чтобы рассмотреть что-то в траве, подобрать с земли и сунуть в карман. Низкое солнце играло в ее рассыпанных по плечам волосах. Завидев преподобного, она улыбнулась и подняла руку.

— Здравствуйте, миссис Сиборн, — сказал он.

— Здравствуйте, ваше преподобие, — ответила Кора.

Они улыбнулись и замолчали, словно поздоровались в шутку, как давние друзья, для которых правила этикета — суцая нелепость.

— Где вы были? — поинтересовался преподобный, заметив, что гостя, похоже, возвращалась с долгой прогулки: пальто ее было расстегнуто, воротник блузки промок, к груди пристал кусочек мха, а в руках Кора держала стебель бутня.

— Сама не знаю: две недели живу в Олдуинтере, а так и не научилась ориентироваться! Помню, что шла на запад. Купила молока — вкуснее в жизни не пила. Потом забрела в чью-то усадьбу и переполошила фазанов. У меня обгорел нос — смотрите! — а еще я запнулась на лестнице, упала и разбила колено.

— Это, должно быть, Кониингфорд-холл, — произнес Уилл, не обращая внимания на слова Кору о разбитом колене, — там еще такой особняк с башенками и грустный павлин в клетке? Вам повезло, что успели унести ноги, а то бы вас подстрелили за вторжение в чужие владения.

— Злой помещик? Жаль, я не выпустила павлина из клетки.

Кора окинула Уилла кротким взглядом и в который раз подумала, что он совершенно не похож на священника: рубашка с обтрепанными манжетами велика, под ногтями чернеет грязь. Щеки преподобного, по воскресеньям чисто выбритые, сейчас покрывала щетина, но там, где вилась отметина от овечьего копыта, волосы не росли.

— Злее некуда! Стоит поймать на его землях кролика — и он еще до завтрака поволочет вас к мировому.

Они легко приноровились идти в ногу, и преподобный подумал, что у них с Корой, должно быть, и ноги одной длины, и рост, а может, и размах рук. По ветру летел вишневый цвет. Кору переполняли впечатления, и она, не удержавшись, поделилась с Уиллом:

— До того как мы с вами встретились, вон там, на тропинке, я видела зайца: он остановился и уставился на меня. Я уж и забыла, какого цвета у них шубка — как свежееочищенный миндаль, — и какие сильные у них задние лапы, и какие они высокие, и как порскают прочь, словно вдруг вспомнили о неотложных делах!

Она взглянула на Уилла: не смеется ли он над ее детскими восторгами? Но тот лишь улыбнулся и наклонил голову.

— А еще я видела зяблика, — продолжала Кора, — и какую-то желтую птичку. Может, чижа? Вы в птицах разбираетесь? Я — нет. Повсюду валяются желуди, они уже треснули и проросли в землю, в прошлогоднюю прелую листву убегает белый усик, а сверху тянется зеленый росток, и на нем раскрывается листик! И как я раньше этого не замечала? Жаль, не догадалась захватить с собой желудь, чтобы показать вам.

Он с удивлением воззрился на протянутую пустую ладонь. До чего все-таки странно, что Кора подмечает такие мелочи и рассказывает ему, — это так не вязалось с обликом дамы, под мужским пальто которой виднелась блузка тончайшего шелка с жемчужными пуговицами, а на пальце сверкал бриллиант.

— Я, к сожалению, не настолько хорошо разбираюсь в птицах, как мне хотелось бы, — ответил Рэнсом, — могу лишь сказать, что у малой лазоревки маска, как у разбойника с большой дороги, а у большой синицы черная шапочка, как у судьи, который его повесит!

Кора рассмеялась, и он добавил застенчиво:

— Я был бы рад, если бы вы называли меня по имени. Вы не против? Я привык, что мистером Рэнсомом зовут моего отца.

— Как вам угодно, — ответила Кора. — Уильям. Уилл.

— А вы слышали дятла? Я их всегда слушаю. А змея вашего поймали?

Вы ведь приехали, чтобы избавить нас от оков страха?

— Его нигде нет и в помине! — вздохнула Кора. — Даже Крэкнелл смеется, стоит мне об этом заговорить. Наверняка вы рассказали чудовищу о моем приезде, оно перепугалось и удрало в Суффолк!

— Вовсе нет, — возразил Уилл, — уверяю вас, слухом земля полнится! Крэкнелл притворяется при даме, а у самого на окнах всегда свечи горят. Держит бедняжку Магог взаперти, так что у нее молоко пересохло.

Кора улыбнулась, и он продолжил:

— А еще в Сент-Осайте не уследили, и чудище утащило двух телят, так их с тех пор больше и не видели.

«Скорее всего, украли, — подумал Уилл, — ну да пусть себе мечтает, не буду мешать».

— Ну хоть что-то, — заметила Кора и добавила серьезно: — А что, больше никто не утонул?

— Никто, миссис Сиборн... можно я буду называть вас Кора? Хотя мне и жаль вас разочаровывать, но никто не утонул. Вы куда сейчас?

Они, точно сговорившись, подошли к забору дома священника. Позади на лугу лежала длинная тень от Дуба изменника, впереди бежала клетчатая дорожка в окаймлении синих гиацинтов. От цветов шел такой сильный дух, что у Кору даже закружилась голова; запах показался ей неприличным, против воли возбудил в ней желание, и у нее заколотилось сердце.

— Куда? — Она опустила взгляд на ноги, словно те несли хозяйку без ее на то согласия. — Пожалуй, домой.

— Да полно! Пойдемте лучше к нам. Дети ушли гулять, но Стелла будет рада вас видеть.

Так и оказалось: не успели они постучать, как дверь отворилась, точно их ждали, и на пороге показалась Стелла. В полумраке прихожей ее глаза ярко сияли, а распущенные волосы серебрились.

— Как славно, миссис Сиборн, а мы вот только за завтраком вспоминали вас — правда, Уилл? — и надеялись, что вы нас навестите! Уильям Рэнсом, не бросай же нашу гостью на пороге, проводи ее в дом, предложи ей сесть. Вы не проголодались? Хотите чаю?

— Еще как проголодалась, — ответила Кора. — Я всегда голодна!

Она смотрела, как Уилл наклонился поцеловать жену, как легонько гладил светлые кудряшки над ее ухом, и восхищалась, до чего они нежны друг с другом. («Я склею ваши раны золотом», — говорил Майкл и вырывал волосок за волоском у нее на затылке, так что осталась проплешина величиной с монетку.)

Чуть погодя они сидели в залитой солнцем комнате, неторопливо

угощались пирогом и любовались стоявшими на столе нарциссами.

— Как поживает Кэтрин? А Чарльз? — Стелла любила посудачить о ближних, а потому была очень снисходительным собеседником и мало заботилась о правде: плети себе небылицы, она только рада будет. — Оба пришли в ужас, узнав, что вы надумали сюда приехать. Чарльз даже пообещал прислать ящик французского вина и предположил, что вы здесь и месяца не выдержите.

— Чарльзу сейчас не до вина, хотя бы и французского: он слишком занят. Он заделался филантропом — можете вы себе такое представить?

Уилл приподнял бровь и допил чай. Чарльз — и вдруг филантроп? Нет, сердце-то у него доброе, но все же Чарльза более всего занимало собственное благополучие и — при условии, что это не слишком обременит, — благополучие тех, кто ему нравился. Но чтобы он стал стараться ради тех, кого сам же, по гадкой привычке, называл «чумазыми»?..

— Чарльз Эмброуз? — произнес Уилл. — Бог свидетель, никто не любит его больше меня, но ведь Чарльза куда сильнее заботит покроем его сорочек, нежели благо народа!

— Ваша правда! — рассмеялась Кора. В другой раз она бросилась бы защищать Чарльза, но тут понимала, что, услышь он эти слова, лишь кивнул бы да согласно усмехнулся сквозь дремоту, сидя в бархатном кресле «Гаррика». — Это все Марта.

Она повернулась к Стелле:

— Марта у нас социалистка. Признаться, порой я думаю, что, в сущности, если в нас есть хоть капля здравого смысла, нам всем стоит последовать ее примеру. Но для Марты это такая же часть жизни, как для его преподобия утрени и вечерни. Больше всего ее занимает вопрос лондонского жилья, это ее конек — хотя, сказать по правде, их у нее наберется целая конюшня. Рабочие обречены гнить в трущобах, если не докажут, что достойны крыши над головой, в то время как домовладельцы жиреют на арендной плате, утопают в пороках, а парламент сидит на мешках, набитых деньгами. Марта выросла в Уайтчепеле, отец ее был рабочим, и хорошим рабочим, так что они не бедствовали, но Марта не забыла о том, что творилось за порогом их квартиры. Помните, как писали в газетах год или два назад? «Лондонские отбросы»! Помните? Вы читали об этом?

Но было совершенно ясно, что они ничего не читали, и Кора, позабывшая на минуту, что она не в Найтсбридже и не в Бэйсуотере и что лондонские сплетни не просачиваются дальше Темзы, оглядела Рэнсомов с

осуждением.

— Собственно, я и сама знаю об этом только благодаря Марте, вот уж кто выучил брошюру наизусть. Несколько лет назад ее издавали и переиздавали так часто, что я бы не удивилась, начни в нее заворачивать жареную рыбу с картошкой.

— Так о чем брошюра? — спросила Стелла.

«Лондонские отбросы»! Эта фраза ранила ее сочувственное сердце.

— Полностью она называлась «Горький плач лондонских отбросов». Авторы — священники. Брошюра оставляла неизгладимое впечатление. Даже я, казалось бы, за свою жизнь в Лондоне повидав всякого, и хорошего и дурного, о таком слыхом не слыхала. Например, одна семья — мать, отец, дети — ютилась в подвале со свиньями, а когда у них умер ребеночек, то его вскрывали по распоряжению коронера прямо в подвале, потому что в мертвецкой не нашлось места! Еще там было о женщинах, которые работают по семнадцать часов в день — пришивают пуговицы, обметывают петли... и им некогда даже поесть, не хватает денег, чтобы протопить дом, так что, можно сказать, они своими руками шьют себе саваны. Марта годами не покупает себе обновок — говорит, что не хочет носить одежду, которая стоила ее сестрам таких мучений!

У Стеллы навернулись слезы.

— Как это мы раньше ничего не слышали? Уилл, ведь твой долг — знать это и помогать страждущим!

Кора заметила, что преподобный смутился. С глазу на глаз она не удержалась бы от колкости — из принципа и озорства, — но унижать мужа при жене было негоже, так что Кора сказала лишь:

— Я, право, не хотела вас огорчить. Но брошюра сделала свое дело: плач несчастных услышали, трущобы сносят, хотя, говорят, новые дома немногим лучше. Марта принимает в этом живое участие. Она заручилась поддержкой нашего друга Спенсера (он неприлично богат), а тот, в свою очередь, обратился к Чарльзу. Я слышала, они даже создали комиссию. Что ж, пусть все у них получится.

— Ваша правда! Пусть все получится! — воскликнула Стелла и, к Кориной досаде, потеряла глаза: — Что-то я совсем устала. Кора, вы меня извините, если я пойду лягу? Все никак не оправлюсь от гриппа. Вы не думайте, так-то я крепкая, до этой зимы и дня не лежала в постели, даже после родов.

Стелла встала, а за ней и Кора; она поцеловала хозяйку в щеку и удивилась, какая у той влажная и горячая кожа.

— Но вы не допили чай, к тому же Уилл хотел вам что-то показать. Не

уходите, побудьте у нас еще. Уилл, займи гостью! Расскажи, как готовишься к проповеди, — тут Стелла улыбнулась, показав ямочки на щеках, — а Кора выскажет тебе свое мнение.

Кора засмеялась и сказала, что не считает себя вправе тут что-либо советовать, а Уилл ответил со смехом, что и не думал подвергать ее таким испытаниям.

Дверь за Стеллой закрылась, на лестнице послышались ее шаги, и Кора с Уиллом почувствовали, что атмосфера в комнате чуть изменилась. Не то чтобы столовая вдруг показалась им меньше или свет в ней вдруг стал теплее — хотя так оно и было, поскольку солнце село и желтые нарциссы на столе горели огнем, — но их вдруг охватило странное ощущение свободы, как тогда на лугу. Правда, Уилл немного сердился на гостью, пусть и понимал, что Кора не думала выставлять его дураком, однако все равно на душе у него было тяжело. Она едва взглянула на него, а он уже чувствовал себя пристыженным, и поделом: когда это он перестал интересоваться всем, что происходит за пределами прихода?

— Благодать, — вдруг проговорил Уилл. — В воскресенье я буду говорить о Божественной благодати. Я думаю, это своего рода дар — милосердия, доброты, — которого мы не заслужили и даже не чаяли.

— Прекрасная тема для проповеди, — откликнулась Кора. — И даже более чем. А потом отпустите ваших прихожан пораньше, пусть они погуляют по лесу и там найдут Бога.

От досады Уилла не осталось и следа: ведь он и сам видел Бога в природе. Опустившись в кресло, он жестом предложил и Коре сесть.

— Так что вы мне хотели показать?

В присутствии Стеллы Кора сидела как настоящая леди — изящно, скрестив лодыжки под юбками, сейчас же свернулась в уголке дивана, облокотившись на валик, и уперлась подбородком в ладонь.

— Пустяки, — ответил Уилл, — не стоило и говорить. На прошлой неделе я кое-что нашел на солончаках и припрятал: вдруг вам будет интересно. Идемте!

Уилл как-то не подумал, что в его кабинет никто никогда не входил, кроме Стеллы, что там кавардак и всякий, кто увидит ворох бумаг и книг на полу и столе, решит, что в голове у преподобного такой же беспорядок. Даже детям не разрешалось переступать порог, разве что их специально звали, да и то чтобы прочитать нравоучение или преподать урок. Пожалуй, он испытал бы куда меньшую неловкость, если бы кто-нибудь увидел, как он среди бела дня справляет нужду у Дуба изменника, чем пустив кого-то к себе в кабинет. Но ни о чем таком Уилл не думал. Открыл дверь,

посторонился, пропуская Кору, и его ничуть не беспокоило ни то, что она тут же впиалась взглядом в его стол, ни то, что на столе среди бумаг лежало ее письмо, потертое на сгибах, оттого что его часто разворачивали и сворачивали.

— Садитесь. — Уилл указал Коре на кожаное кресло, некогда принадлежавшее его отцу, и она расправила юбки и села.

Уилл достал с полки книжного шкафа белый бумажный пакет, положил на стол, осторожно открыл и вынул из него какой-то белесый комок чуть больше детского кулачка. Комок был пористый, с черными вкраплениями, словно кто-то разбил дешевую тарелку и зачем-то спрятал осколки в куске глины. Уилл взял комок в руки и, наклонившись над Кориным креслом, показал ей; Кора заметила, как вьются кудри у него на макушке, увидела несколько седых волосков, блестящих и жестких, как проволока.

— Пустяки, конечно, — сказал Уилл, — нашел на берегу ручья, я там часто хожу, но ничего такого раньше не видел, хотя, впрочем, до вашего приезда и не обращал внимания. Что скажете? Быть может, это нужно передать в музей Колчестера?

Кора не знала, что ответить. Она неплохо разбиралась в аммонитах и диабазах, видала кривой акулий зуб, застывший в глине, при случае узнала бы надутого и колючего морского ежа и ребристого трилобита, а однажды в Лайм-Риджисе наткнулась на пласт с позвоночником какого-то мелкого животного, но, с присущей ученым скромностью, осознавала: чем больше знаешь, тем больше понимаешь, как мало знаешь. Уилл покатал комочек, от него откололся кусок глины и упал сквозь расставленные пальцы на пол.

— Ну что, — спросил Уилл, — каково же мнение специалиста?

Он бросил на Кору вопросительный и робкий взгляд, как будто понимал, что едва ли может порадовать ее чем-то невиданным, но все же не терял надежды. Она поцарапала комочек ногтем большого пальца — гладкая глина нагрелась в ладони Уилла.

— Мне кажется, это какая-то разновидность омара, — нашлась Кора и обрадовалась своей догадке, — только я никак не могу запомнить его название. Ах да! *Hoplolaria*. Возраст на глаз не скажу, но, думаю, несколько миллионов лет. (Не вздумает ли он возразить, мол, Земля сотворена чуть ли не позавчера?)

— Не может быть! — воскликнул Уилл, которому ее ответ явно польстил, хотя он и пытался это скрыть — впрочем, безуспешно. — Неужели правда? Что ж, склоняю голову перед вашими знаниями, миссис Сиборн. — И он действительно поклонился ей и благоговейно, полушутя-

полусерьезно, водрузил крошащийся комок глины на каминную полку.

— И как вы здесь оказались? — спросила Кора надменным, но благосклонным тоном особы королевских кровей, которая приветствует высокопоставленных гостей на открытии библиотеки; оба это заметили и улыбнулись.

— Вы имеете в виду — здесь? — Уилл окинул взглядом кабинет с незанавешенным окном, которое смотрело на луг, кувшинчик с протекающими перьями да несколько чертежей механизмов, не имевших иного предназначения, кроме как крутиться и вертеться.

— Я имею в виду здесь, в Олдуинтере! Ваше место в Манчестере, Лондоне, Бирмингеме, но никак не в сельской церквушке, от которой вы не отходите дальше пятидесяти шагов и где поговорить-то не с кем, потому что во всей округе нет достойного собеседника! Встреть я вас где-нибудь в другом месте, подумала бы, что вы адвокат, или инженер, или какой-нибудь министр. Или вы еще ребенком, лет в пятнадцать, поклялись принять духовный сан, а потом побоялись нарушить обет, чтобы вас за отступничество не поразила молния?

Уилл оперся о подоконник и настороженно посмотрел на гостью:

— Неужели я правда так интересен? Разве вам раньше не доводилось встречать священников?

— Я не хотела вас задеть, — ответила Кора. — Встречала, еще как встречала, всех и не упомнишь, но вам я удивляюсь, вот и все.

Он делано пожал плечами:

— Вы солипсистка, миссис Сиборн. Неужели так трудно вообразить, что кто-то может избрать путь, отличный от вашего, и быть довольным своей жизнью?

«Трудно, — подумала Кора, — даже невозможно».

— Во мне нет ничего ни примечательного, ни интересного, и если вы думаете иначе, то ошибаетесь. Некогда я мечтал стать инженером, восторгался Притчардом и Брюнелем, а однажды даже вместо школы отправился на поезде в Айронбридж, чтобы сделать зарисовки заклепок и опор моста. На уроках мне было скучно, и я чертил мосты из коробчатых балок. Но на самом деле цель для меня куда важнее достижений — чувствуете разницу? У меня неплохие мозги, и если бы карты легли иначе, то сидел бы я сейчас в парламенте, обсуждал какой-нибудь подпункт какого-нибудь закона, а сам бы думал: что сегодня на обед — тюрбо? — и нашел ли Эмброуз нового кандидата, и куда поехать обедать, на Друрилейн или на Пэлл-Мэлл. Тоска смертная! День, когда я укажу Крэкнеллу путь к Господу, который никогда его и не оставлял, для меня дороже тысячи

обедов на Друри-лейн. А вечер, когда я гуляю по солончакам и пою псалмы и надо мной разверзаются хляби небесные, стоит тысячи прогулок в Риджентс-парке.

Уилл уже и не помнил, когда в последний раз так долго говорил о себе, и дивился, как ей удалось вызвать его на откровенность.

— И достойный собеседник у меня есть, — раздраженно добавил он. — Стелла.

— По-моему, так жить просто стыдно.

— Стыдно?

— Да, стыдно. В век прогресса отказаться от завоеваний разума, довольствоваться мифами и легендами, отвернуться от мира, с головой уйти в идеи, которые даже ваш отец счел бы отсталыми! Нет и не может быть ничего важнее, чем максимально использовать интеллект!

— А я и не отворачивался от мира, напротив! Неужто вы думаете, что все можно объяснить уравнениями да почвенными отложениями? Я смотрю вверх, а не вниз.

Тут атмосфера снова чуть изменилась, словно упало давление и надвигалась буря. Оба чувствовали, что сердятся друг на друга, хотя и не понимали почему.

— Неужели вас интересует внешний мир? Что-то не похоже! — Кора напряженно оперлась о подлокотник и продолжала зло: — Да что вы знаете о современной Англии, о том, как в ней прокладывают дороги и куда они ведут, о городских районах, в которых дети отродясь не бывали на реке, в глаза не видели зелени. А вам и горя мало: вы знай себе распеваете под голубым небом псалмы и возвращаетесь домой к красавице жене и книгам, которые сошли с печатного станка три сотни лет назад!

Кора сознавала, что ее слова несправедливы, и запнулась, не желая ни идти на попятный, ни продолжать. Если она думала разозлить хозяина, ей это удалось. Уилл ответил так колко, что о его голос можно было пораниться:

— Надо же, какая пронизательность: мы с вами видимся всего лишь в третий раз, а вы уже составили мой портрет и расписали мои мотивы. — Их взгляды встретились. — Из нас двоих не я копаюсь в грязи в поисках останков, не я убежал из Лондона и погрузился в науку, которой даже не понимаю.

— Что ж, все так. Вы угадали. — И улыбнулась, чем совершенно обезоружила Уилла.

— Так что же вы здесь делаете? — спросил он.

— Сама не знаю. Вероятно, мне захотелось свободы. Я слишком долго

жила в плену. Вас удивляет, что я роюсь в грязи, но это все, что я помню с детства. Целыми днями я бродила босая, рвала дрок для настоек, смотрела, как кишат в пруду лягушки. Потом появился Майкл, городской до мозга костей. Дай ему волю, он замостил бы все леса, а воробьев превратил бы в статуэтки. Вот и меня он превратил в статуэтку. Талию стянуть, волосы сжечь завивкой, румянец запудрить и снова нарисовать. Теперь же я снова могу копаться в земле сколько душе угодно, пока не порасту мхом и лишайником. Вас, возможно, возмутит утверждение, что мы ничуть не лучше животных, а если и стоим выше их на лестнице эволюции, то всего на одну ступеньку. Меня же эта мысль освободила. Животные не соблюдают правил, а нам они к чему?

Если Уилл и способен был забыть об обязанностях, которые предписывал ему сан, то лишь ненадолго; вот и сейчас, слушая Кору, он потирал шею, словно надеялся нащупать белый священнический воротник. Преподобному не верилось, что гостья всерьез полагает, будто ничем не лучше животного, и готова довольствоваться жизнью без забот, не опасаясь душу потерять и не имея возможности спастись. К тому же она сама себе противоречила: если считала себя животным, зачем же хваталась за все новые идеи, которые были выше ее понимания? Повисла тишина, точно кто-то поставил точку в конце длинного путаного предложения, и ни один не решался прервать молчание. Наконец Кора с видимым облегчением взглянула на часы и, улыбнувшись, поскольку ничуть не обижалась и надеялась, что на нее тоже не обижаются, сказала:

— Мне пора. Не то чтобы я была так уж нужна Фрэнсису, но все же ему приятно знать, что в шесть часов на столе непременно будет ужин и я буду за столом. И я уже проголодалась. Я всегда хочу есть!

— Я заметил.

Кора встала. Уилл открыл дверь.

— Я пройду с вами: мне пора на обход, как хирургу в больнице. Надо навестить Крэкнелла и заглянуть к Мэтью Ивенсфорду, он принял обет воздержания после Нового года, когда обнаружили утопленника, с тех пор носит черное и боится змея и конца света. Вы могли его видеть в церкви — весь в черном и с такой миной, точно несет на плече гроб.

Они снова вышли на луг. Солнце клонилось к горизонту, ветер стих. На душе у Уилла и Кору было легко: оба чувствовали, что им удалось без потерь миновать зыбкую почву. Кора, видимо чтобы как-то загладить вину, с восторгом говорила о Стелле, а Уилл в ответ попросил объяснить ему, каким образом окаменелости датируют по слоям пород, в которых их нашли. Каменная колокольня церкви Всех Святых блестела на солнце;

растущие вдоль тропинки нарциссы учтиво склоняли перед ними головки.

— Признайтесь, Кора, неужели вы правда полагаете, что в таком унылом и мелком месте, как устье Блэкуотера, может обитать доисторическое животное? «Ихтиозавр» — так, кажется, вы его назвали?

— А почему бы нет? Я в это верю. Впрочем, я никогда не понимала разницу между мнениями и верой, вы мне при случае растолкуйте. К тому же идея не моя: Чарльз Лайель был твердо убежден, что ихтиозавры существуют, хотя, должна признать, никто не принимал его слова всерьез. Надо же, у меня осталось еще целых десять минут свободы, так что, если не возражаете, я прогуляюсь с вами к Краю Света, к морю. Уверена, нам нечего бояться, апрель для морских драконов слишком мягок.

Они подошли к морю. Был отлив, ил и галька блестели в лучах заката. Остов Левиафана кто-то увил желтыми ветвями ракушечника, там и сям торчали мягкие пучки осоки, мерцавшие на ветру, вдалеке гулко ухала выпь. Свежий воздух пьянил, как сладкое вино.

Ни Кора, ни Уилл не знали, кто первый прикрыл глаза рукой от ослепительных бликов на воде и увидел то, что было вдали. Ни один не помнил, кто из них воскликнул или просто сказал другому: «Смотрите! Смотрите!» — но оба остановились как вкопанные на тропинке повыше солончаков и уставились на восток. Там, на горизонте, между серебряной лентой воды и небом, таяла прозрачная белесая дымка, и в этой дымке над морем парил корабль. Сильный ветер раздувал багровые паруса; можно было разглядеть палубу, оснастку и черный нос. Судно летело вперед, не касаясь воды, мерцало, уменьшалось и снова обретало обычные размеры. На мгновение под баркасом на воде, точно в огромном зеркале, показалось его перевернутое отражение. Веяло прохладой, все так же гулко ухала выпь, и Кора с Уиллом слышали, что каждый из них часто дышит: оба испытывали если не страх, то нечто очень похожее. Но вот зеркало исчезло и баркас поплыл один; под черным его носом над блестящей поверхностью воды мелькнула чайка. Потом кто-то из матросов-призраков натянул канат или бросил якорь, и судно остановилось, словно по волшебству, зависло в тишине на фоне неба. Уильям Рэнсом и Кора Сиборн, позабыв условности, приличия и даже слова, стояли, взявшись за руки, как дети земли, и зачарованно вглядывались вдаль.

*Читальный зал
Британского музея
29 апреля*

Уважаемая миссис Сиборн,

Как видите, пишу Вам из читального зала Британского музея. Благодаря воротничку меня пустили без возражений, хотя, признаться, библиотекарь оглядел меня с головы до ног, поскольку под ногтями у меня была грязь: я сажал бобы. Пришел я сюда за материалами для проповеди о пришествии Христа, о чем сказано в двадцать втором псалме, а вместо этого решил разобраться, что же мы все-таки с Вами вчера видели.

Как Вы помните, мы (едва обрели дар речи) единодушно сошлись на том, что явившееся нам видение — никакой не «Летучий голландец» и вообще не призрак. Вы предположили, что это мираж сродни тем, что бывают в пустыне и обманывают умирающих путников обещанием утолить жажду. Что ж, Вы были недалеко от истины. Готовы выслушать урок?

Я убежден, что мы с Вами видели фата-моргану — иллюзию, названную в честь феи Морганы, которая околдовывала и губила моряков, рисуя в воздухе над морем ледяные замки. Вы не поверите, сколько здесь книг об этом! Я переписал для Вас фрагмент из дневников Дороти Вульфенден (прошу прощения за почерк!).

1 апреля 1864 г., Калабрия: Проснувшись рано, я стояла у окна и видела необычное явление; если бы мне рассказал о нем кто-то другой, никогда бы в это не поверила. Погода стояла ясная, и я увидела на горизонте над Мессинским проливом дымку, в которой мерцал город. Перед глазами моими выстроился огромный собор с башнями и арками, выросла роща кипарисов, которые дружно склонились, словно от сильного ветра, и на мгновение показалась высокая блестящая башня со множеством длинных бойниц. Потом видение как будто скрыла пелена, и оно испарилось, город исчез. Я в изумлении побежала рассказать обо всем моим спутникам: они спали и ничего не видели. Полагаю, это была печально известная фата-моргана, что обрекает людей на верную гибель.

Но фее мало кораблей и городов: после битвы при Ватерлоо жители Вервье видели в небе целые армии. Древние скандинавы называли такие миражи «хиллинггар», им мерещились скалы на равнинах.

В общем, видению нашлось вполне прозаическое объяснение, хотя, признаться, ничуть не менее дивное, чем если бы сама фея Моргана последовала за нами на солончаки. Насколько я понял, иллюзия возникает из-за того, что слои теплого и холодного воздуха образуют нечто вроде преломляющей линзы. Видимый наблюдателю свет искривляется таким образом, что в поле зрения объекты, находящиеся поблизости от линии горизонта, отражаются намного выше своего истинного местоположения (воображаю, как Вы сейчас записываете в блокнот. Угадал? Надеюсь, что так!). Слои теплого и холодного воздуха смещаются, а с ними и линзы. Вы же видели, как и я, что корабль словно плыл над собственным отражением? Объекты не только смещаются: изображение повторяется с искажениями, так что любой пустяк множится до бесконечности, — вот вам и кирпичи, из которых выстраиваются целые города!

Так что пока мы с Вами в изумлении смотрели на баркас, где-то там, за горизонтом, Бэнкс шел с грузом пшеницы в Клэктон.

Я знаю за собой склонность проповедовать и все же не могу удержаться. Чувства нас обманули: мы с минуту стояли в ошеломлении, словно наши тела сговорились против разума. Я всю ночь не мог уснуть, и не потому что меня преследовал призрак корабля, но потому что понял: глазам верить нельзя — или, по крайней мере, нельзя верить тому, как мозг толкует то, что видят глаза. Утром по дороге на станцию я заметил на земле умирающую птицу; она так отчаянно билась на тропинке, что меня затошнило. Потом я понял, что это всего лишь кучка мокрых листьев, которые треплет ветер, но тошнота прошла не сразу. И вот о чем я подумал: если тело мое откликнулось так же, как если бы я увидел птицу, можно ли считать это

обманом чувств, даже если оказалось, что на дороге лежала листва?

Мысли мои крутились вокруг миража и в конце концов, как обычно, вернулись к змею. Я вдруг понял, что, быть может, он являлся нам в разных обличьях, а правда не одна, правд много, и невозможно их ни подтвердить, ни опровергнуть. Как бы мне хотелось, чтобы в одно прекрасное утро Вы нашли на пляже его тушу, сфотографировали, снабдили снимки примечаниями и передали в музей! Тогда бы мы могли хоть в чем-то быть уверенными.

И все же мне приятно вспоминать, как мы с Вами стояли на берегу. Ловлю себя на нехристианском чувстве: как хорошо, что обманулся не я один, а мы оба.

С уважением,

Уильям Рэнсом.

Записка

Я там была! Я видела то же, что и Вы, и чувствовала то же, что и Вы.

Всегда Ваша,

Кора.

Май

1

Май, и теплая погода манит розы на клумбах расцвести пораньше. Наоми Бэнкс глядит на луну и думает, что тихий дождик и ясные утра — исключительно ее, Наоми, заслуга, но это ее почему-то не радует. Она вспоминает тот вечер на солончаках, когда они заклинали весну, но видит не их с Джоанной руки, простертые над костром, а то неведомое, что таится в реке, ждет своего часа. Она истинная дочь своего отца, никто лучше нее не знает капризы приливов и отливов, как волна перекачивается через песчаную отмель, как течение несет обломанные дубовые сучья. И все равно отныне Блэкуотер внушает ей страх: она больше не плавает в лодке и вовсе обходит причал стороной, словно боится, что тот, кто живет в реке, схватит ее за ногу.

Учительница ругает ее: нельзя быть такой легкомысленной лентяйкой — и в наказание заставляет писать в тетради одну и ту же строчку, но слова расползаются по бумаге, точно мухи. Наоми рисует углем на страницах морского змея с черными крыльями и тупоносой мордой, он щерит на нее пасть. Потом глядит на кожицу между своими пальцами и морщится, вспомнив, как одноклассники впервые заметили это и стали над ней издеваться и как ей было страшно, пока не вмешалась высокая Джоанна, за которой всегда стоял авторитет отца. Наоми поднимает руку и смотрит, как свет выделяет жилки на крошечных перепонках. Она чудовище, урод, и что тут удивительного, если змей ее вычислит, — они ведь, может, с ним сродни. Одно время она даже отказывалась от воды: а вдруг в стакане чешуйки с его хребта?

Как-то вечером по дороге домой Наоми, так и не отыскав отца, бредет мимо раскрытых дверей «Белого зайца». В нос ей бьет запах выпивки, знакомый, как дыхание отца, и она медлит у порога. Завсегдатаи уговаривают ее зайти, восхищаются ее рыжей гривой и оловянным медальоном (в нем хранится кусочек сорочки, в которой она родилась, — амулет, чтобы не утонула). Она чувствует, что обладает силой, о которой понятия не имела, она делает пируэты, когда ее просят, смеется, когда хвалят ее щиколотки и белые колени. Восторг мужчин так непривычен и приятен, что Наоми позволяет им играть ее локонами, рассматривать медальон на шее, «да», смеясь, отвечает она, «я вся в конопушках». Она

вскакивает, хочет уйти, ее зовут обратно и, когда она возвращается, хвалят: «Какая красавица!» «А может, я и вправду красавица?» — думает Наоми. Кто-то, облапив, сажает ее к себе на колени, и она пугается, но тут же приходит в ярость: ведь так нельзя! Но не может пошевелиться, а мужчина за ее спиной довольно урчит, точно животное, нашедшее пищу.

Той ночью во сне змей засовывает ей под подушку кончик мокрого хвоста и холодит дыханием ее веки. Наоми просыпается в страхе, что простыня под ней насквозь пропитана морской водой. Кажется, будто сон как-то связан с давней смертью ее матери (хотя та умерла в спальне с занавешенными окнами, а вовсе не на берегу Блэкуотера), и от волнения у нее пропадает аппетит.

Но змей навещает не только ребенка. Он является Мэттью Ивенсфорду, когда тот листает Откровение Иоанна Богослова, и показывает семь голов и десять рогов, и имена богохульные на головах его. Он стучится с дождем и восточным ветром в двери Крэкнелла, он поджидает Бэнкса, когда тот чинит паруса и вспоминает покойную жену, украденную лодку и дочь, которая боится поднять на него глаза. Он подмигивает Уильяму Рэнсому с источенной жучками церковной скамьи и недвусмысленно напоминает о его слабостях — и преподобный читает молитву с жаром, который восхищает прихожан: «Молим Тебя, Господи, прогони нашу тьму светом Твоим и по великой милости Твоей избави нас от всякого зла». Он приходит к Стелле в лихорадке, но ее не утешить: она поет ему и жалеет трусливого гада. В обеденном зале «Гаррика» Чарльз Эмброуз, объевшись, кладет ладонь на живот и в шутку жалуется приятелям, что в него впился змей из Эссекса. Доказательства Божьего гнева рассыпаны повсюду: растения в садах облепили кукушкины слюнки, у камина трупик мертворожденного котенка. Узнав о смерти в Сент-Осайте, причин которой коронер не сумел доискаться, Ивенсфорд берет кровь от зарезанной по случаю воскресенья курицы и вечером идет помазать косяки всех дверей в Олдуинтере, чтобы их миновала кара Господня, но к рассвету начинается ливень, и никто ничего не узнает.

Марта ждет, не выкажет ли Кора желанья вернуться на Фоулис-стрит, но та словно и думать об этом забыла: ей теперь кажется, будто счастье ее коренится в здешней глине. Как-то раз она уходит в Ист-Мерси, шагает, не помня себя от радости, и боится, что однажды ее за это покарают. Среди бурных скал бежит ручеек, а вдоль него растет мать-и-мачеха. Кора наклоняется, чтобы осмотреть камни и гальку в прибрежных наносах, и находит не аммонит, не магнетит, а гладкий кусок янтаря, который ловко ложится в ладонь. Время от времени она перебирает воспоминания обо

всем, что было с нею в Эссексе: как они тащили из грязи глупую овцу, как Крэкнелл шептал ей на ухо пророчества в церкви Всех Святых, как Стелла доверчиво продела руку под ее локоть, как беззвучно скользил по небу корабль, — и ей кажется, что она живет тут уже много лет и не помнит другой жизни. А ведь есть еще и змей. Кора объезжает на лодке вокруг острова Мерси, посещает Хенхем-на-Горе, читает оду о Рагнаре Кожаные Штаны, который убил гигантского змея и завоевал невесту. Перед глазами Кору стоит тень Мэри Эннинг: уж она-то наверняка выяснила бы, что скрывается за слухами о крылатом морском чудище, она бы пошла за ним на край света, загнала бы и его и себя насмерть. Кора часто навещает Рэнсомов, и всегда с подарками для детей: книгой для Джоанны, деревянной головоломкой на веревочках для Джеймса (который тут же ее разбирает) и сладостями для Джона. От души целует Стеллу в обе щеки и идет в кабинет к Уиллу. Тот уже ждет ее, на столе лежит найденный Корой кусок янтаря, и, увидев друг друга, каждый думает: «А вот и вы!»

Они сидят бок о бок за его столом над открытыми книгами, о которых оба давно позабыли; она спрашивает его, читал ли он то-то и то-то и что он об этом думает; конечно, читал, отвечает он, но ничего об этом не думает. Он пытается набросать преломление света, что явила им фата-моргана, она рисует трилобит. Они острят друг о друга ум, каждый по очереди — клинок и точильный камень, а когда заходит разговор о вере и разуме, охотно спорят, пугаясь собственного скорого раздражения («Вы не понимаете!» — «Как же мне вас понять, если вы даже не пытаетесь сказать хоть что-нибудь дельное?»). Однажды едва не доходит до драки из-за понятия абсолютного добра, которое Кора отрицает, ссылаясь на сороку-воровку. Уилл то и дело принимает покровительственный вид и вещает, точно на церковной службе, Кора тут же весело вспоминает о змее, а Уилл снисходительно отвечает, дескать, все это выдумки и чепуха, но она не сдается: разве он не слышал, что в 1717 году в Молдоне на берег выбросило диковинного зверя длиной в четырнадцать футов? А еще местный житель! И каждый убежден, что взгляды другого в корне ошибочны, что обычно исключает всякую возможность дружбы, однако же, к удивлению Уилла и Кору, им это ничуть не мешает оставаться друзьями. Переписываются они чаще, чем видятся. «Вы мне больше нравитесь на бумаге», — признается Кора, и ей кажется, будто она повсюду носит с собой, в кармане или на шее, постоянный источник света.

Стелла, проходя мимо открытой двери, не скрывает снисходительной и довольной улыбки: ведь у нее столько добрых знакомых, и она рада, что и муж наконец-то нашел себе подходящего собеседника. Как-то раз

деревенская кумушка в надежде на сплетню любопытствовала у нее, как обстоят дела, и Стелла ответила шаловливо, едва удержавшись, чтобы не погладить янтарь: «Я не видала друзей вернее, они даже внешне стали похожи. На прошлой неделе она ушла домой в его ботинках и хватилась только на полдороге!» Причесываясь утром перед зеркалом, Стелла немного жалеет Кору: когда на нее находит стих, Кора умеет выглядеть привлекательно и роскошно, но так-то никто не назовет ее красавицей. Она кладет щетку — болит рука. После гриппа Стелла еще не совсем окрепла и не хочет выходить, куда приятнее сидеть у окна в синих сумерках и любоваться примулами, распускаящимися в саду.

Люк Гаррет с тревогой обнаруживает, что стал знаменитостью. Среди студентов-хирургов завелась повальная мода, все подражают его странностям, над которыми когда-то откровенно потешались: мастерят на скорую руку зеркала в операционных, надевают белые хлопковые маски. Старшие врачи его по-прежнему не любят, опасаясь нашествия в больничных коридорах жертв уличных драк, которые, распахивая на груди рубахи, потребуют подлатать раны. Спенсер — по природной щедрости и чтобы как-то оградить свои вещи от постоянных посягательств друга — заказывает ему в подарок на память о врачебном триумфе кожаный ремень с тяжелой серебряной пряжкой, на которой просит выгравировать змею, обвившуюся вокруг посоха Асклепия.

Люк и сам не знает, что должно было измениться после того, как он докажет, что рану на сердце можно зашить, но все остается по-старому. Денег по-прежнему едва хватает, чтобы оплачивать квартиру, так что без валяющихся на полу банкнот, которые, как подозревает Люк, ему подбрасывает Спенсер, пришлось бы туговато. Он все тот же — сутулый, с густыми черными бровями, да и все унижения жизни не улетучились с парами хлороформа в двенадцатой операционной. И если откровенно, к сердцу-то он не подобрался: и лезвие ножа, и лезвие скальпеля не коснулись полости, так что, сказать по правде, никакое это не достижение.

Он признается Спенсеру (единственному из всех), как надеялся, что эта операция поднимет его в глазах Кору. Она его, конечно, любит (или, по крайней мере, так говорит) и восхищается им, но ему кажется, будто его обошли. Она завела новых друзей и пишет ему, мол, у жены священника такое милое личико, что даже цветы, завидев ее, вянут от зависти, а их дочь подружилась с Мартой, и даже Фрэнсис способен вытерпеть такое общество часок-другой. Он дивится ее решению переехать в Олдуинтер, а потом решает, что ею всего лишь овладело вдовье уныние, и радуется, что сумеет ее приободрить. Но вот они встречаются в Колчестере, Кора с

воодушевлением рассказывает ему об Уильяме Рэнсоне, и серые глаза ее при этом так сияют, что кажутся голубыми; такое чувство (говорит она), будто Господь смиловился над ней и послал ей брата, о котором она всегда мечтала. Она рассуждает о нем совершенно свободно, без всякой неловкости, не краснеет от смущения, не отводит глаза, но Гаррет все равно переглядывается с Мартой и понимает, что впервые они думают об одном. «Что происходит? — молча спрашивают они. — Что происходит?»

Спенсер с головой погружается в омут лондонского жилищного вопроса. Дело, которым он занялся в угоду Марте, увлекает его не на шутку: он внимательно изучает отчеты о заседаниях парламента, читает протоколы собраний комитета, бродит по Друри-лейн, облачившись в свое худшее пальто. Выясняется, что парламент лишь на словах расположен к беднякам, на деле же договаривается с промышленниками. Порою Спенсер, столкнувшись с вопиющей алчностью и злодейством, приходит в такое изумление, что не верит своим глазам, но, приглядевшись, понимает: на самом деле все еще хуже, чем ему показалось. Городские власти сносят трущобы и выплачивают домовладельцам компенсацию за потерю дохода. Поскольку ничто не приносит такой прибыли, как перенаселенность и пороки, домовладельцы потворствуют и тому и другому почище уличных сутенеров, а правительство их щедро вознаграждает. Жильцам сообщают, что для построенных фондом Пибоди новеньких красивых и уютных домов они чересчур аморальны, и им не остается ничего другого, кроме как перебраться в меблированные комнаты. Порой на улицах горят костры, жильцы сжигают рухлядь, которую уже не продашь. Спенсер вспоминает фамильную усадьбу в Саффолке: недавно мать обнаружила в доме комнату, о существовании которой они не догадывались, — и на него накатывает тошнота.

В доме Край Света Крэкнелл по-прежнему не спускает глаз с устья реки, густо увешивает изгородь освежеванными кротами да теплит на окне свечу.

2

Как-то вечером, прогуливаясь по солончакам с псалмами на устах, Уильям Рэнсом встретил сына Кору. Преподобный попытался разглядеть в непроницаемом личике черты своего друга, но так и не нашел сходства. Должно быть, такие глаза были у человека, которого она когда-то любила, подумал Рэнсом, такой подбородок и скулы. Но взгляд у мальчика был вопросительный, а не жестокий, как у Сиборна (так думал Уилл), хотя,

будем честны, ребяческим его назвать было нельзя; впрочем, во Фрэнсисе и не было ничего детского.

— Что ты здесь делаешь один? — удивился Уилл.

— Я не один, — возразил мальчик.

Уилл огляделся, нет ли кого на берегу, но нет, ни души.

Фрэнсис засунул руки в карманы и рассматривал стоявшего перед ним мужчину, точно листок с задачами, которые надо было решить. Наконец он спросил — так естественно, как если бы этот вопрос возник во время их разговора:

— Что такое грех?

— Грех? — Уилл до того удивился, что даже споткнулся и вытянул перед собой руку, словно надеялся нащупать дверцу кафедры.

— Я подсчитал, — продолжал Фрэнсис, шагая рядом с преподобным, — в это воскресенье вы произнесли это слово семь раз. И пять — в прошлое.

— Я и не знал, что ты был в храме. Никогда тебя там не видел.

Неужели Кора тоже слушала службу, сидя в тени на скамье?

— Семь и пять равно двенадцать. Но вы так и не ответили.

Они дошли до Левиафана, и Уилл, обрадовавшись паузе, наклонился набрать камешков, которые приборй вынес к остову. За все годы служения его никто ни разу не спросил об этом, и сейчас преподобный, к своему удивлению, растерялся. Не то чтобы он не знал ответа — знал, и не один (Уилл прочел немало богословских книг), но вот так, на природе, без кафедры и скамей, в устье реки, волны которой лижут берег, и вопрос и ответ показались ему неуместными.

— Что такое грех? — повторил Фрэнсис с прежней интонацией, словно спрашивал в первый раз.

«Господи, дай мне сил», — подумал Уилл, одновременно раздраженно и благочестиво, и протянул мальчику камешек.

— Отступи чуть-чуть, — велел он, — встань тут, ко мне поближе, еще шаг. Вот так, хорошо. А теперь брось камнем в Левиафана, вон в то ребро, у которого мы стояли.

Фрэнсис впился в преподобного взглядом, будто гадая, не смеются ли над ним, и, убедившись, что не смеются, бросил камешек и промахнулся.

— На тебе другой. — Уилл вложил ему в ладошку синий камень. — Попробуй еще раз.

Фрэнсис снова швырнул камень и снова промахнулся.

— Вот так и грех, — пояснил Уилл. — Когда мы грешим, это значит, что мы пытаемся, но у нас не получается. Но ведь всегда и не может

получаться, поэтому мы пробуем еще и еще.

Мальчик нахмурился:

— А если бы Левиафан был не там, а если бы вы не велели мне встать тут? Если бы я встал вон там, а Левиафан лежал вон там, я бы попал в него с первого раза.

— Да, — согласился Уилл, чувствуя, что копает глубже, чем рассчитывал, — нам кажется, будто мы знаем, куда метим, быть может, мы действительно это знаем, но наступает новый день, меняется освещение, и оказывается, что надо было целить совершенно в другую сторону.

— А если все меняется — и что надо делать, и чего не делать, — то как понять, куда нужно целиться? Неужели я буду виноват, если у меня ничего не получится, и разве можно меня за это наказывать? — Меж черных бровей Фрэнсиса обозначилась еле заметная морщинка, и Уилл наконец узнал Корины черты.

— Я думаю так... — Уилл продвигался осторожно, — есть то, что всем нужно делать, и то, чего всем делать не следует. Но бывают случаи, когда нам самим приходится решать, как поступить.

В ладони у него лежал последний камешек, плоский и гладкий. Уилл повернулся спиной к Левиафану и запустил гольш в отступавшую волну. Камешек подпрыгнул и исчез в воде.

— Вы думали, что выйдет по-другому, — заметил Фрэнсис.

— Именно, — согласился Уилл. — Но в моем возрасте уже привыкаешь к ошибкам и неудачам.

— Значит, и вы грешили, — резюмировал Фрэнсис. Уилл рассмеялся и признался, что, надеется, Господь его простит.

Мальчик, насупясь, рассматривал Левиафана и шевелил губами. Уилл решил, что парень, должно быть, высчитывает правильную траекторию броска. Наконец Фрэнсис обернулся к нему и сказал:

— Спасибо, что ответили на мой вопрос.

— Мне это удалось? — уточнил преподобный, надеясь, что сумел просочиться меж верой и разумом, не причинив себе вреда.

— Пока не знаю. Я подумаю об этом.

— Что ж, справедливо, — согласился Уилл. Его так и подмывало попросить Фрэнсиса не рассказывать маме об этом разговоре: как-то она отнесется к тому, что ее сыну растолковали догмат греха? Уж он-то знал, как темнеют от гнева ее серые глаза!

Они посмотрели друг на друга, и каждый подумал, что преподобный сделал что мог, учитывая далеко не самые благоприятные обстоятельства. Фрэнсис протянул Уиллу руку, тот ее пожал, и они, точно два друга, пошли

бок о бок по Высокой. У луга мальчик остановился, похлопал себя по карманам. Должно быть, выронил что-то на солончаках, решил Уилл. Но Фрэнсис выудил из кармана сперва синюю костяную пуговицу, потом черное перо, свернутое кольцом и перевязанное ниткой, нахмурился, погладил его стержень и со вздохом засунул сокровища обратно в карман.

— Нет, — произнес он, — сегодня, к сожалению, мне нечего вам дать.

После чего он бросил на преподобного извиняющийся взгляд и помахал ему на прощанье.

3

С тех пор как у них с Мартой завязалась дружба, выстраиваемая терпеливо и аккуратно, точно карточный домик, Джоанна Рэнсом поменяла место в классе и теперь сидела под самым носом у мистера Каффина. Джоанна росла умной девочкой, то и дело совершала набеги на отцовскую библиотеку, стараясь выбирать книги, которые стояли в глубине, подальше от детей. Интересы ее менялись часто: она то зачитывалась Юлианой из Нориджа,^[31] то «Золотой ветвью»,^[32] могла на одном дыхании рассказать о мученичестве Кранмера^[33] и тут же, едва переведя дух, — о Крымской войне. Но до знакомства с Мартой она читала бессистемно — скорее, чтобы подразнить старших, нежели с какой-то определенной целью, сейчас же, когда она могла перечислить женщин-хирургов, социалисток, сатириков и актрис, инженеров и археологов, которые, похоже, встречались где угодно, но только не в Эссексе, девочка поставила себе задачу стать одной из них. «Я выучу греческий и латынь, — думала Джоанна, морщась при воспоминании о том, как считанные недели назад произносила заклятья у остова Левиафана, — я буду заниматься тригонометрией, механикой и химией». Мистер Каффин уж и не знал, что еще задать ей на выходные, и Стелла замечала с опаской: «Как бы тебе не пришлось носить очки», словно не было страшнее кары, чем спрятать за очками такие красивые фиалковые глаза.

В ту пору Джоанне и в голову не приходило стесняться дружбы с малограмотной дочкой рыбака. Однако Наоми Бэнкс чувствовала, что Джоанна отдаляется от нее, и грустила. Она слышала о Марте, даже как-то видела ее и возненавидела всем сердцем: какое право имеет эта старуха, которой все двадцать пять, отнимать у нее Джо? Наоми так хотелось показать подруге рисунки змея, признаться, что не может заснуть, рассказать о том, что случилось в «Белом зайце», спросить, как ей быть —

злиться ли, стыдиться? Но теперь это было невозможно: подруга смотрела на нее с жалостью, а это хуже безразличия.

В первую пятницу мая Наоми пришла в школу рано. Ученицам обещали, что утром их навестит миссис Кора Сиборн, знатная лондонская дама, которая собирает ископаемые и, как выразился мистер Каффин, «прочие достойные внимания образцы». Джоанна купалась в лучах чужой славы: еще бы, ведь она уже встречалась с миссис Сиборн («Мы с ней отлично знакомы, — рассказывала девочка, — она подарила мне этот шарф. Нет, она не красавица, но это и неважно. Она очень умна, и у нее платье в павлинах, она даже дала мне его померить...») и теперь рассчитывала, что ее акции среди одноклассниц повысятся. Перед Корой никто не устоит! Она уже видела, как некоторые пытались.

Заметив, что место рядом с Джоанной свободно, Наоми сунула ей клочок бумаги с заклинанием, которое они придумали несколько недель назад. Но мысли Джоанны были заняты алгеброй, она не поняла, что значат эти смазанные закорючки, и скомкала бумажку. Тут явилась миссис Сиборн собственной персоной. К общему разочарованию, выглядела она довольно неряшливо: в твидовом пальто, по виду явно мужском, волосы чересчур сильно зачесаны назад. На плече у нее висела большая кожаная сумка, под мышкой она сжимала папку, из которой выпал рисунок чего-то похожего на мокрицу. Единственное, что выдавало в ней знатную даму, — бриллиант на левой руке, яркий и крупный, точно фальшивый, и тонкий черный шарф с вышитыми птицами. На мистера Каффина гостя произвела огромное впечатление.

— Доброе утро, миссис Сиборн, — сказал он, — дети, поздоровайтесь с миссис Сиборн.

— Доброе утро, миссис Сиборн, — произнесли ученицы, с подозрением разглядывая Кору.

Та смотрела на них, понятия не имея, как вести себя с детьми, и поэтому немного волнуясь. Фрэнсис так часто ставил ее в тупик, что дети казались Коре милыми, но уж очень капризными существами, точь-в-точь как кошки — кто знает, чего от них ждать? Но тут хотя бы сидела Джоанна, которую Кора хорошо знала, с мамиными глазами и папиными губами, а рядом с ней — рыжая девочка, вся в конопушках. Обе сложили руки на парте и выжидающе глядели на нее.

— Мне очень приятно, что вы меня позвали. Давайте я сначала расскажу вам историю, потому что все самое интересное начиналось давным-давно.

— Можно подумать, мы грудные младенцы, — пробормотала Наоми, и

Джоанна тут же пребольно лягнула ее под партой. Ладно, решила Наоми, все равно рассказ миссис Сиборн о женщине, которая раскопала в грязи морского дракона, и о том, что вся земля — огромное кладбище и у нас под ногами лежат боги и чудовища, дожидаясь, пока стихия или молоток и кисточка не вызовут их к новой жизни, куда интереснее обычных уроков. Стоит лишь присмотреться, говорила миссис Сиборн, и вы увидите отпечатки листьев папоротников в пластах горных пород, и следы ящериц, бегавших на задних лапах, и крошечные, еле различимые зубки, и огромные клыки, которые когда-то носили на шее как оберег от чумы.

Кора доставала из сумки аммониты и диабазы, передавала детям, и те пускали их по рукам.

— Им сотни тысяч лет, — вещала Кора, — а может, и миллионы!

Тут мистер Каффин, первые двадцать лет проведенный в методистской церкви в Уэльсе, кашлянул и процитировал с легкой досадой:

— Помни Создателя твоего в дни юности твоей...^[34] А теперь, дети, задавайте миссис Сиборн вопросы.

Как птицы очутились в пластах горных пород, спрашивали девочки, и куда девались их яйца? А человеческие останки находили или только ящериц да рыб? Как плоть и кости превращаются в камень? Неужели мы тоже однажды превратимся в камень? А на школьном дворе под землей тоже лежат ископаемые? А если мы возьмем лопаты и пойдем туда копать, мы их найдем? А какое у вас любимое ископаемое, где вы его нашли? А что вы сейчас ищете, а вы когда-нибудь попадали себе по пальцу молотком, а за границей вы были?

Потом, понизив голос, спрашивали про Блэкуотер: вы же слышали, да? Про мужчину, который утонул под Новый год, про дохлую скотину и ночные видения? Про Крэкнелла, который сошел с ума и ночи напролет просиживает у Левиафана, высматривая чудовище? *Неужели оно правда существует и нападет на деревню?* Тут мистер Каффин решил, что разговор принимает нежелательный оборот, и попытался повернуть его в другое русло:

— Ну хватит, девочки, не докучайте миссис Сиборн этой чепухой. — И стер с доски нарисованный аммонит.

Накануне вечером на прогулке Уильям Рэнсом напутствовал Кору — пастырским тоном, которым время от времени разговаривал с ней, когда хотел показать, кто тут главный: не надо поощрять разговоры о напасти. Хватит с меня Крэкнелла, пояснил он, и Бэнкса, который утверждает, что селедки не осталось и он обречен голодать. Не надо забивать детские головы этой ерундой, ни к чему хорошему это не приведет. Тогда Кора

подумала: «Вы правы, Уилл, вы совершенно правы», но сейчас, когда на нее смотрела дюжина пар глаз — кто вопросительно, а кто и с испугом, — Кора почувствовала раздражение. «С какой стати мужчины вечно диктуют нам, что говорить?»

— Вполне вероятно, что некоторые животные вроде тех, чьи останки мы находим в камнях, дожили до наших дней, — осторожно начала она. — Ведь в мире существует множество уголков, куда не ступала нога человека, и таких глубоких водоемов, что никто еще ни разу не достал до дна. Кто знает, что там таится? В Шотландии в озере Лох-Несс из века в век уже более тысячи лет видят какое-то животное. Говорят, однажды оно убило купавшегося в озере мужчину, но святой Колумба^[35] прогнал чудовище, и все же оно иногда показывается на поверхности...

Мистер Каффин кашлянул и, закатив глаза, окинул взглядом младших учениц — девчушка в желтом платье испуганно кривила губы, — давая гостье понять, что лучше бы вернуться к костям и камням, которые она принесла с собой.

— Нет ничего страшнее невежества, — добавила Кора. — Узнайте побольше о том, что вас пугает, — и вы поймете, что нечего бояться. Иногда и лежащая на полу комнаты одежда кажется чудовищем, которое подкрадывается к нам, но стоит отдернуть занавеску, и мы видим: ба, да это же платье, которое мы сняли вчера! Мне неизвестно, живет ли в Блэкуотере неведомое животное, но одно я знаю точно: если оно вылезет на берег, перед нами окажется не чудовище, а существо из плоти и крови, как и мы с вами.

Девочка в желтом платье, которой страшные истории явно понравились куда больше наставлений, зевнула, прикрыв рот ладошкой. Кора посмотрела на часы:

— Что-то я вас совсем заговорила, но вы молодцы, так внимательно и терпеливо слушали. Кажется, у нас остался час — ведь так, мистер Каффин? — и больше всего мне бы хотелось посмотреть, как вы рисуете. Вот эти ваши рисунки, — она показала на стену с бабочками, — мне очень понравились. Подходите ко мне, берите, что бы вам хотелось нарисовать, а когда закончите, я выберу лучший рисунок, а тот, кто его нарисует, получит приз.

При упоминании о призе класс оживленно загомонил.

— По одному, пожалуйста, — распорядился мистер Каффин, наблюдая, как Кора раздает аммониты, диабазы и мягкие куски глины с вкраплениями острых зубов, после чего принес кружки с водой, кисточки и засохшие краски.

Джоанна Рэнсом по-прежнему сидела за партой.

— А мы почему не идем? — спросила Наоми. У нее руки чесались заполучить какой-нибудь красивый камень и доказать миссис Сиборн, что тоже достойна ее внимания.

— Потому что она моя подруга, не могу же я говорить с ней при малявках, — отрезала Джоанна, впрочем ничуть не желая обидеть Наоми, но в присутствии Кору старая подружка словно съежилась, казалась ей убогой и глупой, в рваной одежде, насквозь провонявшей рыбой, с дурацкими хвостиками, поскольку ее отец так и не научился заплетать косички. «Как я могу стать похожей на Кору, — думала Джоанна, — если я разговариваю в точности как Наоми, сижу, как она, и так же глупа, как она. Я даже не знала, что Луна вращается вокруг Земли!»

Наоми побледнела под веснушками. Она всегда остро чувствовала пренебрежение, а сейчас острее, чем когда-либо. Не успела она слова сказать, как Джоанна подскочила к Коре, чмокнула ее в щеку и проговорила: «Вы отлично справились». *Можно подумать, она уже взрослая, как будто и не вытирает нос рукавом, пока никто не видит!* Наоми не завтракала, и комната закружилась у нее перед глазами. Она попыталась встать, но тут подошел мистер Каффин и поставил на парту перед ней чернильницу с черными чернилами, положил пачку бумаги и какую-то штуку, похожую на садовую улитку из серого камня.

— Наоми Бэнкс, сядь прямо, — велел учитель. Он отнюдь не был строг, но досадовал на себя за то, что пригласил эту миссис Сиборн с ее рассказами о чудовищах. Затея оказалась вовсе не такой удачной, как он рассчитывал. — Ты рисуешь лучше многих здесь. Посмотрим, что у тебя получится.

«Что у меня получится...» — думала Наоми, взвешивая улитку сперва на правой, потом на левой руке; с каким удовольствием она швырнула бы этот камень прямо Коре в лоб! Да кто она вообще такая? Пока она не появилась, у них с Джо все было так хорошо — они придумывали заклятья, жгли костры. «Да она ведьма, — думала Наоми, — и я бы совсем не удивилась: вы только поглядите на ее пальто! А этот змей, наверное, ее помощник, и она притащила его с собой».

Эта злая мысль рассмешила девочку, и, когда Джоанна вернулась за парту, ее подружка, хихикая, возила кисточкой в чернильнице. «А на ночь, должно быть, привязывает его к своей кровати. И еще катается на нем». Она все болтала и болтала кисточкой в чернильнице, так что на лежавшем перед ней белом листе бумаги появились кляксы. «Да она, чего доброго, по ночам его кормит грудью!» — думала Наоми и покатывалась со смеху, сама

уже не понимая, смеется ли потому, что думает смешное, — уж очень громко и неестественно она хохотала и не могла остановиться, даже заметив озадаченный и сердитый взгляд Джоанны. «Он, должно быть, здесь, у порога, за дверью, она его наверняка подзывает свистом, как фермер собак». Наоми опустила взгляд на собственные руки с белыми перепоночками между пальцами, и ей померещилось, будто они блестят от морской воды и воняют рыбьими кишками. Она затряслась от смеха, в голосе зазвенели высокие нотки, послышался нескрываемый страх. Она оглянулась сперва через левое, потом через правое плечо, но дверь класса оказалась закрыта. Кисточка описывала в чернильнице лихорадочные круги, словно кто-то другой водил рукой Наоми, парта подпрыгивала, банка опрокинулась, и вода разлилась на усеянную кляксами бумагу. «Смотрите, он тут», — думала Наоми, хохоча, и все оглядывалась через плечо (когда змей войдет, она его первой увидит!).

— СМОТРИТЕ! — выкрикнула она, обращаясь то ли к Джоанне, то ли к мистеру Каффину, который снова подошел к ней, стал хватать ее за руки и что-то говорил, но его слова утопали в ее пронзительном хохоте. — РАЗВЕ ВЫ НЕ ВИДИТЕ?

Чернила расплывались от воды, и на бумаге свернулась кольцами змея с распростертыми черными крыльями и тонкой шкуркой, под которой билось сердце.

— Уже скоро, совсем скоро... — Наоми снова оглянулась через плечо, потом еще и еще, уверенная, что змей на пороге, она его чувала, ошибки быть не могло: этот запах она узнала бы где угодно... Да и другие девочки, похоже, тоже заметили змея: Хэрриет, та, в желтом платье, хохотала и так сильно поворачивала голову, что было странно, как она не свернула себе шею, и близнецы, которые жили через дорогу от Наоми и ни с кем никогда толком не разговаривали, даже друг с другом, крутили головой влево-вправо, влево-вправо и смеялись.

Кора с ужасом наблюдала, как от парты рыжей девчонки смех распространяется по классу, миновав Джоанну, словно поток воды, огибающий камень. Казалось, ученицы слышали презанятную шутку, которую взрослые пропустили мимо ушей, — одни девочки смеялись, зажав рот рукой, другие хохотали, запрокидывая голову, и хлопали ладошками по парте, точно старухи, которым рассказали сальный анекдот. Наоми, с которой все это началось, выдохлась и теперь лишь хихикала, положив руки в лужицу воды и чернил на бумаге, то и дело озиралась через плечо и принималась хихикать громче. У малышки в желтом платье, сидевшей у самой двери, от смеха хлынули слезы; она не оглядывалась

через плечо, а развернула стул, села лицом к двери, схватившись за щеки, и бубнила, судорожно вздыхая: «Кто не спрятался, я не виновата, кто не спрятался, я не виновата».

Мистер Каффин, вне себя от испуга и злости, теребил галстук, кричал: «Хватит! Прекратите!» — и в ярости оглядывался на бледную как полотно гостью, которая сжимала руку Джоанны. Наоми скрючилась и так расхохоталась, что стул покачнулся, она упала на пол, и крик ее перекрыл глупый гомон. Смех тут же начал угасать. Наоми схватилась за шею.

— Больно, — сказала она, — почему у меня болит шея? Что вы сделали?

Моргая и покачивая головой, она обвела удивленным взглядом притихших одноклассниц. Малышка Хэрриет неудержимо икала, завернув край желтого подола; одна или две старшие ученицы подошли утешить плакавшую у перевернутого стула девочку, которая держалась за опухшее запястье.

— Джоанна? — Наоми посмотрела на подругу. — Что случилось? Неужели это я? Что я опять натворила?

*Кора Сиборн
Дом 2 на Лугу
Олдуинтер
15 мая*

Люк,

Вы наверняка купаетесь в лучах славы — а может, копаетесь в чьей-нибудь грудной клетке, сунув туда руки по локоть, но Вы нужны нам.

Здесь творится что-то странное. Сегодня детей, словно пожар, охватило какое-то помешательство — не болезнь в обычном смысле, скорее помрачение рассудка; началось с одной девочки и подкосило остальных, как кости домино. К вечеру все прошло, но в чем же причина — может, это я виновата?

Вы в этом разбираетесь: Вы вводили меня в гипноз, хотя я не верила, что у Вас получится, и внушили мне видение, словно я иду по вересковой пустоши к дому отца, хотя на самом деле я лежала на кушетке, — быть может, Вы приедете к нам?

Я не боюсь. Я уже ничего не боюсь: я ко всему давно

привыкла. Но здесь что-то происходит, что-то очень странное и нехорошее...

Вдобавок Вам будет нелишне познакомиться с Рэнсомами, и особенно с Уильямом. Я рассказывала им о моем Чертенке.

Захватите с собой книжки для Фрэнсиса? Пожалуйста, про убийства, и чем кровавее, тем лучше.

С любовью,

Кора.

*Д-р Люк Гаррет
Пентонвилль-роуд
Лондон
15 мая*

Кора,

Да полно Вам. Нет тут никаких загадок.

Отравление спорыньей, только и всего. Помните? Черный грибок на колосьях ржи — у девиц начались галлюцинации — в Салеме повесили ведьм. Проверьте, не едят ли они на завтрак черный хлеб, а в пятницу я к Вам приеду.

Прикладываю записку и вырезку из газеты от Спенсера для Марты, что-то про жилье; он меня этим уже так утомил, что я не слушаю.

Люк.

*Д-р Джордж Спенсер
Квинс-гейт-террас, 10
15 мая*

Дорогая Марта,

Надеюсь, у Вас все хорошо. Как Вам весенний Эссекс? Соскучились ли Вы по цивилизации? Я вспоминал о Вас, увидев садовников в парке Виктории: они ухаживали за клумбами. Едва ли в Олдуинтере

высаживают тюльпаны в виде циферблата.

Я все думаю о нашем разговоре. Я рад, что Вы меня встряхнули, пробудили от сытого безразличия, заставили поинтересоваться тем, как живут другие; мне стыдно лишь, что для этого Вам пришлось приложить усилия. Я прочел все, что Вы мне советовали, и даже больше. На той неделе ходил в Поплар и собственными глазами видел состояние тамошних домов, и как там люди живут, и как одно связано с другим.

Я написал Чарльзу Эмброузу, надеюсь, он ответит. Он влиятельнее меня и лучше понимает, как работает правительство, так что, думаю, будет нам полезным. Надеюсь, мне удастся уговорить его сходить вдвоем в Поплар или Лаймхаус и показать ему то, что мы с Вами видели. Быть может, Вы надумаете к нам присоединиться?

Прилагаю вырезку из «Таймс», надеюсь, она Вас порадует. Похоже, закон о жилье для рабочего класса наконец-то начинает действовать. Будущее уже близко!

С наилучшими пожеланиями,

Джордж Спенсер.

4

Люк приехал в Олдуинтер в зените славы и в новом сером пальто. И хотя успех не избавил его от невзгод, все же нельзя было отрицать, что подобное доказательство мастерства и отваги сослужило ему добрую службу. Сердце Эдварда Бертона в Бетнал-Грин с каждым часом билось сильнее; он полюбил рисовать купол собора Святого Павла и к середине лета думал вернуться на работу. Люку казалось, будто сердце Бертона бьется в его груди, и оттого он чувствовал себя вдвое сильнее; и пусть Гаррет знал, что гордыня предшествует падению, но ему было до того непривычно и приятно сознавать, что теперь хотя бы есть откуда падать, что он охотно шел на этот риск.

В поезде из Лондона и в кэбе из Колчестера он думал о Коре,

разглаживая на коленке ее письмо. «Вы нужны нам», — писала она, и Люк, нахмурясь, гадал, кому это «нам». Уж не этому ли ее священнику, о котором она то и дело упоминала в письмах и который сманил ее из Лондона в эссекскую грязь? Ревность, которую Люк испытал, когда Кора склонилась над подушкой умиравшего мужа и поцеловала его в сальный лоб, была ничто в сравнении с тем, что он чувствовал, видя это имя, написанное ее рукой. Сперва она писала «мистер Рэнсом» — отстраненно, как о чужом; потом «почтенный викарий» — с ласковой насмешкой, от которой Люку было не по себе; и, наконец, без предупреждения, просто «Уилл» (даже не «Уильям», что само по себе ужасно!). Люк пытался отыскать в письмах Кору доказательство того, что она питает к преподобному чувства сильнее дружеских (пусть с неохотой, но все же признавая за нею право дружить с кем-то, кроме него самого), но ничего не обнаружил. И все равно, глядя на проносившиеся за окном поезда поля и собственное темное отражение поверх них, думал: «Только бы он оказался толстым, старым, пахнущим пылью и церковными книгами!»

В сером доме на лугу Кора ждала у двери. С того самого утра на уроке у мистера Каффина она спала беспокойно и винила во всем себя. Ведь Уилл ее предупреждал: не стоит облекать в плоть и кровь здешние страхи — и оказался прав. Дети — невероятные фантазеры, а она еще и подпитала их выдумки, вот девочки и увидели этого змея так же ясно, как коров, пасущихся под Дубом изменника. А как они смеялись, как вертели головами! Это было ужасно, и Кора надеялась, что Люк сумеет ее успокоить и все ей объяснит.

Джоанна после случившегося замкнулась в себе и хотя по-прежнему приходила в школу пораньше с книгами под мышкой, но с Наоми Бэнкс больше не общалась и каждый вечер делала уроки на кухне, где постоянно крутился кто-то из домашних. Хуже было то, что с того самого дня девочка ни разу не рассмеялась, словно страшилась, что, начав, не сумеет остановиться. Сколько бы братья ее ни дразнили, сколько бы ни дурачились, она ни разу не улыбнулась. Кора боялась, что новые друзья обвинят ее в том, что случилось, и в том, что Джоанна впала в уныние, но ни Уилл, ни Стелла не видели, как все произошло, а когда им обо всем рассказали, решили, что девчонки — глупые создания, им лишь бы хихикать по пустякам.

Но самое печальное, что Кора утратила прежний живой интерес к Блэкуотеру. Она не думала — о нет! — что это Божья кара, но решила, что, пожалуй, у каждого в глубине души есть тайны, которых лучше не доискиваться. Но вот наконец на лугу показался Люк в обнимку с

саквояжем и, завидев ее на пороге, припустил к ней едва не бегом.

* * *

Несколькими днями позже, но на той же неделе, Джоанна, сложив руки на коленях, недоверчиво смотрела на черноволосого доктора.

— Не бойся, — бодро говорил он, но его напускное оживление не обмануло девочку. — Делай, что тебе говорят, и все будет хорошо. Расскажите ей, Кора.

Кора, в шарфе с вышитыми птицами, сказала:

— Да-да, он как-то раз проделал со мной такое, и в ту ночь я впервые за многие годы отлично спала.

Они сидели, не зажигая свечей, в самой просторной комнате серого Кориного дома. Шел обложной дождь, и не приходилось рассчитывать, что вскоре распогодится, как после грозы. Джоанна зябла. На большом диване у окна между Корой и Мартой сидела ее мама. Женщины держались за руки, словно на спиритическом сеансе, а не на процедуре, в которой (по утверждению Люка) было не больше тайны, чем в удалении больного зуба.

Из собравшихся только Марта не одобряла мысль подвергнуть девочку гипнозу, чтобы узнать, что же все-таки вызвало «смеховой припадок», как она его называла.

— Для вашего Чертенка мы всего лишь куски мяса, а вы хотите доверить ему сознание и память ребенка? — Марта прогрызла яблоко до зернышек и добавила: — Гипноз! Это всё его выдумки. Даже слова такого нет.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что о гипнозе заговорили только после того, как уладили некоторые вопросы. Мистер Каффин, опасаясь потерять место, за несколько дней подготовил отчет, где перечислил всех девочек, которых затронуло случившееся, их возраст, адрес, род занятий отцов и средний балл успеваемости, а к отчету приложил схему, на которой указал, кто из учениц за какой партией сидел. Он горько жалел, что Кора поселилась в деревне, но, разумеется, ни за что бы в этом не признался. Малышка Хэрриет согласилась ответить на вопросы, сидя у мамы на коленях, и так подробно и красочно описала свернувшегося кольцами змея, который расправил крылья, точно раскрыл зонтик, что общее мнение о ней было таково: милое дитя, но ужасная врунья. Подслушивавший под дверью Фрэнсис не мог понять: если про

девочку говорят, что она «ужасная врунья», значит ли это, что она совсем не умеет врать или, наоборот, врет очень уж искусно? Наоми Бэнкс, с которой все и началось, наотрез отказалась что-либо объяснять: понятия не имею, о чем я думала, оставьте меня в покое. Родителям польстило, что их дочерей осмотрел столичный доктор и нашел, что все девочки совершенно здоровы (за исключением шестерых, у которых обнаружил стригущий лишай и тут же его обработал — впрочем, едва ли стригущий лишай мог послужить причиной истерики).

Люк, который за ленчем познакомился со Стеллой Рэнсом — и отметил яркий румянец на ее щеках, — сказал:

— У страха должна быть причина, что-то, что напугало детей. Вопрос лишь в том, как развеять страхи, если девочки не могут или не хотят о них рассказать.

Стелла потеряла голубой браслет на запястье. Этот хмурый лондонский доктор ей уже нравился. «Жаль только, что он так дурен собой», — подумала она.

— Кора говорила, вы практикуете гипноз, — я правильно произнесла это слово? — и что это может помочь Джоанне. Ей наверняка понравится: она любит все новое. Она непременно опишет свой опыт в дневнике.

Люка так и подмывало взять Стеллу за ручку и сказать: о да, конечно, гипноз обязательно поможет, ваша дочь спокойно вспомнит, что видела и слышала в тот день, если, конечно, она что-то видела и слышала, а когда очнется, непременно обретет прежнее доброе расположение духа. Но под доверчивым взглядом ее голубых глаз привычная самоуверенность изменила Люку, и он ответил:

— Повезет — поможет, не повезет — нет, но точно не навредит. — И добавил, почувствовав укол совести: — Мне еще никогда не доводилось применять гипноз к таким юным особам. Быть может, он на нее не подействует и она посмеется надо мной.

— Ах, если бы так! — вздохнула Стелла. — Если б она снова засмеялась!

— Мне под гипнозом казалось, будто меня вычистили изнутри, точно дымоход. — Кора налила себе чаю. — Мне было покойно, я почти не говорила. Бояться нечего, тут нет ничего странного, это всего лишь работа ума. — Чай пролился на блюдце; свет на стене погас. — Мне даже кажется, что когда Джоанна будет наших с вами лет, гипноз настолько войдет в обиход, что возле каждой аптеки и обувной лавки будет по приемной гипнотизера. (Невидимый Уилл неодобрительно взирал на эту сцену из-за ее плеча, но Кора решила не обращать на него внимания.)

— С цветами на подоконниках, — подхватила Стелла, — и секретаршами в белых блузках. Ни у кого больше не будет никаких секретов... вам не жарко? Может, откроем окно? Как бы я хотела снова видеть ее веселой!

Тут Стелла подумала: интересно, что скажет Уилл, который еще не успел познакомиться с доктором и не выказал ни малейшего желания его видеть. Пожалуй, муж был бы против того, чтобы над их дочерью проводили процедуру, название которой сама она едва выговаривала. Но, с другой стороны, Кора не стала бы делать ничего такого, чего Уилл не одобрил бы. Как все-таки хорошо, подумала Стелла, которая ни разу в жизни не испытывала ревности и даже не представляла, каково это, что у мужа есть такой верный и любящий друг.

— Да откройте же окно пошире, — попросила она. — Меня последнее время то и дело бросает в жар.

Кора обернулась к Люку, который галантно взял Стеллу за руку, надеясь, что она не заметит, как он щупает ее пульс. Увы, тот оказался учащенным и неровным, как и предполагал Люк.

— Что ж, давайте позовем Джо и узнаем, не против ли она, — предложила Кора.

Девочка охотно согласилась: «Я буду участвовать в эксперименте?» — и сейчас лежала на самой удобной кушетке, смотрела в потолок с облупившейся штукатуркой, с трудом удерживаясь от улыбки, поскольку слышала, как Кора назвала доктора «чертенком», и думала: до чего точное прозвище — ему бы вилы вместо саквояжа!

Доктор Гаррет придвинул к кушетке стул, наклонился к девочке, так что она почувствовала слабый, похожий на лимонный запах, исходивший от его рубашки, и сказал:

— Сейчас я тебе все объясню. Ты не заснешь, я не подчиню тебя своей воле, но тебе станет спокойнее и легче прежнего. Я буду задавать тебе вопросы о том, как ты тогда себя чувствовала, и о том дне. Быть может, нам удастся что-то узнать — с чего все началось и каково тебе пришлось.

— Поняла, — ответила Джоанна, подумав: «Едва ли мы что-то узнаем о том дне, потому что там и знать-то нечего, иначе я бы давно все рассказала».

Она оглянулась на мать, и Стелла послала ей воздушный поцелуй.

— Видишь ту черточку на стене, вон там, над камином, где облупилась краска? Смотри на нее не отрываясь, как бы ни тяжелели веки, как бы ни болели глаза...

Он бормотал ей и другие команды, словно издалека: урони руки, пусть

голова склонится на грудь, дыхание замедлится, мысли улетят далеко... Глаза слипались, Джоанне с трудом удавалось смотреть на черточку на стене, и когда Люк наконец разрешил, она вздохнула с облегчением, закрыла глаза и едва не упала с кушетки. Джоанна погрузилась в полудрему и сама не помнила, что говорила (ей об этом рассказали позже: что-то про Наоми Бэнкс и Левиафана, но, судя по всему, эти воспоминания ее совершенно не пугали). Она запомнила лишь негромкий стук, затем шуршание ковра, когда кто-то открыл дверь, и гневный голос отца. Никогда прежде Джоанна не слышала, чтобы он так кричал.

Уилл увидел, что дочь лежит на черной кушетке, руки свисают на пол, рот приоткрыт, а над ней наклонился какой-то человек и что-то ей шепчет. Преподобный навещал прихожан, вернулся, кликнул Стеллу и обнаружил, что дома никого нет. В кабинете он нашел записку, где было сказано, что жена с дочерью ушли к Коре, а он, если хочет, может к ним присоединиться. Шагая по лугу, Уилл представлял себе две головки, золотоволосую и лохматую, в залитом светом окне: это Стелла и Кора в нетерпении высматривают его, дожидаясь, когда же он придет. Он прибавил ходу.

Разумеется, Уилл знал, что должен приехать доктор Гаррет, и досадовал на незваного гостя. Деревня и так натерпелась, думал преподобный, год выдался трудный — то змей, то столичные жители, — можно уже наконец людям пожить спокойно? Но потом вспомнил, как тепло Кора отзывалась о своем друге, с какой гордостью рассказывала об операции, которая спасла жизнь человека, и подумал, что, быть может, этот хирург окажется славным малым. Наверное, он невысокий, худой и нервный, думал Уилл, проходя мимо Дуба изменника, с вислыми унылыми усами, брезгливый и привередливый в еде и питье. Конечно, деревенский воздух пойдет бедняге на пользу, с его-то здоровьем.

Марта встретила Уилла как-то странно, отчего-то старалась не смотреть ему в глаза, и это было так не похоже на ее обычную прямооту, что преподобный сразу же насторожился, еще до того, как распахнул дверь и увидел, как чернобровый коротышка склонился над его дочерью и что-то шепчет ей на ухо. Девочка лежала спокойно, словно оглушенная ударом, запрокинув голову, и безжизненно смотрела в пространство из-под полуопущенных век. На миг Уилл окаменел от изумления и страха, но, заметив, что Кора со Стеллой спокойно наблюдают за этой сценой с дивана, точно соучастницы, впал в такую ярость, какую в нем не удалось разбудить ни Крэкнеллу, ни змею, ни одному из загадочных событий последних месяцев. Он бы не сумел объяснить, о чем именно подумал, глядя на то, что

творится в тесно обставленной комнате, где ветер раздувал занавески, лишь помнил, что его вдруг охватило отвращение: его дочь бормотала что-то — кажется, по-латыни? — лежа на этой кушетке, точно рыба на прилавке! Он стремительно пересек комнату, схватил склонившегося над дочерью коротышку за воротник и попытался приподнять со стула. Но если священник был силен, то хирург оказался тяжел; завязалась борьба. Кора было рассмеялась, но тут же испугалась, что Уилл в порыве праведного гнева искалечит ее друга. Она вспомнила, как билась в грязи овца, как надувались жилы на руках Уилла, и решительно вмешалась:

— Мистер Рэнсом, Уилл, это же доктор Гаррет, он пытается нам помочь!

Сонная Джоанна испуганно встrepенулась, скатилась с кушетки на пол, ударилась головой о жесткое сиденье стула и, уставив взгляд в потолок, пробормотала: «Он уже здесь». Потом потерла глаза костяшками пальцев и села. Стелла, которая почти дремала, несмотря на то что из открытого окна тянуло холодом, с удивлением посмотрела на мужа: «Дорогой, только не испачкай Коре ковер!» — и подошла к дочери:

— Как ты себя чувствуешь? Тебе плохо? Голова не болит?

— Оказывается, это так просто. — Джоанна потерла лоб, на котором вспухала шишка, перевела взгляд с доктора на отца, заметила, как те стоят, напряжись, в противоположных концах комнаты, и удивленно спросила: — А что случилось? Я что-то не то сделала?

— Ты — нет, — ответил Уилл, и, несмотря на то что преподобный сверлил взглядом Люка, Кора прекрасно понимала, на кого тот злится на самом деле. У нее перехватило горло, однако она быстро оправилась, встала между мужчинами и вежливо произнесла:

— Люк, это Уильям Рэнсом, мой друг.

«Мой друг, — подумал Люк. — Что-то я не слышал, чтобы она с такой же гордостью говорила “мой муж” или “мой сын”».

— Уилл, это доктор Люк Гаррет. Пожмите же друг другу руки! Мы хотели помочь Джоанне, а то она после того происшествия в школе сама не своя.

— Помочь? Чем? Что вы тут делали? — допытывался Уилл, не обращая внимания на доктора, который с сардонической усмешкой, как показалось преподобному, протянул ему руку. — Она ударилась, ей больно — посмотрите! Ваше счастье, что она сознание не потеряла!

— Гипноз! — с гордостью пояснила Джоанна. (Она участвовала в эксперименте! Она непременно напишет об этом.)

— Мы ему после расскажем. — Стелла нашаривала пальто. (Как они

кричат! Даже голова разболелась.)

— Рад с вами познакомиться, ваше преподобие. — Люк засунул руки в карманы.

Уилл отвернулся от Кору.

— Оденься, Стелла, ты вся дрожишь, — кому только в голову пришло открыть окно? Да, Джо, ты потом мне все расскажешь. До свидания, доктор Гаррет. Может, еще встретимся. — И, словно исчерпав запасы вежливости, Уилл в сопровождении жены и дочери вышел из комнаты, даже не посмотрев на Кору, которая в тот миг была бы рада не то что улыбке, а и суровому взгляду.

— Я участвовала в эксперименте! — раздался за дверью голос Джоанны. — А теперь я хочу есть.

— Душа-человек! — съязвил Люк.

«Вот тебе и толстяк викарий в гамашах, — подумал он. — Он — вылитый фермер, который философствует не по чину, и он вовсе не лысый, а Кора Сиборн в его присутствии — подумать только! — вела себя как пристыженная девчонка».

Марта поднялась с дивана, с которого молча наблюдала всю эту сцену, и, бросив на доктора презрительный взгляд, подошла и встала рядом с подругой.

— А я говорила: не надо уезжать из Лондона, добром это не кончится, — произнесла она.

Кора на миг прижалась щекой к Мартиному плечу и ответила:

— Я тоже хочу есть. И вина.

5

Эдвард Бертон сел на узкой постели и открыл на коленях бумажный пакет. Его гостя, сидевшая в кресле с высокой спинкой под рисунком собора Святого Павла, который сделал сам Эдвард, полила жареный картофель уксусом, и от пряного духа у больного впервые за несколько недель проснулся аппетит. Белокурая коса гостыи была уложена короной, и Эдвард, отламывая кусочек кляра от своей порции рыбы, подумал, что она похожа на ангела — если бы ангел проголодался и измазал подбородок маслом, а рукав зеленым горошком.

Марта смотрела, как неторопливо и спокойно он ест, и ее переполняла гордость, точь-в-точь как Люка, когда тот зашил Бертону рану. Сегодня она пришла к Эдварду в третий раз. На его щеки уже вернулся румянец. Их познакомила Морин Фрай, которая навещала Бертон не только чтобы

снять швы, но и потому что приходилась родственницей Элизабет Фрай^[36] и в полной мере унаследовала фамильное чувство социальной ответственности. Морин была уверена, что обязанности медсестры простираются гораздо дальше перевязок и мытья залитых кровью полов. С Мартой их свел случай — собрание женщин, занимавшихся делами тред-юнионов, и за чашкой крепкого чая выяснилось, что у них есть общие знакомые. «Доктор Люк Гаррет, кто бы мог подумать!» — воскликнула Марта и покачала головой. Когда Марта впервые вместе с сестрой Фрай пришла в дом в Бетнал-Грин, где жили Эдвард с матерью, она обнаружила, что квартира у них тесная, с плохой канализацией, из-за чего в комнатах воняло аммиаком, но довольно уютная. Правда, свет с улицы едва пробивался из-за натянутых между домами веревок с постиранными простынями, похожими на знамена наступавшей армии, но зато на столике в вымытой банке из-под робертсоновского джема всегда стояли цветы. Миссис Бертон зарабатывала на жизнь стиркой и плела коврики из обрезков ткани, и от этих ковриков, устилавших пол в трех комнатных квартирах, казалась веселее. Матери и в голову не приходило, что Эдвард, быть может, так и не сумеет окончательно оправиться от болезни и вернуться в страховую компанию, где прослужил пять лет. Она стоически ухаживала за сыном.

Первый визит нельзя было назвать удовлетворительным. Эдвард был бледен и безучастен, а в миссис Бертон радость от спасения сына боролась с тревогой, оттого что он так переменялся: на операционный стол лег один человек, а сняли с него совсем другого.

— Он все время молчит, — пожаловалась она, ломая руки, и взяла у сестры Фрай платок. — Как будто прежний Нед был, да с кровью весь вышел, а на его место явился новый, и мне нужно сперва с ним познакомиться, чтобы признать своим сыном.

После визита Марта несколько дней не находила себе места: как там Бертон, хорошо ли ест, не вздумает ли на пробу отправиться погулять? — так что через неделю она снова навестила его, с пакетами рыбы и жареного картофеля, сеткой апельсинов да несколькими номерами «Стрэнда», которые Фрэнсис уже прочитал и бросил.

Эдвард не спеша ел. Марте, привыкшей к Кориной нескончаемой болтовне и внезапным вспышкам радости и печали, в его обществе было спокойно. Что бы Марта ни говорила, Эдвард неизменно наклонял голову, медленно обдумывал ее слова и порой ничего не отвечал вовсе. Иногда его пронзала острая боль там, где удалили часть ребра, ткани срастались, и казалось, будто мышцы сводит судорога. Бертон ахал, хватался за пустое

место, где когда-то была кость, и ждал, пока боль утихнет. В такие минуты Марта ничего не говорила, просто сидела рядом, а когда он поднимал голову, просила:

— Расскажите-ка мне еще раз, как построили мост Блэкфрайерс.

День выдался дождливым, вода собиралась в сточных канавах Тауэр-Хэмлетс, лилась с карнизов. Эдвард сказал:

— Он меня опять навещал, этот шотландец. Помолился со мной и оставил денег.

Речь шла о Джоне Голте, миссионерствовавшем в Бетнал-Грин; он проповедовал не только Евангелие, но и трезвость, и важность личной гигиены. Марта слышала о нем, видела его фотографии самых жутких лондонских трущоб и осуждала за религиозное чистоплюйство.

— Молился? Ну надо же. — Марта покачала головой и добавила: — Доброхотам нельзя доверять.

Ей претила мысль о том, что хорошего жилья достойны лишь праведники.

— Он ведь не только *хочет* добра, — заметил задумчиво Эдвард и, оглядев кусок картошки, отправил его в рот. — Мне кажется, он в принципе добрый человек.

— В том-то и беда! При чем тут добро? Это вопрос долга! Вы называете это добротой: принес вам денег, спросил, не сыро ли в квартире, и оставил вас на попечение Господа, каково бы оно ни было. Но ведь каждый имеет право жить достойно, это не должна быть подачка от высшего общества... Вот видите, — рассмеялась Марта, — как крепко это в нас сидит! «Высшее общество»! Да в чем оно высшее? В том, что его члены никогда не напивались до беспамятства, не творили глупостей и не ставили деньги на собак?

— Так что ж прикажете делать? — парировал Бертон со скрытой усмешкой, но Марта ее заметила. Она доела, вытерла масляный рот тыльной стороной ладони и сказала:

— Дело на мази, попомните мои слова, Эдвард Бертон. Я написала человеку, который может нам помочь, — ведь все и всегда упирается в деньги, не так ли? Деньги и власть. Бог свидетель, денег у меня нет и влияния маловато, но я сумею воспользоваться тем, что есть. — Она вспомнила о Спенсере, о том, как он чуть искоса поглядывал на нее, и немного смутилась.

— Жаль, что я ничем не могу вам помочь, — Эдвард указал на свои худые ноги, которые, казалось, похудели еще сильнее, так что теперь он не пробежал бы и десяти шагов, не задохнувшись. Лицо его на миг исказило

отчаяние. Он никогда не задумывался о том, в каких ужасных условиях живет, пока эта женщина с волосами, похожими на веревки, и отрывистой речью не ступила на сплетенный его матерью половик и не разразилась гневной тирадой о том, что видела на улицах. Теперь же, бредя из одного конца Бетнал-Грин в другой, он невольно представлял, что этот мрачный лабиринт дрянных домов наделен разумом и управляет теми, кто в нем живет. По ночам, когда мать спала, он доставал рулоны белой бумаги и рисовал высокие просторные здания, залитые светом, с бегущей по трубам чистой водой.

Марта достала из-под стула зонт и со вздохом раскрыла: оконное стекло заливал дождь.

— Я сама пока ничего не знаю, — призналась она. — Не знаю, что сумею сделать. Но что-нибудь непременно изменится. Разве же вы не чувствуете?

Он не был уверен. Марта поцеловала его в щеку и пожала ему руку, словно не могла решить, что в данном случае уместнее. Эдвард окликнул ее, и она остановилась на пороге.

— Знаете, а я ведь сам во всем виноват.

— В чем? Что вы такого натворили?

Он ни разу не заговаривал с ней по собственному почину, и Марта боялась пошевелиться, чтобы его не спугнуть.

— В этом, — он коснулся груди, — я знаю, кто это сделал и почему. Я это заслужил. Ну, пусть не такое, но я все равно заслужил наказание.

Марта молча уселась на прежнее место и отвернулась от него, чтобы оторвать нитку на рукаве. Эдвард понял, что она не хочет его смущать, и в его раненом сердце шевельнулась благодарность.

— Человек я маленький, — начал он. — И жизнь у меня маленькая. Кое-что успел скопить, подумывал о своем углу, хотя мне и здесь хорошо, мы с матушкой всегда ладили. Работа у меня неплохая, правда, порою становилось так скучно, что я рисовал дома, которые никогда не построят. Теперь меня называют чудом — по крайней мере, тем, что сейчас принимают за чудеса.

— Каждая жизнь важна, — вставила Марта.

— В общем, я сам во всем виноват.

И Бертон рассказал, как счастлив был за письменным столом в Холборн-Барс, дожидаясь, пока пробьют часы и наступит свобода. Среди сослуживцев он пользовался популярностью, которой, впрочем, не добивался и которая ничуть ему не льстила. Видимо, им нравился его высокий рост, язвительность и острый ум, о котором теперь осталось лишь

воспоминание. Тот Эдвард, что упал в тени собора, был ничуть не похож на молчуна, которого знала Марта. Тот, другой, все время над чем-то смеялся, отличался вспыльчивым, но отходчивым нравом. А поскольку сам ни на кого злобу не таил, то не мог и представить, чтобы его легкомысленные насмешки кого-то ранили. Но они ранили, причиняли боль.

— Это были всего лишь шутки, — сказал он. — Мы ничего такого не имели в виду. Нам казалось, он даже не обижался. Поди его пойми, этого Холла. Вид у него всегда был несчастный, так что с того?

— Холла? — спросила Марта.

— Сэмюэла Холла. Сэмом мы его никогда не называли. Это о чем-нибудь да говорит, правда?

«Он даже не обижался», — сказал Бертон, но, рассказывая об этом Марте, почему-то вспыхнул от стыда. Сэмюэл Холл, которого Господь обделил и остроумием и красотой, приходил на службу в унылом буром пальто за минуту до начала рабочего дня и уходил через минуту после конца. Холл был обидчив, прилежен и абсолютно незаметен. Но сослуживцы лезли к нему с замечаниями, пусть и безобидными, пытались его растормошить, а зачинщиком неизменно был Эдвард.

— Меня его понурый вид всегда забавлял. Понимаете? Невозможно было относиться к нему всерьез. Если бы он окочурился за столом, мы бы все покатались со смеху.

А потом унылый Сэмюэл Холл, чьи мутные глазки с обидой смотрели на мир из-за стекол очков, влюбился. Сослуживцы встретили его в мрачном баре возле набережной. Подумать только, он смеялся, и пальто на нем было не бурое, как всегда, а светлое, он целовал ручку какой-то женщине, и та не возражала. В мире не было зрелища уморительнее и абсурднее — в этом тусклом баре с теплым пивом. Бертон уже не помнил, что именно говорил и кому, но в какую-то минуту вдруг оказалось, что он обнимает эту смущенную женщину и целует с деланой галантностью, в которой сквозила насмешка.

— Я не имел в виду ничего дурного, мне хотелось лишь позабавить товарищей. В тот вечер я пошел домой и сейчас уже даже не вспомню, в каком именно баре был.

Всю следующую неделю стол Холла пустовал, но никому из сослуживцев и в голову не пришло поинтересоваться, куда он подевался и что с ним случилось. Они и подумать не могли, что он сидит в тесной своей комнатухе с одним-единственным стулом и что все обиды, копившиеся в душе Холла, как реальные, так и воображаемые, вылились в жгучую ненависть к Эдварду Бертону.

— Я остановился у собора Святого Павла, меня всегда удивляло, как же держится купол, — а вас? На ступеньках сидели черные птицы. Помню, в детстве меня учили, как определять, ворон это или грач: если птица одна — то ворон, если много — то грачи. Вдруг на меня кто-то навалился. По крайней мере, так мне показалось, — показалось, что кто-то споткнулся и упал на меня. «Смотри, куда идешь!» — сказал я, поднял глаза и увидел, что это Сэмюэл Холл. Он даже на меня не взглянул, просто убежал прочь, как будто опаздывал, а я его задержал.

Бертон пошел дальше, однако на него вдруг навалилась чудовищная усталость. Рубашка промокла. Он приложил к ней ладонь и обнаружил кровь. Тут неожиданно наступила ночь, он лег на ступени собора и уснул.

В комнате стоял полумрак, Бертон протянул руку и зажег лампу. В ее мягком свете Марта увидела, что от смущения и стыда Эдвард отвернулся от нее, на его худом скуластом лице горел румянец.

— Вина и расплата тут ни при чем, — сказала Марта. — Мир устроен иначе. Да получи мы все по заслугам... — она осеклась. Ей казалось, что он сделал ей подарок, который легко сломать. Между ними что-то изменилось, и теперь она обязана ответить ему откровенностью на откровенность. — Ведь без этого не прожить, — продолжала она, — я имею в виду, чтобы никого не обидеть. Этого не избежать, разве только от всех спрятаться и никогда ничего не делать и не говорить.

Ей хотелось, со своей стороны, тоже раскрыть ему душу, она попыталась припомнить за собой вину, и на ум ей тут же пришел Спенсер.

— Да получи мы все по заслугам, меня бы тоже не минула кара, — призналась Марта. — И куда худшая, чего уж там, нож в сердце — меньшее из зол. Вы не ведали, что творили, но я-то прекрасно знала и знаю, а все равно делаю!

И она рассказала молчаливому собеседнику о мужчине, который ее любит («Он полагает, что ему удастся это скрывать, но это еще никому никогда не удавалось...»), о его робости, о том, как он увлекся добрыми делами, потому что хотел помочь и вдобавок сделать ей приятное.

— Спенсер неприлично богат, просто неприлично, у него такое состояние, что он сам не знает, скольким владеет! Если я позволяю ему себя любить и притворяюсь, будто могу ответить на его чувство, и от этого он сделает что-то хорошее — что ж тут дурного? Неужели разбитое сердце — слишком высокая цена за лучшую жизнь для горожан?

Бертон улыбнулся и поднял руку:

— Отпускаю вам грехи.

— Спасибо, святой отец, — рассмеялась Марта. — Вот что мне всегда

нравилось в религии: получил отпущение — и грехи себе снова. Что ж, мне пора идти, — она указала на темнеющее небо за окном, — а то опоздаю на поезд.

На прощанье Марта еще раз пожала Бертону руку, а он притянул ее к себе и поцеловал, и она впервые увидела, что когда-то в этих длинных пальцах и вытянутых под одеялом ногах таилась жизненная сила.

— Приходите еще, — попросил Бертон, — и поскорее.

После ухода Марты он долго сидел на ее стуле и планировал общий сад для соседей.

6

В Колчестере накрапывал мелкий дождь, и изморось окутала город, точно белесое облако. Томас Тейлор с Корой Сиборн сидели, накрывшись куском брезента, и ели пирог. Кора приехала в город за книгами, бумагой и деликатесами, каких не найти в Олдуинтере («Хлеб и свежая рыба — это, конечно, хорошо, — заявила Кора, — но во всем Эссексе не сыщешь ни кусочка марципана к чаю»). Прохожие, должно быть, думал Тейлор, немало удивлены, видя его в обществе такой богатой — хотя и неопрятной — дамы. Он рассчитывал, что от этого выручка его увеличится. Да и с Корой им было что обсудить.

— Как поживает Марта? — поинтересовался Тейлор, назвав ее, по своему обыкновению, по имени, несмотря на то что Марта всякий раз, как приезжала в город, распекала его на все корки; впрочем, старик на нее не обижался. — Не прошла еще у нее эта блажь?

Тейлор слизнул крошку с пальца. Из-за тучи робко выглянуло солнце.

— Будь в жизни справедливость, — ответила Кора, — но, как мы с вами знаем, ее нет, Марта заседала бы в парламенте, а у вас был бы собственный дом.

Вообще-то Тейлор обитал в уютной квартирке на нижнем этаже в городском особняке, поскольку пенсия у него была неплохая, а заработки еще лучше, но не стоило разочаровывать собеседницу.

— Если бы мечты были лошадьми, — он со вздохом перевел взгляд на тележку, которая позже доставит его домой, — я бы сколотил состояние на навозе. А как поживают деревенские — я имею в виду, в Олдуинтере? Не заполз к ним ночью змей, не сожрал их, пока они спали?

Тейлор лязгнул зубами, надеясь рассмешить Кору, но та нахмурилась, на лоб набежали морщины.

— Вы не боитесь злых духов? — Она обвела рукой развалины, с

которых свисали мокрые обрывки занавесок, а в зеркале над разрушенным камином отражались фрагменты комнат.

— Еще чего, — весело ответил старик. — Я, между прочим, человек верующий, меня всей этой чертовщиной не проймешь.

— И даже ночью вам не бывает страшно?

Ночью Тейлор, объевшись гренок с сыром, обычно лежал под толстым стеганым одеялом, а в соседней комнате храпела его дочь.

— Даже ночью, — подтвердил он. — Нет здесь никого, кроме ласточек.

Кора доела пирог и призналась:

— В деревню словно злые духи вселились. Точнее, мне кажется, местные жители сами себя убедили в этом.

Она подумала об Уилле, который не писал ей с того самого дня, как они согласились, чтобы Люк загипнотизировал Джоанну, а при встрече приветствовал ее так подчеркнуто вежливо, что все позвонки холодели.

Тейлору не понравилось, куда клонится разговор; старик ткнул пальцем в газету, которую принесла Кора, и попросил:

— Расскажите лучше, что на свете делается. Люблю быть в курсе событий.

Кора встряхнула газету и ответила:

— Все как всегда: три британских солдата убиты в окрестностях Кабула; мы проиграли тестовый матч по крикету. Хотя, — она постучала пальцем по сложенной странице, — есть и кое-что интересное, метеорологический курьез, и я сейчас не об этом нескончаемом дожде! Прочитать вам?

Тейлор кивнул, сложил руки и закрыл глаза, точно ребенок, который приготовился слушать сказку.

— «В следующие несколько недель рекомендуем синоптикам-любителям обратить пристальные взоры на небо, дабы стать свидетелями любопытного атмосферного явления. Впервые оно было отмечено в 1885 году и наблюдается только в летние месяцы между 50° северной и 70° южной широты. “Светящиеся облака”, как их называют, образуют причудливый слой, видимый лишь в сумерки. По рассказам очевидцев, облака светятся голубым мерцающим светом, по форме же более всего похожи на барашки. Споры о природе этого феномена не утихают, и некоторые ученые утверждают, будто тот факт, что впервые “светящиеся облака” заметили вскоре после извержения вулкана Кракатау в 1883 году, не просто совпадение». Вот, — дочитала Кора, — и что вы на это скажете?

— Светящиеся облака! — Тейлор раздосадованно покачал головой. —

Чего только не придумают!

— Говорят, что пепел Кракатау изменил мир: и зимы последние годы не те, что раньше, теперь вот и облака, а все потому, что несколько лет назад за тысячи миль от нас случилось извержение вулкана. — Кора покачала головой. — Я всегда была уверена: нет никаких тайн, просто мы чего-то пока не знаем, однако недавно увидела такое, что поняла — и знания недостаточно.

И она рассказала о баркасе-призраке в небе над Эссексом, который видела вместе с Уильямом Рэнсомом, и о чайках, пролетающих под носом судна.

— Оказалось, это всего лишь игра света, — пояснила Кора. — Известный трюк. Но сердце дрогнуло.

— «Летучий эссексец»? — с сомнением уточнил Томас: если корабли-призраки и встречаются в природе, они уж наверняка выбрали бы место поинтереснее устья Блэкуотера. Однако толком ответить Коре он не успел: к ним подошли Чарльз и Кэтрин Эмброуз (он — под зеленым, она — под розовым зонтом), и от их появления улица словно стала светлей.

Кора поднялась поприветствовать друзей.

— Чарльз! Кэтрин! Идите же сюда, — вы ведь знакомы с Томасом Тейлором, моим другом? Мы как раз говорили об астрономии. Вы видели светящиеся облака? Или в Лондоне слишком светлые ночи?

— Я, дорогая Кора, как обычно, понятия не имею, о чем вы. — Чарльз пожал калеке руку, не глядя бросил в шляпу несколько монет и прикрыл Кору зонтом. — Уильям Рэнсом писал мне о вашем позоре. — Кора пристыженно вздохнула, но Чарльз продолжал: — Вы призываете нас не отворачиваться от современных достижений, но все же недурно было бы сперва спросить разрешения.

Заметив несчастное лицо Кору и предостерегающий взгляд жены, Чарльз запнулся, но он любил Уильяма, а тот, судя по последнему письму, отреагировал на случившееся куда резче, нежели стоило. *И зачем Вы нас только познакомили*, — писал преподобный, — *ничего хорошего из этого не вышло: что ни день, то новая беда*. Правда, вскорости прислал открытку, тон которой был бодрее: «Простите мое ворчание. Я устал. Что нового в Уайтхолле?»

— Вы извинились перед ним? — спросил Чарльз и в который раз горячо возблагодарил Господа за то, что ему так и не довелось стать отцом.

— Нет, конечно. — Кора, надеясь на поддержку, взяла Кэтрин за руку. — И не собираюсь. Джоанна согласилась. Стелла тоже. Или нам надо было ждать, пока мужчина не даст письменное согласие?

— Очень красивое пальто, — поспешно заметила Кэтрин, глядя на синий жакет, сменивший стариковский твидовый балахон. В синем серые глаза Кора казались сизыми.

— Правда? — рассеянно откликнулась Кора, не в силах думать ни о чем другом, кроме того, что ее друг сейчас сидит у себя в кабинете и сердится на нее. Ей столько надо было ему сказать — но как достучаться?

Кора обернулась к Тейлору, который подбирал крошки пирога с колен и наблюдал за троицей с таким удовольствием, словно купил билет на спектакль, и пожала ему руку:

— Мне пора домой. Фрэнсис просил новую книжку о приключениях Шерлока Холмса. Он боится, что это последнее дело великого сыщика, и если его опасения оправдаются, не знаю, что нам и делать, — наверно, самим писать детективы.

— Передайте ему от меня вот это, — попросил Тейлор, знакомый с мальчиком куда лучше, чем предполагала мать: Фрэнсис любил незаметно ускользнуть из «Красного льва» и забраться в разрушенный дом. Старик протянул Коре осколок тарелки, на котором она разглядела змея, обвившегося вокруг яблони.

— Опять змеи, — заметил Чарльз. — Что-то их тут многовато. Между прочим, Кора, я с вами не договорил: мы остановились в «Георге», и, думается, вы не откажетесь выпить вина.

Однако, удобно устроившись в гостиной «Георга», обсуждали они не Уильяма, а Стеллу. Ее письма Кэтрин были проникнуты мистикой («Причем, — озадаченно заметил Чарльз, — вовсе не в том смысле, в каком ожидаешь от жены священника!»). Отныне Стелла верила не в раскаты грома над Синаем — она обожествляла синий цвет во всех его проявлениях.

— Она мне рассказала, что день и ночь размышляет об этом, берет с собой в церковь голубой камешек, целует его, а одежду может носить только голубую, любой другой цвет якобы обжигает кожу. — Кэтрин покачала головой: — Уж не заболела ли? Она всегда была глуповата, но как-то по-умному — как будто решила казаться глупой, потому что именно такие женщины больше всего нравятся мужчинам.

— И ей все время жарко, — добавила Кора, вспомнив, как в последнюю встречу взяла Стеллу за руку и подумала, что ладошки у той горячие, словно у больного ребенка. — Но не верится, что она больна: каждый раз, как я ее вижу, она все хорошеет.

Чарльз налил себе еще вина («Пожалуй, даже неплохо для эссекского паба») и, подняв бокал к свету, заметил:

— Уильям говорил, что показывал ее врачу и тот сказал, что Стелла еще не оправилась от гриппа. Он думал отправить ее куда-нибудь в теплые края, но, как поется в старой песне, скоро лето, вот и погреемся на солнышке.

Кора засомневалась. Люк ей ничего не сказал — слишком уж торопился уехать из Олдуинтера, подальше от Уилла с его манерой хватать за шиворот, — но она-то заметила, как он настороженно присматривался к Стелле, пока та мило болтала о васильках, которые выращивает из семян, и своих бирюзовых сережках, как пощупал ее пульс и нахмурился.

— На днях она призналась мне, что змея не видела, зато слышала, хотя и не разобрала, что он сказал. — Кора допила вино. — Может быть, пошутила или решила мне подыграть?

— Она очень похудела, — добавил Чарльз, не доверявший тем, кто плохо ест, — но по-прежнему хороша. Иногда мне кажется, что она похожа на святую, увидевшую Христа.

— Нельзя ли показать ее Люку? — спросила Кэтрин.

— Не знаю, он же хирург, а не терапевт, но мысль хорошая, я и сама думала написать ему и попросить об этом.

Тут Кора осознала — в наступившей после дождя тишине, — как сильно привязалась к Стелле, с которой у них было так мало общего, которая обожала свою семью и свое отражение в зеркале и разбиралась в чужих делах куда лучше, чем в своих, но всем желала добра. «Должна ли я ей позавидовать? — подумала Кора. — Должна ли я желать ей смерти?» Но ничего такого она не чувствовала, а только думала: это жена Уилла и ей надо помочь.

— Мне пора, — сказала Кора, — вы же знаете, как Фрэнки считает часы, но я непременно напишу Люку и, так уж и быть, Чарльз, напишу его преподобию. Я буду послушной, обещаю.

*Кора Сиборн
Дом 2 на Лугу
Олдуинтер
29 мая*

*Дорогой Уилл,
Чарльз велел мне перед Вами извиниться. Ну а я не буду. Я не стану извиняться за то, в чем не вижу своей вины.*

Я читала Священное Писание, как Вы когда-то мне

велели, и хочу заметить (см. Мф. 18:15–22), что Вы должны простить меня еще 489 раз, прежде чем выгнать прочь.

Между прочим, я знаю, что Вы говорили с моим сыном о грехе, но я же из-за этого не устраиваю Вам сцен! К чему нам ссориться из-за детей?

И почему мой разум должен склониться перед Вашим или Ваш перед моим?

Ваша Кора.

*Уильям Рэнсом
Дом священника
Олдуинтер*

*Уважаемая миссис Сиборн,
Большое спасибо за письмо. Я Вас давно простил.
Признаться, я уже забыл об инциденте, о котором,
насколько я понял, Вы упоминаете, и удивлен, что Вы
подняли эту тему.*

*Надеюсь, у Вас все благополучно.
С наилучшими пожеланиями,*

Уильям Рэнсом.

III

Неусыпное наблюдение

Июнь

1

Лето в Блэкуотере в самом разгаре. На болоте гнездятся цапли. Вода в реке невиданной синевы, и гладь ее в устье как зеркало. По утрам Бэнкс возвращается с богатым уловом скумбрии, с удовольствием поглядывая на радужные рыбы бока. Левиафан зарос кипреем и розмарином, а под самым носом у него торчит кустик критмума. В полдень Наоми лежит одна у черного остова баркаса, задрав юбку до бедер, и бормочет заклятия на солнцестояние. Джоанна после уроков осталась сидеть за партой — дескать, никуда она не пойдет, пока не выучит названия всех костей человеческого черепа («Ламбдовидный шов», — летит в спину уходящей Наоми, и рыжая девчонка запоминает это, чтобы однажды ночью вставить в проклятье). Змей на время исчезает: разве ему уцелеть под таким щедрым солнцем?

По тропинке над Наоми медленно бредет Стелла и рвет веронику вдоль обочины. Цветы голубые, как ее платье и ленты вокруг запястий. Она возвращается домой, к детям. Наверняка они проголодались, и одна лишь мысль о том, что придется их кормить, внушает Стелле отвращение. Она представляет, как они засовывают мягкую массу в рот, в эту блестящую дыру, — гадость, если подумать. Стелле вообще не хочется есть.

Уилл спит в кабинете. На столе его лист бумаги, на котором написано «Дорогая». Одно-единственное слово: «Дорогая». Последнее время он пишет так много писем, что опухла фаланга среднего пальца, и он то и дело засовывает палец в рот, чтобы утишить боль. Проснувшись, бормочет себе под нос: «Дорогая...» — и улыбается, когда перед глазами всплывает ее лицо, но улыбка в тот же миг испаряется.

Марта чистит яйца. Кора задумала устроить званый вечер в честь солнцестояния, будут Чарльз и Кэтрин Эмброуз, а Чарльз больше всего (по его словам) любит крутые яйца, обвалянные в молотых семенах сельдерея с солью. Люк тоже приедет. Неизвестно, нравятся ли ему вареные яйца, но Марту это совершенно не заботит. Придут и Уильям Рэнсом, который последнее время мрачнее тучи, и Стелла в голубых шелках.

Мистер Каффин, скрестив ноги, сидит на детской площадке, на коленях у него бутерброд с сыром. Учитель пишет записку: «Такой тишины в школе я не припомню. Дети на уроках спокойно занимаются и, смею

надеяться, сдадут экзамены как следует. Прилагаю бланк заказа: двадцать тетрадей (в линейку, с полями)».

В три часа дня Уилл наносит Крэкнеллу визит. Старику нездоровится, он лежит на диване в ботинках. Крэкнелл знает, что к Рождеству посипывание в груди перейдет в хрип.

— Миссис Крэкнелл сказала бы пить по вечерам настойку из сиропа шиповника, и я не стану пренебрегать женским советом, даже если женщины уже и на свете нет. Вон там бутылочка и ложка; будьте добры, дайте-ка их сюда. — Уилл понимает, что старик храбрится, и улыбается, но Крэкнелл совершенно серьезен. — Но унес-то ее не кашель, — он касается руки преподобного, — унесли ее в гробу.

В Колчестере на оставшихся после землетрясения развалинах Томас Тейлор греет на солнце фантомную ногу. День хороший, заработок тоже — шляпа тяжела от монет. Осы услужливо свили гнездо в складках портьеры, и бумажистые соты, в которых кипит пугающая суета, привлекают внимание туристов. В воздухе висит гул; осы слишком сонные, оттого и не жалят. Под вечер над Тейлором склоняется черноволосый доктор в добротном сером пиджаке. Руки у него в ссадинах и пахнут лимоном. Он щупает (не слишком-то осторожно) мясо, наросшее на отпиленных костях, и замечает:

— Отвратительная работа. Жаль, меня там не было, я бы сделал так, что хоть на выставку.

Ласточка летит на пятьдесят миль к югу, и вот под нею Лондон во всей красе. Он и сам сознает, что неотразим. В Риджентс-парке дети кормят черных лебедей, в Сент-Джеймском — пеликанов, на аллеях цветут липы. В Хэмпстед-Хит гулянья, точно на сельской ярмарке, в метро ни души. Солнце густо заливает тротуары; фокусники и мошенники на Лестер-сквер наживают деньжата. Домой не хочется никому. Да и что там делать? Возле пабов и кафе мелкие клерки, осмелев, пристают к дамам, и в воздухе, напоенном хмелем и кофе, витает если не любовь, то нечто очень на нее похожее, — а впрочем, какая разница!

Чарльз Эмброуз, облачившись по случаю солнцестояния в новую голубую рубашку, принимает в Уайтхолле визитера.

— Я получил ваше письмо, — говорит он. — Не откажетесь со мной отобедать? Хочу вас кое с кем познакомить.

Самому Чарльзу внезапное увлечение Спенсера филантропией более-менее безразлично: богач во дворце, бедняк у ворот^[37] (так он полагает), но Спенсер ему нравится, и Кэтрин тоже, так отчего бы не проявить участие?

Спенсер пришел обсудить проект, о котором хлопочет Марта, и

надеется, что не забудет статистику и сумеет, точь-в-точь как она, выдержать по-деловому спокойный и вместе с тем увлеченный тон. Он представляет, как обрадуется Марта, когда он сообщит ей добрую весть («Было бы замечательно, если бы вы приехали, когда мы будем давать указания архитекторам, ведь вы разбираетесь в этом как никто»). «И тогда она улыбнется, — думает Спенсер, — она так редко улыбается! Она увидит, на что я способен».

Он берет у Чарльза бокал и говорит:

— Большое спасибо, я с удовольствием к вам присоединюсь. И вот еще что: не хотите ли на следующей неделе навестить вместе со мной и Мартой Эдварда Бертона в Бетнал-Грин? Это его оперировал Люк. Марта с ним подружилась и говорит, что его случай — наглядный пример...

«Наглядный пример!» — мысленно повторяет Чарльз и ласково смотрит на Спенсера: до чего же худой! Интересно, что подадут на обед, ягненка или лосося?

— А вы поедете на званый вечер к Коре — посмотреть, как веселая вдова изображает Персефону с цветами в волосах?

Но Спенсер не может: облачившись в белый халат, он будет в Королевской больнице накладывать пациентам гипс. Он даже доволен, что избежит испытания — вести светские беседы под взглядом Марты.

Эссекс облачился в праздничный наряд: вдоль дороги пенится бутень, на лугу цветут маргаритки и боярышник в белом убранстве; в полях тучнеют колосья пшеницы и ячменя, вьюнок оплетает изгороди. Кора прошагала четыре мили и не устала. На пятой миле, миновав голого по пояс фермера, тоже решает расстегнуть блузку: раз он не стесняется, почему она должна стыдиться своей наготы? Но тут впереди на дороге показывается чья-то фигура, и Кора поспешно застегивает пуговицы, ни к чему навлекать беду.

Она доходит до поля, где выращивают розы для кубков и ваз в гостиных, перед глазами на акр-другой простираются разноцветные ряды цветов, точно развернутые рулоны шелка, которые покрасили и оставили сохнуть. Воздух напоен ароматом роз. Кора облизывает губы и чувствует во рту вкус рахат-лукума.

И, как часто бывает в последнее время, вспоминает об Уилле. Кора не намерена признавать ошибку и считает, что ничем не заслужила немилость; она даже немного презирает преподобного за то, что его, оказывается, так легко рассердить. «Ох уж эта мужская гордость, — думает она, — ничтожная слабость!» Но все равно ее мучают угрызения совести: что, если она и вправду обошлась с ним слишком бесцеремонно? Быть может,

нужно полушутя, полусерьезно пасть перед Уиллом ниц и просить прощения, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как он будет сдерживать смех? Ну уж нет, у нее тоже есть гордость.

Обиднее всего, что Кора скучает по всему семейству Рэнсомов: Джеймс обещал показать ей перископ, который сделал собственными руками из разбитого зеркала, а Стеллины милые сплетни заменяли ей светскую жизнь. При мысли о Стелле лицо ее омрачается. Неужели Уилл не замечает, до чего его жена стала чудной, носит только голубое, вплетает в волосы голубые цветы? Как ищет на болотах голубые камешки и морские стеклышки и посылает в Колчестер за розами, чьи стебли окунули в чернила, чтобы лепестки стали васильковыми? Как она похудела, но при этом кажется еще более оживленной, как ее щеки горят румянцем, как сверкают голубые глаза, какими лихорадочными стали ее движения? «Надо поговорить с Люком, — думает Кора, — он наверняка все поймет».

Она возвращается домой с охапкой кремового шиповника и тремя новыми веснушками на щеке. Обвивает руками талию Марты, отмечает, как ловко руки ложатся на изгиб над широкими бедрами, и говорит:

— К нам едут все, кто меня любит, и все, кого я люблю.

2

Теплым тихим вечером Стелла Рэнсом шагала по лугу в Олдуинтере с мужем по правую руку и дочерью по левую. Мальчики остались дома под присмотром Наоми Бэнкс, ели гренки и играли в «Змеи и лестницы». Утром к ним на обратном пути с прогулки заглянула Кора с букетом роз, от которых на сгибе ее локтя остались царапины, и попросила:

— Приходите пораньше, хорошо? А то я, когда устраиваю званый вечер, всегда волнуюсь, что никто не придет и мне ничего не останется, кроме как сидеть одной-одинешенькой ночь напролет в окружении бутылок и топить печаль в вине.

Перед выходом Стелла расправляла перед зеркалом белую шелковую юбку, и Уилл удивился: «Как, ты сегодня не в голубом?» — а она в ответ потупилась и рассмеялась, потому что все вокруг было голубым. Складки юбки переливались голубым, ее кожа отливала голубым, и даже глаза Уилла — некогда цвета желудей, которые мальчишки каждую осень собирали и раскладывали на подоконнике, — стали голубыми. Иногда ей мнилось, что ее глаза подернулись чернильной слезой.

— Мне кажется, во мне течет голубая кровь. — Стелла подняла руки, изумляясь тому, до чего же они тонкие и красивые, а Уилл ответил:

— Я никогда в этом не сомневался, моя звезда моря. — И дважды ее поцеловал.

Они шли дальше; над лугом порхали ласточки — охотились за насекомыми. Рэнсомы шагали мимо сельчан, которые собирались разводить в садах и на краю полей костры в честь солнцестояния, и хор приветствий и поздравлений сливался с перезвоном колоколов церкви Всех Святых: «Что за ночь! Что за дивная ночь!»

Уильям сунул палец под воротник, слегка оттянул. Ему не хотелось видеться с Корой — но одновременно он мечтал ее увидеть; представлял, как она весь день бродит по болотам, с коркой эссекской глины на ногтях, — и не думал о ней вовсе; он считал ее худшей из женщин — но она была его другом. Он с благодарностью взглянул на голову Стеллы, чьи волосы серебрились в лучах солнца, и подумал: ни разу за все эти годы она не причинила ему огорчения — ни единого разу! Ладонка у нее была горячая, и сзади на шее, над вырезом платья, блестел пот. Это грипп, сказал доктор из Колчестера, пряча стетоскоп, грипп лишил ее сил. Больше отдыхать, есть и спать. Тем более наступило лето. Не о чем волноваться.

В сером доме ярко горели все лампы и на каждом подоконнике стояло по кувшину с цветами шиповника. За окнами кто-то ходил, кто-то играл на рояле. Больше всего на свете Стелла любила ходить в гости теплым летним вечером, спокойно стоять посреди снующих туда-сюда людей, сознавать, что ею все любят, с удовольствием болтать то с одним, то с другим собеседником о внуках, недугах, нажитых и потерянных состояниях. Но сейчас она буквально валилась с ног от усталости, словно, прошагав сотню ярдов, выбилась из сил. Ей хотелось очутиться дома, в своем голубом будуаре, и пересчитывать сокровища: подносить к свету голубую вощеную бумагу, в которую был завернут кусок мыла из горечавки, нюхать ее, гладить пальцем яичко дрозда, которое сыновья принесли ей в мае.

Грипп, сказал доктор Уиллу, но Стелла Рэнсом была неглупа и сразу догадалась, что у нее чахотка, едва увидела пятнышки крови на складках носового платка. В юности она знавала девушку, которую унесла «белая смерть» (так ее тогда называли, словно боялись накликать болезнь, назвав ее по имени), та тоже сгорела, истаяла, стала рассеянной и умиротворенно встретила кончину, заглушая боль морфием. За неделю до смерти девушка кашляла кровью, пачкая белые простыни.

Стелла чувствовала, что ее дела пока не настолько плохи, но когда совсем расхворается, поговорит с Уиллом с глазу на глаз, попросит отправить ее в какую-нибудь лечебницу в горах, будет сидеть и любоваться горными хребтами, которые, конечно же, окажутся голубыми. Как-то раз,

когда она утром причесывалась, на сотом взмахе гребенкой на нее напал кашель, так что зеркало подернулось красноватой пеленой, но такое было всего лишь однажды и быстро прошло. И почему только капельки крови, вылетевшие из ее рта, оказались красными, когда она ясно видит, как под тонкой кожей на запястьях синеют венки? Была в этом какая-то несправедливость.

Пока же уезжать ей нельзя: Джоанна по-прежнему хмурится, Уилл частенько хлопает дверью кабинета, сельчане боятся того, что таится в реке, приходят молча в церковь и уходят, так и не получив утешения. Уилл назвал ее «звезда моря» — не так ли зовут и Деву Марию, которая, к слову, носила только голубое? «Помолись за меня, Матерь Божья, и одолжи мне свое платье», — подумала Стелла и рассмеялась своим мыслям.

На пороге их встретила Кора в черных шелках, такая строгая и невозмутимая, что Уилл на миг забыл свой праведный гнев и, ошеломленно пожимая ей руку, спросил:

— У вас усталый вид; вы долго гуляли?

Высокая, в роскошном платье, чуть взволнованная, Кора показалась ему незнакомкой, такой далекой, что Уиллу захотелось бежать за нею, отыскать ее там, куда она от него ушла. Он смотрел, как грациозно Кора встречает гостей, и думал, что такие манеры воспитываются в Челси и Вестминстере, в особняках с высокими потолками, где точно знают, что и как сказать, кого при встрече поцеловать, а кому крепко, по-мужски, пожать руку. Стеллу она сразу же подвела к широкой низкой кушетке с голубой шелковой подушечкой. «Я увидела ее на той неделе в Колчестере, — сказала Кора, — и решила, что вам непременно нужна такая, так что, как будете уходить, заберите ее с собой». Волосы она расчесала и распустила по плечам, точно девочка, лишь по бокам забрала серебряными заколками. В уши Кора вдела жемчуг, и мочки покраснели, словно от тяжести украшений.

Наконец пришел и Чарльз Эмброуз в яркой новой шелковой рубашке и, взяв хозяйку за плечи, проговорил разочарованно:

— Я-то думал, вы будете вся в цветах, что за унылый у вас вид! — Но посмотрел на Кору с восхищением.

— Зато вы нарядились так, что лучшего и желать нельзя, — парировала она, чмокнула Чарльза в пухлую щеку и потрогала длинную бахрому на шали Кэтрин («Вот увидите, я ее у вас украду!»).

«Она пополнела», — заметил Чарльз без всякого упрека, глядя, как Кора идет мимо низких столиков со столовым серебром. Наконец пришел Люк с вянущей желтой примулой в петлице и напыженными волосами, и

Кора с гордостью представила его гостям: «А это Чертенок, вы с ним уже знакомы!»

— Я хочу вам кое-что подарить, — сказал Люк Коре, — я хранил это много лет и вот решил вручить вам — почему бы нет?

Он протянул ей коробочку, небрежно завернутую в белую бумагу, точно ему было все равно, понравится ей подарок или нет. Кора открыла коробочку, Кэтрин увидела рамочку с миниатюрным веером за стеклом и изумилась: с какой стати мужчине взбрело в голову вышивать разноцветными нитками по шелку?

Марта в зеленом платье выглядела так, словно родилась и выросла в деревне, а уж когда внесла двух лоснящихся каплунов, украшенных веточками чабреца, и хлеб в виде кукурузного початка, впечатление лишь усилилось. Подавали также утиные яйца и окорок, утыканный гвоздикой, порезанные и посыпанные мятой помидоры и картофель величиной с жемчужину. Джоанна ходила за Мартой по пятам на кухню и обратно, умоляла разрешить ей помочь, и ей позволили порезать спиралью лимон, чтобы украсить лосося. Стол был убран цветами лаванды, и они, придавленные тяжелыми блюдами, источали сладкий аромат. Чарльз Эмброуз привез из Лондона хорошего красного вина и, откупорив третью бутылку и выстроив в ряд хрустальные бокалы, влажным пальцем сыграл на них мелодию. Марта с Джоанной, лежа на животе на шерстяном ковре, с серьезным видом изучали документы, строили планы и посасывали кусочки льда, а Фрэнсис свернулся калачиком на кушетке возле окна, подтянул колени к груди и наизусть твердил последовательность Фибоначчи.

Больше всего Уиллу хотелось отвести Кору в сторонку, сесть рядышком и рассказать обо всем, что накопилось за эти недели: как он обнаружил в бумагах стихотворение, которое написал в детстве, и сжег его, а потом пожалел об этом, и как Джо взяла у матери кольцо с бриллиантом и, чтобы проверить его на прочность, нацарапала свое имя на стекле, и что сказал Крэкнелл, выпив ложку сиропа из шиповника. Но ничего этого он сделать не мог, Кора была занята: то посыпала сахаром клубнику и уговаривала Стеллу поесть, то смущенно намекала Фрэнсису, что, раз уж его последнее время так интересуют числа, у нее есть книги, которые ему стоит прочитать. Да и к тому же (Уилл попытался вызвать в душе прежнюю злость) между ними кипела вражда, и пощады никто не просил и не давал.

Однако злобы Уилл не чувствовал, как ни старался, пусть и хорошо помнил, как над дочерью склонился чужой мужчина и что-то ей шептал, но ведь то был всего лишь доктор Гаррет, этот вот Чертенок, которого в пору

пожалеть за малый рост и кособокость — одно плечо выше другого. Где же его милосердие? Что Кора с ним сделала?

Уилл подошел к доктору, который вынул из петлицы примулу и обрывал лепестки, и неожиданно для себя произнес:

— Прощу меня простить, я тогда обошелся с вами грубо, сорвался. Мне следовало держать себя в руках. — И изумленно уставился на бокал с вином, словно это сказало оно, а вовсе не он.

Доктор вспыхнул и, запинаясь, пробормотал:

— Ну что вы, пустяки.

Уиллу его тон показался надменным. Потом кровь отхлынула от лица Гаррета, и он добавил:

— Иногда я практикую гипноз. Мы как-то раз попробовали с Корой, и ничего страшного не случилось.

— Я не могу себе представить, чтобы кто-то сумел заставить Кору сказать то, чего она не хочет говорить, — ответил Уилл, и на мгновение повеяло холодом: каждый подумал, что у другого нет права рассуждать о том, как поступила бы Кора. — Она вас называет гением, — добавил Уилл, — это правда?

— Смею надеяться, — оскалился Люк. — Ваш бокал пуст, позвольте я вам налью. К слову, вы интересуетесь медицинской наукой или вам сан не позволяет?

Уилл невольно залюбовался таким откровенным и пылким честолюбием.

— Разумеется, само сердце оперировать невозможно: даже если нам удастся выяснить, как остановить кровоток — или, если угодно, изолировать, — мозгу не хватит кислорода, и пациент умрет на столе. Марта, будьте добры, принесите нам еще вина, — вы не брезгливы? хочу вам кое-что показать.

Чертенок достал записную книжку, которую всегда носил с собой, и Уилл увидел рисунок младенца с содранной на груди кожей, соединенного пуповиной со спящей матерью.

— Не пугайтесь, это всё в будущем! Поскольку у матери и младенца один круг кровообращения на двоих, значит, и сердце ее качает кровь за двоих, и дышит она тоже за обоих, снабжая плод кислородом, а следовательно, я мог бы зашить дыру в сердце, с которой рождаются многие дети, но кто же мне даст попробовать! Да вы побледнели.

Уилл действительно побледнел, но не из-за сосудов и жидкостей человеческого организма. У него закружилась голова от того, с какой легкостью рассуждал этот хирург, словно все создания Господни можно

ободрать и выпотрошить, точно кур.

— Я и забыл, что вы священник. — В тоне Люка сквозила издевка.

Фрэнсис под столом очистил апельсин, который в бумажном пакете привезли из «Харродса». Мальчик видел, как Чарльз Эмброуз сел возле Стеллы и подал ей стакан холодной воды, слышал, как они обсуждали Кору: какая она красивая и как нарядно убрала комнату — так, словно внутри расцвел сад. Потом Стелла вытерла лоб тыльной стороной ладони и заметила:

— Надо потанцевать в честь наступления лета. Кто-нибудь, сядьте за пианино, сыграйте нам!

— Я могу сыграть вальс, — откликнулась Джоанна. — Ну и всё.

— Раз-два-три, раз-два-три, — повторял Чарльз Эмброуз, наступая жене на ноги. — Может, скатаем ковер?

— Вылезай оттуда, — велела Марта, заметив Фрэнсиса в укрытии, и вытащила из-под него ковер, открыв черные половицы.

Джоанна, с прямой спиной сидевшая за пианино, пробежала пальцами по клавишам и поморщилась:

— Ужасно! Отвратительный звук: пианино старое и сырое!

Она заиграла — сперва чересчур быстро, потом медленно; некоторые клавиши западали, так что звука не было слышно, но это танцоров не смущало. За окном над самой землей стояла полная луна («На такую луну кукурузу сажают», — пробормотал Фрэнсис себе под нос), волны плескали о берег, и, вполне вероятно, что-то кралось по болотам. «Постучи оно сейчас в дверь хоть трижды, никто не услышит», — подумал Фрэнсис, поймал себя на том, что прислушивается, не топчет ли кто на пороге, и представил горящий глаз под набрякшим веком.

Люк Гаррет, до того листавший в углу комнаты исписанный от руки блокнот, отложил его, подошел к стулу Кору, поклонился, точно придворный любезник, и проговорил:

— Пойдемте танцевать. Мы с вами никудашные танцоры, так что из нас получится прекрасная пара.

На это сидевшая у открытого окна Стелла возразила:

— Раз уж я слишком устала, чтобы потанцевать с мужем, так пусть меня заменит подруга. Уилл! — властно крикнула она и рассмеялась: — Покажи Коре, что ты не простой священник, который только и знает, что корпеть дома над книгами!

Уилл неохотно подчинился («Стелла! Ты внушаешь им ложную надежду...») и вышел на середину комнаты. Без Библии и кафедры вид у преподобного был потерянный. Он застенчиво протянул руку Коре,

произнесся:

— Спорить с ней бесполезно. Я уже пробовал.

— Чертенюк прав. — Кора встала и застегнула пуговицу на манжете. — Я совершенно не умею танцевать.

Она подошла к Уиллу. Рядом с ним Кора казалась ниже ростом, словно стояла на расстоянии, и глядела робко, как прежде на Фоулис-стрит.

— Чистая правда, — вздохнула Марта и отряхнула зеленое платье, — она вам все ноги отдавит, она такая тяжелая, — давайте лучше я с вами станцую!

Но Стелла поднялась, вышла вперед и, точно танцмейстер, положила руку Кору мужу на плечо:

— Видите, вы прекрасная пара! — Она оглядела Кору и Уилла и с удовлетворенным видом вернулась на место, на кушетку подле открытого окна. — Ну вот, — Стелла погладила лежавшую на коленях голубую подушечку, — ешьте, пейте, веселитесь, потому что завтра будет дождь.

Уильям Рэнсом положил руку Коре на талию, и Фрэнсис услышал, как мама вздохнула. Она подняла глаза на преподобного, оба стояли не шелохнувшись, и никто не произнес ни слова. Наблюдавший за этой сценой Фрэнсис придавил языком кусочек апельсина. Мальчик видел, как мать улыбнулась мистеру Рэнсому, а тот встретил ее улыбку спокойным, строгим взглядом; потом она чуть запрокинула голову, точно под тяжестью волос, и преподобный крепче обхватил ее за талию, сжал ткань.

«Ничего я в этом не понимаю», — подумал Фрэнсис, глядя, как Марта отошла назад, встала рядом с Люком, и на ее лице, точно в зеркале, отразилось его слегка испуганное выражение.

— Не могу же я все время играть одно и то же, — пожаловалась сидевшая за пианино Джоанна, взглянула на Фрэнсиса и закатила глаза.

— Я не знаю эту мелодию! — сказал Уилл. — Никогда ее раньше не слышал...

— Тогда эту? — предложила Джоанна и заиграла медленно, даже томно, но Марта отрезала:

— Нет! Такую не надо.

— Может, хватит? — Джоанна убрала руки с клавиатуры и посмотрела на отца. До чего же странный у них вид! Застыли посреди комнаты, точь-в-точь как Джон и Джеймс, когда нашкodyт и боятся, что им попадет.

— Нет-нет, играй, играй! — назло самому себе попросил Люк, хотя больше всего ему бы хотелось сейчас захлопнуть крышку пианино.

— Простите, не могу: я перезабыл все па, — признался преподобный.

Джоанна играла, часы тикали, а он не шелохнулся.

— А я их никогда и не знала, — ответила Кора, убрала руку с его плеча, отступила на шаг и добавила: — Стелла, я вас подвела.

— Ну куда это годится! — Чарльз Эмброуз с сожалением уставился в бокал с вином.

— Пожалуй, достаточно, не играй больше. — Уилл бросил на дочь почти извиняющийся взгляд, низко поклонился своей даме и сказал: — Лучше бы вам было выбрать другого кавалера: я никогда не учился танцам.

— Что вы, — возразила Кора, — это я виновата. Я не умею ничего, кроме как читать книги и гулять. Стелла, да вы дрожите! Вы замерзли?

Кора отвернулась от Уилла, наклонилась над Стеллой и взяла ее за руки.

— Вовсе нет, — просияла Стелла. — Но Джо не стоит засиживаться допоздна.

— Да! — поспешно и с некоторым облегчением согласился Уилл. — Конечно, не стоит, да и нам пора проверить, не разнесли ли мальчишки в наше отсутствие весь дом... Кора, вы не рассердитесь, если мы вас покинем?

— Тем более что почти полночь. — Чарльз посмотрел на часы. — Часы пробьют, и мы все превратимся в белых мышей и тыквы. Кэтрин! Где же моя Кейт? Где моя жена?

— Здесь, как всегда, — откликнулась Кэтрин Эмброуз и протянула мужу сюртук.

Кора держалась оживленно и безупречно вежливо. Всучила Стелле голубую подушечку («Нет-нет, дорогая, вы просто обязаны ее взять, ее точно для вас сшили...»), поцеловала Джоанну в щеку («Я вот совсем не умею играть, а ты такая умница!»), но Кэтрин было не так-то просто провести. В коротеньком вальсе на голом дощатом полу не было ничего особенного, знакомые изящные па не столь сложны, чтобы заставить танцоров врасплох, чем же тогда объяснить эту любопытную сценку, чем таким вдруг повеяло в атмосфере, что Кэтрин не удивилась бы, если бы ударил гром? Но в конце концов, решила Кэтрин, Уилл Рэнсом все же священник, а не кавалер, так что удивиться нечему.

Кора открыла дверь, и в комнате запахло рекой. В небе стояло странное голубое сияние, и она вздрогнула, хотя ночь была теплая. Фрэнсис из-под стола видел, как мать у порога пожимала руку каждому из уходивших гостей: «Большое спасибо, спасибо, обещайте, что придете к нам еще!» — и выглядела такой оживленной, такой веселой, словно вовсе не хотела спать, несмотря на поздний час.

Уильям Рэнсом ушел под руку с женой и дочерью, и казалось (тут

Фрэнсис взялся за следующий апельсин), будто преподобный облекся в доспехи. Мама сделалась еще оживленнее и веселее, точно это она каким-то образом выгнала гостей на луг, потом закрыла дверь, радостно хлопнула в ладоши, но ее наблюдательный сын услышал в этом фальшь так же явственно, как если бы Джоанна по-прежнему сидела за расстроенным пианино. Почему Уильям Рэнсом ничего не сказал на прощанье, почему мама не пожала ему руку, почему Марта и Чертенок сейчас молча глядят на нее так, словно она их разочаровала? Впрочем — мальчик вылез из-под стола, — что толку наблюдать за родом людским и пытаться его понять? Законы его непостижимы и переменчивы, как ветер.

После того как Фрэнсиса уложили в кровать, причем перед сном он пересказывал последовательность Фибоначчи, как другие дети сказки, Марта с Люком принялись убирать со стола и раскатали обратно ковер, давя разбросанную по полу лаванду. Кора сперва бодрилась — какой прекрасный вечер, сказала она, правда, Джо умница, хотя, пожалуй, музыка не ее конек, — а потом призналась, что устала и хочет лечь, и взбежала босиком по лестнице. Друзья проводили ее взглядом и принялись делиться страхами.

— По-моему, она сама не отдает себе отчет, — Люк допил остатки хорошего красного вина, которое привез Чарльз, — она как дитя, даже не понимает, что они натворили, да еще на глазах у Стеллы...

— Она твердит о нем каждый день, каждый божий день: да что бы он подумал об этом, да как бы он посмеялся над тем... Хотя ничего такого они не сделали, подумаешь, никто же не заметил...

— И пишет о нем в каждом письме, на каждой странице! Что он может ей дать? Сельский священник, который боится, что мир изменится. К тому же с дурочкой женой. Неужели ему этого мало, зачем ему еще и Кора...

— Он-то ей нужен для коллекции. — Марта отрывала виноградины от кисти и катала по столу. — Вот и все. Ее бы воля, она бы посадила его в стеклянную банку, надписала все части тела по-латыни да поставила на полку.

— Я бы его убил, если бы мог, — заявил Люк и сам ужаснулся этому признанию, когда заметил, что согнул большой и указательный палец, точно держал скальпель. — Она отдаляется от меня...

Марта и Люк устали друг на друга, чувствуя, что их взаимная неприязнь отступает и воздух налит страстью, которой не суждено найти удовлетворение. Даже в сумрачной комнате было заметно, как потемнели глаза хирурга. Он смотрел, как Марта подняла руки, поправила волосы, как натянулось зеленое платье по шву под мышкой. Люк двинулся к ней, но она

повернулась к лестнице и протянула ему руку:

— Пойдемте со мной. Пойдемте же наверх.

Окна в ее комнате были открыты, и на стене лежала бледная тень.

— Может быть кровь, — предупредила Марта, и Люк ответил:

— И пусть, так даже лучше.

Он целовал Корины губы, а Марта направляла Корину руку туда, куда ей хотелось. Каждый из них был всего лишь заменой; они взяли друг друга взаимы, точно чужое пальто.

В доме на другом конце луга, в тени шпиля церкви Всех Святых, Джоанна заснула в тапочках, а Стелла дремала, положив голову на новую голубую подушку. Уилл в одиночку шел к болоту; в душе его кипел гнев. Муки вождения прежде были ему незнакомы: он женился на Стелле рано и счастливо, желания их были невинны, и утолить их было легко. Он сознавал, что любит Кору, он сразу же это понял, но и это его не пугало: он любил бы ее ничуть не меньше, будь она мальчиком или величественной престарелой вдовой, и так же любовался бы ее серыми глазами. Он превосходно знал Библию и помнил разные названия разных видов любви, он читал послание апостола Павла церквям и эту духовную любовь связывал с именем Кору: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». [\[38\]](#)

Но что-то переменялось в теплой комнате, где так остро пахло морем и в каждом углу стоял букет роз. Он положил руку ей на талию, увидел, как двигается ее горло, когда она говорит, — это ли послужило причиной, а может, то, как соскользнул шарф с ее плеча, и он заметил шрам, и гадал, было ли ей больно, и как так получилось, и беспокоил ли ее шрам? Он вспоминал, как забрал в горсть ткань ее платья, как зашуршала та под его пальцами, как Кора бросила на него долгий спокойный взгляд. Что, если она испугалась его, подумал преподобный, но нет, не от страха потемнели ее глаза, в них мелькнул вызов — или, быть может, радость? кажется, она улыбнулась?

Он вышел к устью реки. Уилл не знал, что делать со своим вождением, но понимал одно: домой, к жене, возвращаться с этим недопустимо, стоит ему прикоснуться к ней — и впервые в жизни маленькая хрупкая Стелла не вызовет в нем желания. Ему хотелось борьбы, и это его страшило. Он подошел к кромке воды и быстрыми движениями избавился от соблазна, излился на черную топь, по-собачьи взлаив от наслаждения.

Далеко за полночь, когда год уже неспешно перевалил за середину, Фрэнсис Сиборн вышел из дома. В левый карман он положил серебряную вилку с развалин в Колчестере, в правый — серый камень с дыркой, в которую пролезал его мизинец. Кора лежала у себя наверху, прижав ладонь к шраму на ключице, и мечтала, чтобы та боль вернулась; где-то в другой комнате оторвались друг от друга Люк и Марта. Никому бы и в голову не пришло поинтересоваться, где же Фрэнки; если взрослые и думали о нем, то чувствовали сперва смущение, а после удовлетворение от того, что этот загадочный ребенок способен сам себя занять.

Никто ни разу не попытался доискаться причин, по которым Фрэнки бродил по ночам, считалось, что это очередная его странность. И что уж тут удивляться, если непонятный ребенок не переносит чужого общества, но появляется ночью на пороге спальни. Если бы Фрэнки спросили, почему он так поступает, он ответил бы, что пытается понять, как устроен мир. Почему, например, когда кэб едет, колеса у него крутятся совсем в другую сторону? Почему не слышишь, как падает какой-то предмет, пока не увидишь, как он коснулся земли? Почему поднимаешь правую руку, а отражение в зеркале — левую? Он наблюдал за мамой с ее грязью и камнями и не чувствовал связи между собственными и ее поисками. Она смотрела вниз, он — вверх. Помощи от нее ждать не приходилось. Из всех знакомых мужчин и женщин Фрэнки терпел лишь Стеллу Рэнсом. Он видел, как она собирала голубые камешки и цветы, и считал, что они с ней понимают друг друга. Видел он и слишком яркий цвет ее глаз и удивлялся, почему никто и словом не обмолвится об этом. Но ведь это так похоже на людей — смотреть и не замечать.

Он шагал дальше под параллельно лежавшими тенями от луны и гадал, отчего это они так легли. Суматошный вечер его растревожил, он внимательно наблюдал, но не обнаружил ни смысла, ни порядка в том, что видел, а здесь, на ночной дороге, его ждали более простые загадки. Мальчик решил прогуляться к Блэкуотеру и своими глазами взглянуть на то, что таилось в реке. В самом деле, что за несправедливость: все дети в Олдуинтере видели чудовище, а он — нет, даже во сне. Фрэнки пересек луг, прошел под Дубом изменника и направился на восток. Вокруг шептались и жгли костры, чтобы отогнать духов, которые блуждали по сей день. Кто-то играл на скрипке; мимо прошли две девочки в белом; на изгороди сидел соловей. Наконец Фрэнсис выбрался на Высокую улицу, луг скрылся из виду, и гул его смолк; пахло древесным дымом, слева кто-то взвизгнул от

удовольствия, но вскоре все затихло, словно он остался один во всем мире.

Он дошел до соляного болота, с которого был виден Край Света, надеясь отыскать место, где приколоты к небу Полярная звезда, или увидеть, как луна источает неверный свет, но вместо этого обнаружил черное полотно с нашитой на него ярко-голубой сетью, как будто смотрел не на купол небес, а на озерную гладь, по которой бежала солнечная рябь. С севера на юг над бледным горизонтом протянулись тонкие полосы голубого света, небо между ними казалось чернильным. Время от времени яркие полосы смыкались и ширились, точно их колыхал тихий ветерок. Казалось, эти полосы излучают собственный, а не заимствованный свет, как залитые солнцем белые облака, в небе словно пылало множество тонких неподвижных молний, горело таинственным голубым светом. Фрэнсис окаменел от восторга. Его вдруг охватило такое блаженство, что он невольно рассмеялся и сам испугался этой необъяснимой радости.

Он напряженно всматривался в небо, изо всех сил вытягивая шею, так что наутро мать удивлялась, отчего он так странно держит голову, как вдруг заметил, что на солончаках что-то шевельнулось. От голубого сияния ночь была чуть светлее обычного, и на маслянисто-черной глади реки плясали голубые огоньки. Между кромкой воды и берегом, неподалеку от остова Левиафана, шевельнулась куча тряпок. Раздался еле слышный звук, точно захрапело какое-то животное, куча сдвинулась, вытянулась в грязи и замерла.

Фрэнсиса охватило любопытство. Если это и есть чудовище, которое живет в Блэкуотере, подумал он, то беднягу остается лишь утопить из жалости. Храп на мгновение смолк, куча сдвинулась к Левиафану. Потом храп раздался снова, но на этот раз его прервал явственный кашель и долгий вздох.

Фрэнсис подошел ближе. Ему ни капельки не было страшно. Куча задрожала, потом со стоном слегка приподнялась, и мальчик увидел сальные полы черного пальто и меховой воротник, а над ним — косматую голову старика, которого раз или два встречал у церкви, где хоронили сельчан. Крэкнелл. Это был он — вонючий старикан, который однажды поднял руку и показал мальчику сновавших по рукаву ухверток. Кашель оборвался стоном, Крэкнелл скрючился, запахнул поплотнее пальто и затих.

Крэкнелл лежал, вытянув ноги к кромке воды. Слабеющий взгляд его выхватил из темноты худенького мальчишку с аккуратно причесанными черными волосами. Старик попытался его окликнуть, но воздух резал ему горло с каждым вдохом, Крэкнелл заходился в кашле и никак не мог

вымолвить имя — кажется, Фредди? Отдышавшись наконец, он позвал: «Мальчик! Мальчик!» — и поманил мявшегоса неподалеку Фрэнсиса.

— Я не понимаю, что вы там делаете, — признался тот.

Что он там делает? Похоже, умирает, но почему именно здесь, в таком месте? Отец умер, укрытый до подбородка чистой белой простыней. Фрэнсис на миг отвернулся, поднял глаза. Над головой ширилась и рвалась сеть, и меж сияющих полос проглядывало иссиня-черное небо.

— Приведи кого-нибудь, — попросил Крэкнелл, забормотал что-то не то весело, не то раздраженно и уставил на Фрэнсиса умоляющий и сердитый взгляд.

Фрэнсис присел на корточки, обнял колени и с любопытством уставился на Крэкнелла. В ворсинках мехового воротника сидел мотылек, пальто испещряли бледные пятна, похожие на плесень. Разве плесень живет на одежде? Надо будет выяснить, решил Фрэнсис.

— Рэнсом, — прохрипел Крэкнелл. Не то чтобы его тянуло исповедоваться, скорее хотелось увидеть перед смертью доброе лицо. Старик вытянул руку, чтобы дернуть мальчишку за рукав. «Пожалуйста», — пытался сказать он, но не хватило сил.

Мальчик наклонил голову и задумался.

— Рэнсом? — повторил он.

Пожалуй, в этом был смысл. Человек с белой лентой на шее на прошлой неделе навестил трех сельчан (Фрэнсис сосчитал), и двое из них умерли. Наверно, он приносит смерть, — а может, облегчает уход? Видимо, второе, решил Фрэнсис, но необходимо все же убедиться. Он оглядел старика и увидел, что в уголках губ собирается пена и грудь вздымается под пальто. Даже в темноте было заметно, что лицо приобрело восковой оттенок, глаза ввалились, а вокруг глаз синева. Пугающее, но вместе с тем заурядное зрелище — вероятно, так и наступает кончина.

Крэкнелл почувствовал, что не в силах произнести ни слова — тут же начинает задыхаться и хватать ртом прохладный воздух. Что вытворяет этот мальчишка, почему он так спокойно сидит рядом с ним на корточках, поглядывает на небо да улыбается? Почему не бежит за Рэнсомом? Тот, конечно, придет с лампой и теплым одеялом, укутает его, и дрожь уймется. Но Фрэнсис прекрасно понимал, что происходит, и не видел причин терять время. К тому же его осенило, что если он разделит со стариком сиявшее в небе чудо, то удовольствие его от этого не уменьшится вполовину, а увеличится в два раза. Он наклонился над Крэкнеллом, сказал: «Смотрите!» — и, забрав в горсть седые космы, потянул поникшую голову старика, так что тому поневоле пришлось отвернуться от черной реки и

глядеть в небо, где, как некогда думал Крэкнелл, и был рай.

— Смотрите, — повторил мальчишка, — видите?

Старик распахнул подернутые дымкой глаза и раскрыл рот. Занималась заря, сияющие клочья облаков постепенно гасли, и небо прорезала бледная дуга. Жаворонок вспорхнул над рекой и восторженно запел.

Фрэнсис лежал подле Крэкнелла на топком берегу, не обращая внимания ни на то, что весь перепачкался и вымок, ни на вонь, исходившую от старика, ни на утренний холод. Время от времени их головы соприкасались, Крэкнелл оглядывался растерянно, бормоча обрывок псалма. «В душе моей мир и покой», — напевал он и в кои-то веки в этом не сомневался. Наконец он испустил долгий спокойный вздох: жизнь покинула его. Фрэнсис похлопал старика по руке и довольно произнес: «То-то», поскольку больше всего на свете любил, когда все шло так, как он и ожидал.

*Дом 2 на Лугу
Олдуинтер
22 июня*

Дорогой Уилл,

Сейчас четыре часа утра, настало лето. Я наблюдала в небе странное явление — Вы его видели? Кажется, это называется «серебристые облака». Снова знак!

Когда-то Вы мне выразили соболезнования из-за того, что я так рано потеряла мужа. Помню, я тогда еще пожалела, что Вы не сказали попросту: «Он умер». Я его не теряла. Я вообще тут ни при чем.

К чему соболезновать мне? Вы же его не знали. И меня Вы тогда тоже не знали. Наверно, Вас выучили этим добрым фразам, когда вручили первый воротничок.

Едва ли я сумею Вам объяснить, каково мне пришлось, — и я сейчас не о смерти (видите, как просто выговорить это слово!), но о том, что было до нее.

Когда он умер, меня охватили радость и смятение. Верите ли Вы, что можно одновременно испытывать столь разные чувства, причем оба — совершенно

искренне? Едва ли: это несовместимо с Вашими представлениями о том, что есть абсолютная истина и абсолютная правда.

Я была в смятении, поскольку не знала другой жизни. Я была совсем ребенком, когда мы познакомились, когда выходила за него замуж, меня еще не существовало: он создал меня, он сделал меня такой, какой я стала.

И в то же время — в то же самое время! — я буквально умирала от счастья. В жизни моей было мало радости, и я даже не представляла, что, оказывается, можно испытывать такое блаженство и не сойти с ума. В день, когда мы с Вами встретились, я бродила по лесу и у меня перехватывало дыхание от восторга.

Я знавала даму, которая жаловалась, что муж обращался с ней, как с собакой. Ставил тарелку с едой на пол. На прогулке командовал: «Рядом!» Если она вдруг подавала голос без спроса, сворачивал в трубочку газету, которую читал, и бил ее по носу. И все это при друзьях; они лишь смеялись и считали его шутником.

Знаете, что я чувствовала, когда она рассказывала мне об этом? Зависть. Потому что со мной никто и никогда не обращался, как с собакой. У нас была собака — прегадкое создание: как-то раз я поймала на нем клеща, и тот лопнул у меня в пальцах, как ягода. Майкл клал голову пса к себе на колено, хотя тот слюнявил ему брюки, трепал за ухо и при этом смотрел на меня. Иногда шлепал его по боку, снова и снова, и сильно: раздавался глухой звук. Пес катался по полу от восторга. Когда Майкл умирал, собака не отходила от него ни на шаг и не пережила его смерть.

Ко мне он никогда не прикасался с такой лаской. Я смотрела на пса и завидовала ему. Можете вообразить, что это значит — завидовать собаке?

Я на время уеду в Лондон. На Фоулис-стрит не вернусь: для меня там уже не дом. Поживу у Чарльза и Кэтрин.

Если не захотите отвечать, не надо.

С любовью,

Кора.

*Р. С. И о Стелле. Вам напишет доктор Гаррет.
Пожалуйста, не отказывайтесь от его помощи.*

4

Утром Джоанна пришла в церковь Всех Святых и увидела там отца. Вечер накануне удался: девочка вспоминала, как они с Мартой рассматривали чертежи новых домов в Лондоне, в которых по медным трубам будет течь чистая вода, она неплохо сыграла на пианино, она была в нарядном платье, она съела апельсин (на ногтях остались пятнышки от кожуры). Правда, мама очень устала, а отец все утро молчал, но ведь он сам сказал, что ему столько нужно обдумать.

В полутемной церкви Джоанна увидела, как отец, нагнувшись над почерневшей за долгие годы скамьей со стамеской в руке, резкими движениями стесывает вившегося по подлокотнику змея. Сложенные крылья чудовища уже отвалились и лежали на каменном полу, но змей все равно скалил зубы на врага.

— Нет! — воскликнула Джоанна — как можно уничтожать такую искусную работу! — подбежала и схватила отца за рукав: — Не надо! Не смей! Это же не твое!

— Это мой приход, и я за него отвечаю! Я буду делать то, что считаю нужным! — возразил он упрямо, словно не отец, а мальчишка, решивший настоять на своем. Но преподобный и сам заметил, как капризно прозвучали его слова, одернул рубашку и добавил: — Ни к чему это, Джоджо, не место ему здесь. Сама посуди: зачем он нужен?

Джоанна от огорчения не могла пошевелиться. Она погладила кончик хвоста, взглянула на стесанные крылья и расплакалась:

— Не смей ничего ломать! Так нельзя!

Она так редко плакала, что в любой другой день ее слезы остановили бы руку Уильяма Рэнсома, но сейчас ему казалось, будто его окружили враги, и он был намерен уничтожить хотя бы одного. Они обступали его по ночам, когда он лежал без сна: склонившийся над кушеткой чернобровый доктор, Крэкнелл с кротовыми шкурками, школьницы, которых разобрал смех, строгая Кора на топком берегу... А за нею — змей, под чьей мокрой шкурой бьется сердце. Уилл стесал прищуренный глаз и сказал:

— Иди домой, Джоанна, возвращайся к своим учебникам и не вмешивайся не в свое дело.

Джоанну так и подмывало ударить отца кулаком по голове. Впервые в жизни ее обурежала злость ребенка, который оказался мудрее и справедливее родителя. Но тут за их спиной дверь церкви отворилась, осветив проход, и на пороге показалась рыжая Наоми Бэнкс. Она задыхалась от бега, руки были по локоть в грязи.

— Он снова здесь! — прозвенел под сводами церкви ее голос. — Он вернулся, я же говорила, разве я вам не говорила! Я же говорила, что он вернется!

Когда Уилл добежал до болота, вокруг лежавшего там вороха одежды уже толпились зеваки. Голова Крэкнелла была так сильно вывернута влево и вверх, как будто он пытался заглянуть в лицо убийцы, и все единодушно решили: старику сломали шею.

— Давайте дождемся коронера. — Уилл наклонился и закрыл остекленевшие глаза. — Бедняга долго болел.

Поверх пальто, ровнехонько посередине живота Крэкнелла, между двумя рваными карманами, лежали серебряная вилка и серый камешек с дыркой.

— А это чьих рук дело? — Уилл обвел взглядом лица прихожан. — Кто и зачем сюда это положил?

Но никто не признался. Прихожане один за другим попятились, бормоча, что, дескать, они так и знали, тут что-то нечисто, они давно это подозревали, и в прилив лучше запирают двери на замок. Одна женщина перекрестилась, и преподобный бросил на нее суровый взгляд, поскольку давным-давно пытался отучить паству от суеверий.

— У него пуговица оторвана, — заметил Бэнкс и потрепал дочку по волосам. Но на его слова никто не обратил внимания: чудо, что у Крэкнелла вообще оставались пуговицы.

— Нашего друга унесла болезнь, но теперь он в лучшем мире, — произнес Уилл, надеясь, что последнее справедливо. — Наверняка он ночью вышел подышать воздухом, а может, заблудился и не смог найти дорогу домой. Сейчас не время рассуждать о змеях и чудесах — за доктором послали? — спасибо, накройте его лицо, и да упокоится он с миром; не на это ли мы все уповаем?

Фрэнсис Сиборн стоял чуть поодаль от толпы и то и дело похлопывал себя по карману, куда положил блестящую пуговицу с тисненым якорем. Кто-то расплакался, но Фрэнки это не интересовало. Он всматривался вдаль, где громоздились сизые тучи, так похожие на хребты гор в тумане,

что ему показалось, будто деревню вырвали из Эссекса и целиком перенесли в заморские края.

Милая Кора,

Я увидел эту открытку и вспомнил о Вас — правда, красивая? Вам нравится?

Я получил Ваше письмо. Спасибо. Скоро напишу. Стелла передает Вам привет.

Всегда Ваш,

Уильям Рэнсом.

Послание к Филиппийцам, 1:3–11.

Д-р Люк Гаррет

Королевская

клиническая больница

23 июня

Уважаемый мистер Рэнсом,

Надеюсь, у Вас все благополучно. Пишу Вам по поводу миссис Рэнсом, с которой мне довелось встретиться дважды. И оба раза я заметил следующее: температура значительно повышена, на щеках яркий румянец, зрачки расширены, сердце бьется часто и неровно, на руках сыпь.

К тому же, как мне показалось, у миссис Рэнсом слегка мутится разум.

Я настоятельно рекомендую Вам привезти миссис Рэнсом на прием в Королевскую больницу, где, как Вы знаете, я работаю. Мой коллега, доктор Дэвид Батлер, согласился принять Вашу жену. Он видный специалист по респираторным заболеваниям. Если Вы не возражаете, я тоже буду присутствовать. Быть может, понадобится хирургическое вмешательство.

Записываться заранее не нужно: вас будут ждать в любое удобное время.

Искренне Ваш,

Д-р Люк Гаррет.

Прп. Уильям Рэнсом
Дом священника,
Олдуинтер
Эссекс
24 июня

Дорогая Кора,

Надеюсь, все у Вас хорошо. Раньше написать не мог, хотя и собирался, но у нас тут случилось вот что: умер Крэкнелл.

Почему я так спокойно об этом пишу? Я знал, что он болен, я сидел у его постели за день до того, как он скончался. Он просил ему почитать, но мы не смогли отыскать в доме ни одной книги, кроме моей Библии, которую он, разумеется, слушать не пожелал. В конце концов я ему прочел на память стишок о Бармаглоте. Позабавил старика. Он все повторял: «Взы-взы!» — и смеялся.

Мы нашли его на болоте. Был прилив, и вода уже доходила до его сапог. Похоже, перед смертью он смотрел на что-то, нависавшее над ним, однако коронер сказал, что это не убийство. Он пролежал там всю ночь. Без него Край Света словно тонет в грязи. Джоанна решила, что мы возьмем себе Магога (а может, Гога), обвязала шею козы веревкой и привела домой. Теперь она в саду объедает Стеллины цветы. Сейчас вот на меня тараканится. Не нравятся мне эти зрачки-щелочки.

Деревня, разумеется, бурлит, детей не пускают на улицу. Говорят, что в ночь, когда это случилось, в небе видели странное голубое сияние, а одна женщина (мать маленькой Хэрриет, помните ее?) твердит, что раздралась завеса^[39]; из церкви ее теперь не выгнать. Не уследишь — влезет на кафедру. Представляете, что было бы, если бы она увидела фата-моргану, как мы с Вами? Нам и Бедлам показался бы раем.

Кто-то вешает подковы на Дуб изменника

(вероятно, Ивенсфорд: ему очень нравится бояться), а один из сельчан спалил свои посевы. Не знаю, что и делать. Что, если нас постигла кара? И если так, то что мы натворили и как нам искупить грех? Я принял это стадо и старался быть пастырем добрым, но что-то их толкает к обрыву.

Мне написал Ваш доктор-чертенок. Судя по письму, он прекрасный, решительный человек; я не сумел отказаться. Мы приедем в Лондон на следующей неделе, хотя Стелла выглядит полнее и спокойно спит по ночам.

И все равно на душе у меня нелегко. Доктор Гаррет показывал мне, что сделал бы с младенцем и матерью, если бы ему позволили, и это вызвало у меня отвращение. Не разрезы и швы, а его беспечность. Он говорил мне, что если я верю в бессмертие души, то собственное тело меня должно заботить не более, чем тушка кролика; мы всего лишь пассажиры, так он сказал. Еще он сказал, что чтит науку, поклоняется сосудам, частицам и клеткам, из которых мы состоим, а следовательно, из нас двоих варвар — это я!

С тех пор как Вы уехали, я читаю много, как школьник. Надеюсь, Вы не усмотрите гордыню в том, что я анализирую свои мысли, стараюсь привести их в порядок. Что пишет Локк? Мы все близоруки. Пожалуй, сейчас мне как никогда нужны очки со стеклами дюйма в три толщиной.

Я не согласен с тем, что моя вера — это предрассудок, идолопоклонство. Мне кажется, что Вы, пусть самую малость, но презираете меня за это (Ваш доктор так точно презирает!), и подчас был бы рад отречься от веры, лишь бы сделать Вам приятное, но вера моя разумна, а не слепа: Просвещение рассеяло мрак. Если разумный Творец поставил звезды на тверди небесной, нам следует их изучать: мы должны исповедовать разум и порядок!

Поверьте, Кора, за миром видимым таится нечто большее: недостаточно перечесть атомы, вычислить орбиту планеты, уточнить годы до возвращения

кометы Галлея. В нас бьется не только пульс, но что-то еще. Помните историю с французом, который привязал к фотографической пластине голубя и перерезал ему горло, чтобы запечатлеть, как душа вылетит из тела? Разумеется, это абсурд, и все же — ведь Вы представляете, как он стоит с ножом в руке, убежденный, что увидит душу?

Чем еще объяснить столь многое, что неподвластно разуму? Чем еще объяснить, с каким вниманием и любовью я предстою пред Господом?

Чем еще объяснить мое влечение к Вам? Моя жизнь совершенно меня устраивала. Я не ждал от нее ничего нового, никаких сюрпризов; я их и не искал. Я исполнял долг. Потом явились Вы; ведь Вы всегда казались мне дурнушкой (не обижаетесь?) — Ваши вечно растрепанные волосы, Ваши мужские наряды. Но я как будто выучил Вас наизусть, я словно всегда знал Вас и с самого знакомства делился с Вами всем, в чем не мог бы признаться больше никому, — и все это для меня суть «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»^[40]. Должно ли мне стыдиться или бояться? Вовсе нет. И не стану.

Что Вы на это скажете, отъявленная атеистка, отступница? Вы привели меня к Богу.

С любовью — и молитвой,
нравится Вам это или нет,

Уилл.

Прп. Уильям Рэнсом
Дом священника,
Олдуинтер
Эссекс
30 июня

Кора, Вы мне так ничего и не ответили — быть может, я позволил себе высказаться слишком

откровенно? Или, напротив, недостаточно откровенно?

Я боюсь за Стеллу. Иногда мне кажется, что у нее ум мутится, но потом она становится прежней и рассказывает мне, что в Сент-Осайте новый викарий и еще не женат, а в Колчестере открылась лавка, куда привозят пирожные прямоком из Парижа.

Весь день она что-то пишет в голубой тетрадке. Мне не показывает.

Завтра мы едем в Лондон. Помяните нас в помыслах.

Ваш во Христе,

Уильям Рэнсом.

5

Стелла вздрагивала под стетоскопом и дышала, как ей велели: по возможности глубоко, не обращая внимания на кашель. Начался приступ — не худший, но довольно сильный; она согнулась пополам и даже чуть-чуть описалась. Когда все прошло, попросила чистый носовой платок.

— Обычно бывает легче, — пояснила она и промокнула губы. Ей было жаль троих мужчин, которые хмуро ее рассматривали, — какая тревога на лицах! Неужели они никогда не болели? Уилл от волнения не смел поднять на жену глаза. Чертенок стоял поодаль, в углу, и все равно от его пристального взора не укрывалось ничего. Доктор Батлер, старший и на редкость обходительный, которому за долгие годы практики доводилось сживать у постели самых разных больных — бедных и богатых, вульгарных и безусловно воспитанных, — убрал стетоскоп и аккуратно поправил на пациентке блузку.

— Вне всякого сомнения, это туберкулез, — произнес он, заметив, как и полагал Люк, лихорадочный румянец на щеках Стеллы, — хотя, конечно же, нужно взять образец мокроты, чтобы узнать наверняка.

У Батлера была седая окладистая борода, словно в компенсацию за высокую куполообразную лысину (студенты шутили: это, дескать, оттого, что мысли в голове у доктора двигаются слишком быстро, а волосы за ними не успевают и не растут).

— Предводитель служителей смерти,^[41] — прошептала Стелла в

вышитые на платке незабудки.

Стелла не видела в осмотре никакого смысла: спроси ее, что с ней, она давным-давно бы все рассказала. В высоком открытом окне белело небо с полосой лазури.

— Я сама во всем виновата, — призналась она, но ее не услышали.

— Вы уверены? Но с чего? — спросил Уилл, не понимая, то ли потемнело в комнате, то ли у него в глазах от страха. Ему показалось, что в тени возле кушетки, на которой неподвижно лежала и улыбалась Стелла, что-то шевелится, а в палате пахнет рекой. — Никто из ее родных никогда ничем таким не болел. Как вы можете быть уверены? Стелла, скажи им.

Но как же он-то проглядел, неужели его настолько ослепила нависшая над Олдуинтером напасть?

— Доктор говорил, это грипп, все в деревне переболели, у всех после болезни была слабость...

— Родные тут ни при чем, — перебил Люк, — туберкулез не передается от отца к сыну. Его вызывают бактерии, вот и все. — Тут его охватила такая неприязнь к Уиллу, что он пояснил сварливо: — Бактерии, ваше преподобие, суть микроорганизмы, которые переносят инфекционные заболевания.

— Я бы предпочел удостовериться, — повторил доктор Батлер и бросил обеспокоенный взгляд на коллегу: Люк, конечно, не отличался хорошими манерами, но редко бывал так груб. — Миссис Рэнсом, не могли бы вы еще покашлять, совсем чуть-чуть, и сплюнуть в мисочку?

— Я родила пятерых детей, — несколько раздраженно ответила Стелла, — двое из них умерли. Разумеется, я могу плюнуть в мисочку.

Ей принесли железную кювету, в которой ясно отразился кусок неба. Стелла с трудом отхаркнула буроватую мокроту из легких и, изящно наклонив голову, протянула сосуд доктору Батлеру.

— Что вы будете с этим делать? — поинтересовался Уилл. — Для чего это нужно?

Как спокойно держится Стелла, как равнодушно взирает на то, что творится кругом! Это даже неестественно — должно быть, разновидность истерии; она ведь должна рыдать, просить его посидеть с ней рядом, поддержать ее за руку!

— Мы добавим в слюну краситель, чтобы бациллы были видны под микроскопом, — оживленно пояснил доктор Батлер, было видно, что случай его заинтересовал. — Быть может, мы ошибаемся и у миссис Рэнсом пневмония или другое, более легкое заболевание...

«Микроскоп!» — подумала Стелла. Джоанна выпрашивала у

родителей микроскоп, чтобы в него посмотреть на яблоки и лук, которые состоят из клеток, как дом из кирпичей.

— А можно мне тоже посмотреть? — спросила Стелла. — Покажете мне?

Доктору Батлеру не раз приходилось слышать подобные просьбы, хотя обычно те исходили от молодых мужчин, которым не терпелось взглянуть врагу в лицо. Кто бы мог подумать, что эта хрупкая белокурая женщина будет держаться так уверенно и спокойно. Хотя, конечно, отчасти это расстройство сознания: многие пациенты с таким диагнозом становятся невозмутимы, просто у нее этот симптом проявился рано.

— Подождите часок, и я вам все принесу и покажу, — пообещал Батлер, заметив, что муж пациентки явно хочет возразить. — Хотя, конечно, я надеюсь, что там не на что будет смотреть.

— Стелла, ну зачем тебе это? — взмолился Уилл. Слишком уж быстро все произошло: казалось, считанные минуты назад он зимним вечером возвращался домой с Края Света с висевшими на поясе кроликами, подарком от Крэкнелла, и смотрел на жену и детей, которые ждали его за освещенными окнами дома, — и вдруг мир разваливается. Он закрыл глаза и увидел в темноте яркий, блестящий от радости глаз змея.

— Так помолись за меня, — ответила Стелла, потому что пожалела мужа, да ей и самой этого хотелось.

Доктор Батлер унес накрытую миску, Чертенок ушел следом. Уилл опустился на колени подле ее кушетки. Но как тут молиться, посреди склянок и линз, раскрывавших любые тайны? Да и о чем ему просить Бога? Наверняка недуг давным-давно поселился в теле Стеллы, а они пребывали в счастливом неведении, и что же, ему молиться о том, чтобы время обратилось вспять? А если так, то к чему останавливаться на этом, отчего бы не попросить, чтобы восстали из мертвых все, кто когда-либо скончался в Олдуинтере? Так ли уникальна и драгоценна жизнь Стеллы, чтобы Господь смилостивился над нею, в то время как сам принял крестную муку? Но Уилл понимал, что все эти рассуждения достойны мальчишки из воскресной школы, который замыслил шалость, он же молит Всевышнего не о пощаде, но о даре смирения.

— Да будет воля Твоя, а не моя, — произнес Уилл. — Господи, прости и помилуй нас.

Наконец вернулись доктора и с угрюмым видом отвели Уилла в сторонку, словно болен был он, а не Стелла. Ему шепотом сообщили диагноз, точно в детской игре, так что до Стеллы весть дошла разбавленной до прозрачности: «Милая, ты нездорова, но тебя вылечат».

— Чахотка, — оживленно проговорила Стелла. — Белая смерть. Туберкулез. Скрофула. Я знаю, как это называется. Зачем вы от меня скрываете? Говорите как есть.

Ее будущее запеклось на предметном стекле, и после уговоров ей принесли микроскоп.

— Только-то? — удивилась Стелла. — Похоже на рисинки.

На нее снова напал приступ кашля и оставил без сил, так что Стелла могла только, вцепившись в грубый подлокотник кушетки, слушать, чего следует ожидать.

— Ее необходимо максимально изолировать, а детей лучше всего отослать из дома, — говорил Люк без всякой жалости: что толку миндаляничать, если недуг смертелен?

— Не торопитесь, подумайте сколько нужно, мистер Рэнсом. Я понимаю, такой удар... — сказал доктор Батлер. — Но медицина не стоит на месте, и я бы порекомендовал инъекции туберкулина, его недавно открыл Роберт Кох, немецкий ученый...

Уилл, еще толком не опомнившийся от потрясения, представил, как иглы пронзают нежную кожу Стеллы, и у него закружилась голова. Он повернулся к Люку Гаррету и спросил:

— А вы? Что вы скажете? Пошлете ее под нож?

— Возможно, лечебный пневмоторакс...

— Доктор Гаррет! — ошарашенно перебил Батлер. — И слышать не желаю! Эту операцию делали всего двум или трем больным, и то не у нас, а за границей, а сейчас не время ставить опыты.

— Я не хочу, чтобы вы к ней прикасались! — Уилла снова охватила дурнота: он вспомнил, как Чертенок склонился над Джоанной и что-то ей шептал.

Гаррет обернулся к пациентке:

— Миссис Рэнсом, позвольте я вам все объясню. Это довольно просто, уверен, вы все поймете. Когда в поврежденное легкое поступает воздух, оно обмякает в грудной клетке, точно сдувшийся шарик, но операция существенно облегчит симптомы, и вы начнете выздоравливать...

— Моя жена — не труп из вашей анатомички! А вы рассуждаете о ней как о ливере в витрине мясной лавки!

Люк потерял терпение.

— Неужели вы из-за собственной гордыни и невежества осмелитесь подвергнуть ее жизнь еще большей опасности? Отчего вы боитесь времени, в котором родились? Вы бы предпочли, чтобы ваши дети ходили рыбые от оспы, а в воде кишела холерная палочка?

— Господа, — в отчаянии воззвал доктор Батлер, — будьте же благоразумны! Ваше преподобие, мистер Рэнсом, коль скоро уж вы привезли жену сюда, она теперь моя пациентка, и я настоятельно советую вам подумать об инъекциях туберкулина. Разумеется, вам не нужно принимать решение сию минуту, время пока есть, но все же не затягивайте. Нужно успеть до того, как начнутся кровотечения, — а я боюсь, что они начнутся.

— А как же я? — Стелла приподнялась на локте, пригладила волосы и продолжала, нахмурясь: — Меня вы не хотите спросить? Уилл, разве это не мое тело? Разве не я больна?

Июль

1

В Олдуинтере пропала Наоми Бэнкс. Ушла из дома в день, когда обнаружили Крэкнелла, оставила записку: «ПОРА НЕ ПОРА, ИДУ СО ДВОРА» — с тремя поцелуйчиками на обороте. Безутешный Бэнкс плавает по Блэкуотеру. «Сперва жена, потом лодка, а теперь еще и это, — говорит он. — Выпотрошили меня как рыбку». Обыскали все дома в деревне, но ничего не нашли, хотя бакалейщик уверяет, что на неделе недосчитался выручки, так не могла ли девочка напоследок запустить руку в чужую мошну?

Деревня настороже. Никакие коронеры из Колчестера не заставят жителей поверить — дескать, Крэкнелл умер потому, что остановилось его старое сердце, ведь ясно как день, это проделки змея. Повсюду ищут знаки и находят: ячмень не уродился, куры не несутся, а молоко норовит скиснуть. Дуб изменника так увешали подковами, что ветки того и гляди сломаются, стоит налететь ветру. И даже те, кто в глаза не видел ночного сияния, описывают, как оно стояло в ту ночь над лугом и как река подернулась голубой рябью. В Сент-Осайте утонул человек. «Я же говорил, — твердит каждый. — Я же вам говорил».

По ночам на болотах теперь дежурят. Караульные сидят у костров и записывают в журнал: «02.00 пополуночи, ветер юго-восточный, видимость хорошая, отлив. Ничего подозрительного не наблюдалось, только с 02.46 по 02.49 раздавались тихий скрежет и стон». Бэнкса в дозор не берут, поскольку, раз Наоми пропала, он, скорее всего, напьется с горя.

Детям Олдуинтера вовсе не по душе, что их держат взаперти. В одном из домов для бедняков мальчишка так одурел от скуки, что укусил мать за руку.

— Вот видите, — сказала та, демонстрируя Уиллу отпечатки зубов, — я сразу поняла: что-то будет, когда в дом залетела малиновка. Это из него змей лезет. — И, оскалившись, зашипела на преподобного.

Стелла сидит дома, каждый день пишет в голубой тетради («Мне бы хотелось, чтобы меня крестили заново в голубой воде в ясную голубую ночь»), но стоит Уиллу зайти в комнату, как она тут же закрывает свой дневник. Ей то лучше, то хуже, день на день не приходится. Стеллу навещают знакомые — слышали о женщине и о том, что случилось?

правда, смешно? вы прекрасно выглядите, как никогда; где вы нашли такие красивые яркие бусы? — и уходят, качая головой и протирая руки обеззараживающим средством. «Она не в себе, — говорят они, — она мне призналась, что иногда во сне до нее доносится голос змея! И он зовет ее по имени!» И потом: «Что, если она и вправду его видела? Как думаете? Вдруг там действительно что-то есть?»

Уилл словно ходит по канату. Тонкому, натянутому над пропастью. С одной стороны, он и слышать не желает об этой напасти, об этом презренном суеверии: где это видано, чтобы слухи обрели плоть и кровь? Его долг — развеивать предрассудки. Он пылко читает молитву: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах»,^[42] но прихожане в этом явно сомневаются. Их не стало меньше, но они озлобились и часто отказываются петь. Никто и словом не обмолвился о разбитом подлокотнике скамьи, где по-прежнему можно разглядеть остатки хвоста, однако все рады, что чудища больше нет.

С другой стороны, ночами Уилл лежит без сна и гадает: что, если это кара? Стелла спит в другом конце коридора. Видит Бог, за ним водятся прегрешения (он вспоминает, как стоял на болоте, согнувшись пополам от похоти). Что, если у змея из Эссекса и его имя значится в списках?

От Кору нет вестей. Он думает о ней. Порой ему мерещится, что она прокралась к нему ночью и вставила свои глаза в его глазницы, чтобы он увидел мир так, как видит она. Стоит ему теперь взглянуть на комок земли в саду, как тут же хочется его раскрошить и посмотреть, нет ли чего внутри. Его так и тянет рассказать ей обо всем, но это невозможно, и ткань жизни кажется тонкой, тусклой. «За книжный шкаф в кабинете залетела стрекоза, — пишет он ей, — и так стрекочет крылышками, что я думать не могу». Но потом выбрасывает лист бумаги.

Кора письма читает, но ничего не отвечает. Она с Мартой и Фрэнсисом уехала в Лондон. «В это время года там чудесно», — говорит она и бездумно тратит деньги на дорогую гостиницу, изысканные кушанья, на туфли, которые ей не нравятся и которые она никогда не наденет. Она заглядывает на бокал вина с Люком Гарретом в «Гордонс» на набережной, где со стен капает вода на свечи, а на все вопросы о преподобном лишь надменно отмахивается. Но Гаррета не проведешь, и он бы обрадовался куда больше, продолжай Кора по-прежнему через слово с оживлением поминать Уилла.

Если Люк и Марта ожидали, что влюбятся друг в друга или же, напротив, станут друг друга презирать после того, что случилось в праздник солнцестояния, то оба очень ошиблись. Вместо этого они

испытывают облегчение, словно солдаты, сражавшиеся бок о бок в смертельной битве, и к той ночи не возвращаются не то что в разговоре, а даже в мыслях. Тогда иначе было нельзя, вот и всё. С общего молчаливого согласия было решено оставить Спенсера в неведении: Люк его очень любит, а Марте он очень полезен — он собрал вокруг себя влиятельных и состоятельных политиков. По его мнению, в Бетнал-Грин следует построить новые дома, к жильцам которых никто не станет предъявлять моральных требований и в которых будут хоть какие-то удобства, а не просто крыша над головой.

Марта и Эдвард Бертон едят жареную картошку в Лайм-хаусе и обсуждают проекты, пока корабли из Новой Зеландии разгружают в порту мороженую баранину. Мы сделаем то-то и то-то, говорят они, по-свойски облизывая соленые пальцы, и не замечают, что каждый из них включил другого в планы на будущее. «Мне всего лишь приятно ее видеть», — поясняет Бертон матери, однако ту обуревают сомнения: девушка, вообще-то, хорошая, но уж больно задирает нос, да и выговор у нее как у образованной.

А вот чего Эдвард не замечает, когда в тот вечер возвращается домой с Мартиным журналом в руке, так это человека, который некогда ранил его ножом в тени собора Святого Павла и теперь караулит в переулке. Сэмюэл Холл поджидает его с тех самых пор, как Бертон выписали из больницы, — в другом пальто, но в кармане у него все тот же нож с коротким клинком, который с такой легкостью вонзается между ребер. Он уже с трудом вспоминает, из-за чего ополчился на Бертон, — кажется, они повздорили из-за женщины? — да и какая, в сущности, разница. Им движет лишь ненависть, подогреваемая выпивкой и бездельем; однажды его месть не удалась, и теперь он с нетерпением ждет случая довершить начатое. А то, что Эдвард Бертон стал любимцем богачей и те так часто его навещают и засиживаются так подолгу, лишь укрепило решимость Холла расправиться с ним, теперь все они стали его врагами. Он наблюдает, как Бертон стряхивает соль с рукава, вставляет ключ в замок и зовет мать, которая его ждет. «Значит, не сегодня, — думает Холл и прячет нож, — не сегодня, но скоро».

На похороны Крэкнелла приходит целая толпа, ведь никого не любят так сильно, как мертвых. Джоанна поет «Великую благодать», и у всех собравшихся в доме Господа глаза на мокром месте. Кора Сиборн прислала венок, который, как все догадались, стоил целое состояние.

Уилл полюбил гулять и часто ловит себя на мысли, что, по статистической теории, он вполне может оказаться там, где ступала нога

Коры. На прогулке преподобный размышляет, как ему быть, и никак не может прийти к окончательному выводу. Стоит ему подумать о Коре, как его обуревают противоречивые чувства. Он так спокойно ее любил, что даже апостолы восхищались бы его братской любовью, им словно удалось устроить рай на этом грязном клочке земли, но потом все переменялось. Он никак не может забыть, как выгнулась ее талия под его ладонью и что случилось потом, и ему стыдно, хотя и не настолько сильно — думает Уилл, — как следовало бы.

И есть еще Стелла, такая кроткая и безмятежная в голубом хлопковом платье, что, когда ее сзади заливает свет, посрамила бы святых с витражей. Она то рассуждает о жертве и лежит так тихо, словно ее возложили на алтарь, то оживляется и ночами пишет в голубой тетради. Что ему делать с нею? Он представляет иглу и скальпель в руках хирурга, и все его существо сжимается. Он радуется, что Господь устроил все так разумно, но не верит в зыбучие пески людского мастерства. И вот почему: человеку свойственно ошибаться. Достаточно вспомнить, какие разгорелись споры, когда Галилей заявил, что Земля вращается вокруг Солнца, или предположения, что мужчина помещает скрюченного гомункула в утробу своей жены. Пусть наука сколько угодно выпячивает грудь и заявляет: «На этот раз все правильно», но должен ли он рисковать жизнью Стеллы?

Уилл торгуется с Богом, как некогда Гедеон. «Если Ты не хочешь, чтобы ее лечили, дай мне знак, помешай этому так, чтобы я понял», — молит он и сам замечает в своих словах логическое противоречие, но пусть: отчего бы Господу не воспользоваться как своим орудием логикой? В воскресенье Уилл всходит на кафедру и напоминает пастве о том, как Моисей в пустыне воздел к небу деревянный жезл, вокруг которого обвился гигантский змей, и о том, что это дало евреям надежду.

В конце июля ночные стражники оставляют свой пост.

*Люк Гаррет
Пентонвилль-роуд
27 июля*

Уже поздно, и Вы подумаете, что я пьян, но рука моя тверда: я сумел бы защитить человека, распоротого от горла до пупа, и не пропустить ни стежка!

Кора, я люблю Вас. Нет уж, послушайте меня: Я ВАС ЛЮБЛЮ. Я знаю, что не раз говорил Вам это, и Вы улыбались, принимая мои чувства, потому что я для

Вас всего лишь Чертенюк, всего лишь друг, не о чем и беспокоиться, этот камень не возмутит Ваши тихие воды, Ваше невыносимое спокойствие и СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ, с которой Вы ко мне относитесь, — пожалуй, порой Вы даже по ошибке принимаете ее за любовь, когда мне удастся чем-то Вас позабавить или показать Вам какой-нибудь ловкий трюк, точно я собака, которая тащит хозяйке обгрызенную палку...

Но я все же хочу, чтобы Вы поняли. Я должен Вам это сказать. Я ношу Вас в себе, как опухоль, которую впору вырезать, — она тяжелая, черная, она БОЛИТ и испускает что-то мне в кровь, на расстроенные мои нервы, а если ее вырезать, я не выживу!

Я люблю Вас. Я полюбил Вас с той минуты, как Вы вошли в светлую комнату в грязном платье, взяли меня за руку и сказали, что никому из докторов, кроме меня, это не под силу, — я любил Вас, когда Вы спрашивали, сумею ли я спасти его, я уже тогда понимал: Вы надеетесь, что не сумею, и сознавал, что не стану и пытаться... Я люблю Ваше траурное платье, пусть оно и обман, я люблю Вас, когда вижу, как Вы пытаетесь заставить себя полюбить сына, я люблю Вас, когда Вы обнимаете Марту, я люблю Вас, подурневшую от слез и усталости, я люблю Вас, когда Вы надеваете бриллианты и разыгрываете из себя красавицу... Неужели Вы полагаете, что кто-то другой сумеет изучить все Ваши образы, как изучил их я, и с одинаковой силой полюбит каждую Кору?

Я пытался перемочь свою любовь — и когда Майкл умирал, точно святой грешник, в той комнате с открытыми шторами, и когда он наконец отправился туда, откуда пришел. Я пытался любить Вас так, чтобы и самому уцелеть, я не мечтал сделать Вас своею, я уступил Вас этому Вашему новому другу, и все равно меня мучит бессонница, потому что стоит мне сомкнуть глаза, как Вы тут как тут и просите меня о таком, что я просыпаюсь, чувствуя во рту Ваш вкус, хотя за все это время не позволил себе большей

дерзости, чем положить ладонь Вам на плечо... Вы называете меня Чертенком, но я вел себя как ангел!

Не отвечайте мне. Не приезжайте. Мне это не нужно. Я не поэтому Вам пишу. Неужели Вы думаете, что моя любовь умрет без Вашего подаяния? Неужели Вы полагаете, что я не сумею смириться? Что это, как не смирение: я признаюсь Вам в любви, понимая, что она безответна. Вот до какого унижения я готов пойти.

Это все, что я могу Вам дать, но и этого мало.

ЛЮК.

Я звездная Стелла он так сказал! Стелла моя звезда бескрайних синих морей!

Я сделала собственный требник мою священную книгу с голубыми чернилами на голубых страницах сшитую голубыми нитями голубыми как голубая кровь в голубых венах.

У МЕНЯ ЗАБРАЛИ ДЕТЕЙ!!!

Двое моих детей родились синими трое выжили и никого из них не осталось под моей крышей!

Меня хотят тыкать ножами иглами давать мне капли чайные ложки этого и того а я сказала нет не надо не буду я ничего этого принимать нет оставьте меня в покое с моими голубыми вещами с моими кобальтовыми бусинами с моим ляписом моими черными жемчужинами которые на самом деле голубые с моей чернильницей голубых чернил моей банкой голубой краски моими лентами цвета индиго моей королевской юбкой моими васильками моими анютиными глазками

Я стойко переношу все тяготы ибо было сказано буду переходить через реки они не потопят меня!

Пойду ли через огонь не обожгусь и пламя не опалит меня!^[43]

Август

1

Ничто так не склоняло Чарльза Эмброуза к дарвинизму, как прогулка по узким улочкам Бетнал-Грин. Он видел не равных себе, которые оказались тут по неудачному стечению обстоятельств, а существ, от рождения обреченных на проигрыш в эволюционной гонке. Он смотрел в их бледные худые лица, на которых читалось угрюмое недоверие, словно создания эти ждали, что их в любую минуту могут пнуть, и думал, что здесь им самое место. Ему и в голову не могло прийти, что если бы с ранних лет их учили грамматике и кормили апельсинами, то в один прекрасный день эти люди очутились бы рядом с ним в «Гаррике», — что за дикость, в самом деле! Раз они не могут приспособиться к трудностям, следовательно, обречены на вымирание. Почему здесь так много малорослых? Почему они орут и визжат с балконов и из окон? Почему даже в полдень здесь столько пьяных? Чарльз, в изящном льняном сюртуке, повернул в переулок, и ему показалось, будто он смотрит на здешних обитателей сквозь железные прутья. Это вовсе не значило, что он им не сочувствовал, — даже животным в зоопарке нужно чистить клетки.

Августовским днем у Эдварда Бертона собрались четверо — Спенсер, Марта, Чарльз и Люк. Они намеревались пройтись по Бетнал-Грин, трущобы и притоны которого парламент задумал снести и построить на их месте чистые удобные дома.

— Это, конечно, хорошо, что закон принят, — сказал Спенсер, не подозревая, что слово в слово повторяет Марту, — но вы не задумывались, насколько еще вырастет детская смертность, пока его наконец претворят в жизнь? Нам нужны действия, а не законы!

Мать Эдварда подала лимонное печенье на блюде, с которого строго глядела королева. Миссис Бертон тревожило, что сын устал. В такой компании он все больше отмалчивался и отвечал лишь на тихие Мартинины ремарки: «Не болит ли рана? Будьте так добры, покажите Спенсеру планы новых домов».

— То, что нужно, — заметил Спенсер, хотя в действительности ничего в этом не смыслил, и разгладил белый лист бумаги, на котором Эдвард старательно начертил, как умел — при том, что никогда этому не учился, — окруженный садом многоквартирный дом. — Если позволите, я возьму его

с собой, покажу коллегам. Не возражаете?

Люк Гаррет дожевывал пятое печенье да озираал комнату, восхищаясь чистоплотностью миссис Бертон.

— Марта не успокоится, пока на Тауэр-Хилл не построят утопию Томаса Мора, — заметил он, слизнул сахар с большого пальца и обвел веселым взглядом ряды островерхих крыш за окном.

Написав Коре, он словно вскрыл нарыв: быть может, со временем станет больно, но сейчас он испытывал облегчение. Все, что он написал ей, было правдой, — по крайней мере, пока не положил перо. Он действительно не ждал ответа, ничего не требовал и не предлагал и не считал, что ему что-то причитается. Как знать, быть может, назавтра эйфория пройдет, но сейчас у Люка от счастья кружилась голова и настроен он был благодушно. Порой он представлял, как почтальон везет запечатанный конверт в мешке на багажнике велосипеда, и беспокойно гадал, как Кора примет его письмо: посмеется ли, расчувствуется, а может, оставит без внимания и будет жить как ни в чем не бывало? Скорее последнее, думал он; вывести Кору из терпения было не так-то просто, впрочем, как и растрогать: она ко всем относилась ровно, с одинаковой симпатией.

— Тогда вперед, в трущобы! — бодро воскликнул Чарльз и надел пальто, вспоминая, как давным-давно они с приятелем однажды вечером переоделись в женское платье, отправились в трущобы и слонялись под фонарями, приставая к прохожим.

— Вас могут попытаться облапошить, — напутствовал Эдвард Бертон (он еще недостаточно окреп, чтобы вернуться на работу в Холборн-Барс), — так что держите ухо востро, и тогда благополучно вернетесь домой целыми и невредимыми.

Они вышли довольно рано. Рабочий день на фабриках и в конторах еще не закончился, и в переулках стояла такая тишина, что было слышно, как в сотнях ярдов отсюда грохочут на стрелках поезда. Высокие дома загоразивали свет, висевшее над головами прохожих белье никогда не отстирывалось дочиста. Лето выдалось мягкое, но отчего-то с трудом пробивавшиеся скудные солнечные лучи здесь пригревали жарче, чем где бы то ни было, и вскоре Мартино платье промокло между лопатками. Скользкие от объедков тротуары источали сладковатый запах гнили. Квартиры в некогда роскошных особняках поделили на клетушки и сдавали по ценам, несоизмеримым с доходами жильцов, комнаты пересдавали снова и снова, так что в одной квартире ютились вовсе не члены одной семьи, а чужие люди, ругавшиеся из-за чашек, тарелок и квадратных футов. Меньше

чем в миле отсюда, за грифонами Сити, домовладельцы, их адвокаты, портные, банкиры и шеф-повара интересовались лишь суммой под столбцами грессбухов.

Марта всюду видела признаки, внушавшие ей надежду, хотя другие их не замечали; она то и дело кивала и улыбалась, потому что все встречные казались ей знакомыми. Вот женщина в ярком жакете вышла из-за кружевной занавески, чтобы полить герань на подоконнике, и выбросила опавшие лепестки, которые, порхнув, опустились в сточной канаве рядом с разбитой пивной бутылкой. Вот польские рабочие, которые приехали в Лондон на заработки и обнаружили, что если Дику Уиттингтону и наврала насчет выложенных золотом мостовых, то хотя бы зимы тут мягче, а в порту всегда кипит жизнь. Шумные, оживленные, стоят попарно, прислонившись к дверям, в кепках, сдвинутых набекрень, передают друг другу польскую газету и курят черные папиросы. А вот шагает на остановку автобуса еврейское семейство, о чем-то оживленно переговариваясь; на девочках красные туфельки. А вот по другой стороне дороги идет индианка в крупных золотых серьгах.

Но даже Марта не могла не признать, что зачастую взору здесь являлось жалкое зрелище: молодая мать сидит на крыльце и с завистью смотрит, как двое детей жуют дешевый белый хлеб с маргарином; кучка мужчин наблюдает, как готовят к бою бульдога, — тот вцепился в веревку и висит на зубах над землей. Кто-то выбросил номер «Вэнити Фэйр», с обложки безмятежно улыбается актриса в желтом платье, а рядом с журналом в канаве сучит лапками остроглазая крыса. Проходя мимо мужчин с собакой, Марта не удержалась и смерила их гадливым взглядом. Мужчина с закатанными по локоть рукавами — виднелась расплывшаяся татуировка — притворился, будто сейчас бросится на нее, и расхохотался, когда Марта отшатнулась. Люк, знавший изнанку города куда лучше, чем хотел показать, решил проявить себя рыцарем и пошел ближе. Спенсеровы рассуждения о социальной ответственности его забавляли.

— Получится ли? Не может не получиться. — Марта указала на шагавших впереди Чарльза и Спенсера, те брезгливо пробирались среди гнилых фруктов, над которыми вилась мошкара: — Должен же он понять, что здесь жить нельзя, хотя бы из простой гуманности и здравого смысла!

— Что уж тут непонятного. Он, конечно, глуповат, но добр. Здравствуй, красавица, — Люк улыбнулся девице в кудрявом парике, которая выглянула из дверей, бросила на него призывный взгляд и послала воздушный поцелуй. — Вы же знаете, он ради вас так старается. Если бы вы его попросили, он раздал бы все свое состояние нищим, а без вас их бы

и не заметил...

Марта хотела возразить, но потом решила: после всего, что было, Чертенок заслужил ее откровенность.

— Вы ведь меня не осуждаете, правда же? Я ему никогда ничего не обещала, да и его семья едва ли согласилась бы на такую партию, но одна я ничего не сумею сделать. У меня нет денег, к тому же я женщина, существо безъязыкое.

Они дошли до дворика, со всех сторон окруженного многоэтажными домами. Люк посмотрел на друга, увлеченного неразрешимой проблемой лондонского жилья. Спенсер стоял, сложив на груди руки, и что-то негромко говорил Эмброузу, но тот слушал вполуха: внимание его привлекла девочка в костюме феи, которая сидела на крыльце и курила папиросу.

— Он вступил в Социалистическую лигу и уверяет, что Уильям Моррис уже поручил ему какое-то задание. Не пора ли вам охладить его пыл, Марта?

Девочка в костюме феи затушила папиросу и закурила новую; крыльшки у нее за спиной задрожали, и с них слетело перо.

В душе Марты шевельнулось чувство вины.

— Я всего лишь его друг, — отрезала она. — Он же не марионетка, у него есть своя голова на плечах, вот послушайте...

— Все эти новые дома на набережной Темзы, — вещал Спенсер, — которыми они так гордились: дескать, вот вам доказательство прогресса! — вы их видели? Не квартиры, а клетки. Теснота такая, разве что на головах друг у друга не сидят, в некоторых комнатах нет окон, а те, в которых есть, размером не больше почтовой марки, собачья будка и то уютнее.

Спенсер бросил взгляд на подошедшую к ним Марту, которая, не сдержав раздражения, вмешалась в разговор:

— Да вы только посмотрите на себя, Чарльз. Вам не терпится вернуться домой, к Кэтрин, вашим бархатным домашним туфлям и вину, один глоток которого стоит больше, чем эти бедолаги тратят за неделю. Для вас они существа другого вида, вы уверены, что они сами во всем виноваты, потому что безнравственны и глупы. Посели их хоть во дворец, и они его за неделю загадят — так, по-вашему? Что ж, быть может, вы правы: они действительно не такие, как вы, потому что подобные вам жалеют каждый пенни, который тратят на налоги, а они, у которых ничего нет, готовы делиться последним, — нет, Люк, я не стану молчать, вы что же думаете, если Кора научила меня, какой вилкой есть рыбу, так я забыла, откуда родом?

— Милая моя Марта, — Чарльзу Эмброузу удавалось сохранять хорошие манеры в общении и с куда более неприятными собеседниками, к тому же он отлично понимал, что она его раскусила, — мы знаем ваши взгляды и восхищаемся ими. Я видел достаточно, и если вы позволите мне вернуться в естественную среду обитания, то приложу все усилия, чтобы выполнить любые ваши распоряжения. — Заметив, что его шуточный поклон не произвел на нее впечатления и Марта по-прежнему кипит гневом, Чарльз добавил с заговорщицким видом, словно разглашал государственную тайну: — Вы же знаете: парламент утвердил законопроект. Необходимые политические меры приняты. Нужно действовать дальше.

Марта расплылась в самой обворожительной улыбке, на какую только была способна, потому что Спенсер чуть отодвинулся от нее, как будто засомневался в чувствах к женщине, которая способна накричать на высокопоставленного чиновника, а еще потому что Люк наблюдал за происходящим с нескрываемым злорадством.

— Действовать дальше! Ах, Чарльз, прошу меня извинить. Мне, верно, следовало досчитать до десяти, как советуют, — но что это? Слышите?

Все дружно обернулись: из глубины узкого переулка доносились звуки шарманки. С каждым поворотом ручки сбивчивая мелодия набирала темп, пока не превратилась в бравурный воинственный напев. Девочка в костюме феи со всех ног побежала на звуки музыки, крылышки у нее за спиной тряслись. Наконец из переулка вышел шарманщик, и его тут же обступили дети, точно просочились из щелей в кирпичах и известке. Одни были босые, другие в подбитых гвоздями сапогах, высекавших искры из мостовой; два белокурых мальчишки несли каждый по котенку, а за ними с делано равнодушным видом шагала девочка постарше в белом платье. Стоявший в стороне Чарльз увидел, что шарманщик примерно его лет, в лохмотьях солдатского мундира с нашитой на груди малиново-зеленой лентой медали за войну в Афганистане,^[44] пустой левый рукав заколот у локтя. Правой рукой инвалид все быстрее и быстрее крутил ручку шарманки и наконец заиграл джигу. Девочка в белом платье закружилась, рассмеялась и подала Гаррету руку, один из мальчишек поднял котенка в воздух и запел ему что-то собственного сочинения. Марта взглянула на Спенсера, заметила его недоумение и страх, и ее охватило презрение: ему-то, наверное, казалось, что все эти бедолаги должны смиренно горевать и даже не помышлять о развлечениях!

— Вставайте по парам, — крикнул солдат, — как вам такое?

Он заиграл не военный марш, а песенку, которую мог бы затянуть

матрос, завидевший вдалеке землю. Марта протянула руки проходившему мимо парнишке, тот посадил котенка на крыльцо и принялся кружить ее с неожиданной силой, которую невозможно было заподозрить в его худых руках. Спенсер видел лишь, как развеваются ее пшеничные косы на фоне закопченных кирпичных стен. «Все на брашпиль, матросы, поднять якоря, — пела девочка в белом платье, — мы сегодня отходим в Австралию!» — и, проходя мимо Чарльза, кивнула ему, словно приняла комплимент, которого он и не думал отпускать.

Чуть поодаль, из переулка, невидимый никому, за ними следит враг Эдварда Бертона. Одурев от пива и злобы, Сэмюэл Холл каждое утро просыпался оттого, что ненависть резала его нутро, точно острый нож. Каждый день он караулил у дома Бертона и за это время видел и врага, и частых его посетителей, чье богатство так бросалось в глаза, словно Бертон попал в палату Королевской больницы нищим, а вышел из нее королем. Откуда же гостям знать, как он жесток, как отравил единственную надежду Холла на счастье? И хуже того, в «Стандард» напечатали статью об операции, лишившей Холла надежды на возмездие, две хвалебные колонки и фотография хирурга — глаза злющие, вылитый черт. Ненависть к Бертому вспыхнула с двойной силой, распространившись и на врача: как тот посмел вмешиваться в Божий замысел? Нож вонзился в плоть, ранил сердце, тут бы Бертому и конец, а он, Холл, обрел бы покой!

А вот и он, тот самый врач, — чернобровый, сутулый, с тремя спутниками. Женщину Холл узнал по короне густых кос, двое же других были ему незнакомы, хотя видел их у дверей дома Бертона, потом у него в окне, они передавали друг другу тарелки с угощением, тогда как ему самому кусок в горло не лезет, они смеялись, тогда как его мучениям нет конца-краю! Он следовал за ними по пятам, смотрел, как они танцуют, когда у него на душе кошки скребут. Холл сунул руку в карман, уколол палец о лезвие спрятанного там ножа. Он свершит возмездие, даже если до Эдварда Бертона добраться не суждено.

Солдат перестал играть: рука устала, и в наступившей тишине танцоров вдруг охватило смущение, ветхие дома и сточные канавы показались им еще более жалкими, грязными и унылыми, чем прежде. Люк снял руку с талии девочки и отвесил ей сконфуженный поклон. «Вместо гребня у них кости трески», — призывно пропела она солдату, но тот утомился и дальше играть не хотел.

Чарльз взглянул на часы. Что ж, забава не лишена очарования, хотя, пожалуй, в отчете министерству он об этом не упомянет, но сейчас ему хотелось поужинать, а до этого счастливого завершения дня еще и

полежать минимум час в ванне. «А может, — подумал он, не очень-то стыдяться, — и сжечь одежду».

— Спенсер, Марта, по-моему, мы видели достаточно. Мы выполнили свой долг. Но кто это — вон там, смотрите? Доктор Гаррет, по-моему, ему нужны вы. Это ваш друг? — Эмброуз указал направо, но Люк сперва не заметил никого, кроме расходившихся детей и солдата, пересчитывавшего медяки в фуражке. Но вдруг девочка с крыльями взвизгнула и выругалась: ее так грубо отпихнули, что она упала.

— Что происходит? — спросил Чарльз и запахнул поплотнее сюртук. Неужели карманники? Кэтрин его предупредила, что нужно быть осторожнее! — Спенсер, как думаете, что там?

Ребачья стая расступилась, котенок вырвался из хозяйских рук, забрался на подоконник и разразился истошным мявом. Тут Чарльз увидел, что на них, набычась и засунув одну руку в карман, надвигается какой-то коротышка в коричневом пальто. Марта решила, что у человека стряслась беда, она шагнула к незнакомцу, протянув руки:

— В чем дело? Что случилось? Чем вам помочь?

Сэмюэл Холл в ответ лишь припустил бегом, и все поняли, что ему нужен Люк, поскольку он подбежал к хирургу, который бросил на него удивленный взгляд и весело хлопнул по плечу:

— Кто вы? Мы с вами где-то встречались?

Холл что-то забормотал себе под нос, то наполовину вытаскивая руку из кармана, то запихивая поглубже, словно никак не мог решить, что делать. Из рта у него несло пивным перегаром.

— Нечего было вмешиваться не в свое дело, это несправедливо, теперь и с вами будет то же, что с ним, сейчас я вам покажу!

Люк, как ни силился, не мог оттолкнуть Холла, который прижал его к кирпичной стене, и огляделся по сторонам: не придет ли кто на помощь? Спенсер бросился другу на подмогу, схватил обидчика за плечо и оттащил от Люка. Холл зашелся в пьяных рыданиях, то и дело сбивавшихся на смех, поднял глаза и произнес:

— Ну что ты будешь делать! Опять вырвали у меня из рук!

— Бедняга спятил, — покачал головой Чарльз, глядя на сидевшего в сточной канаве незнакомца. Но тут Холл достал из кармана нож. — Осторожно! — воскликнул Чарльз, чувствуя, как волосы на затылке встали дыбом. — Осторожно, у него нож! Спенсер!

Спенсер стоял к Холлу спиной и от волнения после стычки ничего не соображал. Он обвел недоуменным взглядом Чарльза, потом Люка и спросил:

— Вы не ранены?

— Цел, — ответил Люк, — только никак не могу отдышаться.

Потом он увидел, как Холл с трудом поднялся на ноги, как блеснуло солнце на лезвии ножа, когда убийца со звериным воплем бросился на Спенсера, и тут же — как Спенсер лежит в мертвецкой и его тонкие светлые волосы рассыпались по мраморному столу. Люка обуял ужас. Он ринулся к Холлу, успел добежать, схватился за лезвие ножа, и вместе они рухнули на землю. Сэмюэл Холл упал первым, и тяжело: голова его ударилась о бордюр с таким звуком, точно раскололи орех.

Шарманщик уже ушел в другие переулки, издалека долетал мотив, похожий на колыбельную, так что дети, наблюдавшие за сценой, решили, что черноволосый мужчина, который с ними танцевал, заснул, раз лежит и не двигается. Но Люк был жив и в сознании, а не шевелился он, поскольку понимал, что с ним случилось, и не мог заставить себя взглянуть на рану.

— Люк, вы нас слышите? — Марта нежно его коснулась, и он приподнялся, потом сел и обернулся к ним.

Краска сбежала с лица Марты. Рубашка Люка стала алой от ворота до ремня, правую ладонь и предплечье заливала кровь. Чарльз подошел ближе (предварительно убедившись, что тот человек в коричневом пальто уже никогда не встанет), и сперва ему показалось, что доктор сжимает в кулаке кусок мяса. Но это была его собственная плоть: Люк схватился за нож, и тот рассек ему ладонь, так что на запястье свешивался толстый, лоснящийся лоскут кожи и мяса, глубже виднелись сероватые кости, поверх которых, точно перерезанная ножницами бледная лента, лежало в крови сухожилие или связка. Казалось, Люку вовсе не больно. Он держал правое запястье левой рукой, рассматривал кости и повторял, точно на литургии: «Ладьевидная кость, крючковидная кость, запястье, пясть». Потом, закатив глаза, упал на руки склонившихся над ним друзей.

2

Приблизительно в миле от этого сумрачного двора Кора с письмом в кармане шла к собору Святого Павла. В Лондоне ей было тоскливо и скучно. Навещавшие Кору друзья находили, что она стала рассеянной, держится холодно и отстраненно. Кора же, в свою очередь, думала о том, какие они все щеголи, как боятся сказать лишнее, какие у женщин белые ручки с острыми блестящими ногтями и какие у мужчин розовые, гладкие, точно у младенцев, щеки (или же нелепые усы). Беседуют лишь о политике, скандалах и в каких ресторанах подают самые модные блюда.

Кору так и подмывало сбросить все со стола и сказать: «Кстати, я вам рассказывала, как стояла у железной решетки в Кларкенуэлле и слушала, как шумит заключенная под землю река, как несет воды в Темзу? Знаете ли вы, как я смеялась в день, когда умер мой муж? Видели вы хоть раз, чтобы я поцеловала сына? Неужели же вы никогда не говорите о важном?»

Накануне Кэтрин Эмброуз пришла в гости вместе с Джоанной. Вскоре после того как Стелле поставили диагноз, Кэтрин и Чарльз Эмброуз забрали детей Рэнсомов к себе, поскольку доктор Батлер, дожидаясь решения Уилла, как следует лечить его жену, настоял на том, что больной нужен покой и свежий воздух, а детей необходимо отослать. Чарльза смущало, что дома стало шумно и тесно, но тем не менее теперь он каждый вечер возвращался раньше обычного с полными карманами конфет и допоздна играл с детьми в карты. Дети скучали по родителям, но стойко переносили разлуку. Джоанне сразу же разрешили пользоваться библиотекой Эмброузов и научили ее накручивать волосы на папильотки; Джеймс рисовал немыслимо сложные механизмы и посылал рисунки маме в запечатанных сургучом конвертах. Джоанна, с мамиными глазами и папиным ртом, за какой-нибудь месяц стала совсем взрослой. Она запоем читала книги из библиотеки Чарльза и собиралась (по ее словам) стать врачом, медсестрой или инженером, кем-нибудь таким, она еще не решила.

— Я так рада вас видеть, — искренне сказала Кора.

— Что вы делаете в Лондоне, Кора? — спросила Кэтрин и откусила кусок хлеба с маслом. — Что заставило вас уехать? Вы же были так счастливы, вы увидели столько нового. Если кто и сумел бы раскрыть тайну чудовища из Блэкуотера, так только вы! На солнцестояние все в один голос твердили, что вы теперь вылитая деревенская девушка. Мы думали, вас теперь в Лондон и не заманишь.

— Мне надоели грязь и беспорядок, — весело ответила Кора, но Кэтрин ей не поверила ни на секунду. — Я городская мышь и всегда ею была, а все эти помешанные девчонки, слухи о змее, подковы на дубе... Кажется, останься я там еще хоть на день, я бы спятила. Да и признаться, — она с безучастным видом отщипывала крошки от куска хлеба, — я не понимаю, что вообще там делала.

— Но вы же скоро вернетесь в Эссекс, правда? — спросила Джоанна. — Нельзя же бросать друзей в болезни, ведь именно сейчас вы так им нужны!

Тут Джоанна вспомнила о маме, о том, как соскучилась по ней, и фиалковые глаза девочки затуманились. Она не удержалась и расплакалась.

— Ну что ты, Джоджо! — Коре стало стыдно за себя. — Конечно же, я

вернусь.

Чуть позже, когда они остались вдвоем, Кэтрин спросила у Кора:

— Что же все-таки произошло? Уилл Рэнсом у вас не сходил с языка, я и думать боялась, что будет дальше! Потом увидела вас вместе, вы и словом не перемолвились, мне показалось, вы друг друга не переносите... Признаться, поначалу ваша дружба меня удивляла, впрочем, вы всегда были чудачкой. Теперь же, когда Стелла в таком положении...

Но Кора, которой с тех пор, как она овдовела, не удавалось скрывать отражавшихся в глазах мыслей, словно опустила шторы и отрезала:

— В этом нет ничего странного. Нам было интересно друг с другом, вот и все.

Если бы Кора умела объяснить, какая кошка между ними пробежала, с удовольствием сделала бы это, но сколько ни думала, — и не смыкая глаз до поздней ночи, и едва проснувшись утром, — никак не могла понять. Она так ценила привязанность Уилла еще и потому, что он никогда бы не захотел от нее того же, чего некогда Майкл; его чувства сдерживали Стелла, его вера и, как с благодарностью думала Кора, совершенное безразличие к ней как к женщине.

— Будь я хоть головой в банке с формалином, ему это все равно, — призналась она как-то Марте, — потому-то он предпочитает письма личным встречам. Я для него лишь ум, а не тело, я в безопасности, как ребенок, — понимаешь теперь, почему я так ценю эту дружбу?

Она и правда в это верила. Даже сейчас, вспоминая ту минуту, когда все переменялось, она винила во всем себя, а не его: ей не следовало так на него смотреть, она сама не знала, почему так себя повела. Что-то шевельнулось в ее душе от того, как крепко он взял ее за талию, он это заметил и растерялся. Письма его и сейчас очень любезны, но все равно ей казалось, что прежней невинной и чистой дружбы между ними уже не будет.

Потом пришло письмо от Люка, и на этот раз в смятении оказалась уже Кора. Не то чтобы она не знала о его любви, он частенько с улыбкой делал признание, но на этот раз она не могла рассмеяться в ответ и заявить, что тоже любит своего Чертенка. И здесь ушла былая невинность и чистота. Хуже того, ей показалось, что он вынуждает ее принять решение. Все годы юности (которую у нее отняли) Кора подчинялась чужой воле, и вот сейчас, не успела она толком пожить, как хочет, а ее уже снова пытаются присвоить! Люк написал, мол, понимает, что его любовь безответна, но без надежды на взаимность такие письма не пишут.

Кора пересекла Стрэнд, нашла у собора Святого Павла почтовый ящик

и несколько пренебрежительно бросила в него письмо, адресованное доктору Гаррету. За спиной ее послышалась музыка: на ступенях собора сидел человек в лохмотьях солдатского мундира и крутил ручку шарманки. Левый рукав был пуст, медали на груди блестели на солнце. Веселая мелодия приободрила Кору. Она подошла к инвалиду и положила ему в фуражку несколько монет.

*Кора Сиборн
Мидленд-Гранд-отель
Лондон
20 августа*

*Люк,
Я получила Ваше письмо. Как Вы могли? КАК ВЫ
МОГЛИ?*

*Думаете, я Вас пожалею? Ничуть. Вы и так
жалеете себя за двоих.*

*Вы пишете, что любите меня. Что ж, я это знала.
Я Вас тоже люблю, не могу не любить, а Вы называете
это «подаянием»!*

*Дружба — не подаяние. Вам кажется, будто Вам
достаются объедки, а кому-то другому — целый хлеб,
но это вовсе не так. Я даю Вам все, что могу, и больше
мне Вам дать нечего. Да, быть может, когда-то я была
богаче, но сейчас у меня ничего другого не осталось.*

На том и порешим.

Кора.

*Кора Сиборн
Мидленд-Гранд-отель
Лондон
21 августа*

*Люк, милый, мой дорогой Чертенюк, что же я
наделала! Я написала Вам, не зная о том, что случилось,
Марта мне обо всем рассказала, и я ничуть не удивилась
— отважнее Вас я никого не знаю...*

Подумать только, и я читала Вам нравоучения о

дружбе! Я ведь ни разу ни для кого не сделала того, что Вы сделали для него!

Позвольте мне Вас навестить. Скажите мне, где Вы.

С любовью (поверьте, милый Люк!) —

Кора.

Д-р Джордж Спенсер
Пентонвилль-роуд
Лондон
29 августа

Уважаемая миссис Сиборн,

Надеюсь, у Вас все благополучно. Сразу оговорюсь: Люк об этом письме не знает и очень бы рассердился на меня, если бы я ему об этом рассказал, но я считаю, Вы должны знать, что ему пришлось пережить.

Я знаю, что он Вам написал. Я читал Ваш ответ. Не думал, что Вы способны на такую жестокость.

Но пишу я вовсе не для того, чтобы Вас упрекнуть, а чтобы рассказать, что случилось, после того как мы отправились в Бетнал-Грин.

Вам, должно быть, уже известно, что на нас напал человек, который ранил Эдварда Бертона, и что Люк бросился меня защищать. Самое ужасное, что он схватился за лезвие ножа и располосовал правую ладонь. Оказавшиеся при этом были очень добры: девочка оторвала от платья подол и под моим руководством скрутила из него жгут, нам принесли дверь, чтобы на этих импровизированных носилках мы вынесли Люка из переулка на Коммерциал-стрит и там уже взяли кэб. К счастью, все это произошло неподалеку от Королевской больницы в Уайтчепеле, так что Люком сразу занялся наш коллега. Рану промыли, поскольку больше всего мы опасались заражения. Люку было очень больно, но от наркоза он отказался под тем предлогом, что-де больше всего на свете ценит свой ум и не готов им рисковать.

Пожалуй, я Вам лучше расскажу о ране. Выдержите? Ископаемые кости Вас не пугают, а живые?

Нож вошел в руку возле основания большого пальца и распорол ладонь наподобие того, как отделяют жареную рыбу от костей. Мышцы оказались разрезаны, но самое страшное, что пострадали два сухожилия, которые управляют указательным и средним пальцем. Повреждения были видны невооруженным глазом, рана была такой чистой, что студенты-медики могли бы, взглянув на нее, сдавать экзамен по анатомии.

Люк попросил меня провести операцию. От наркоза опять отказался, завел речь о техниках гипноза, которые изучал. Рассказал мне о докторе из Вены, которому под гипнозом удалили три зуба мудрости, а тот даже не поморщился. Признался, что однажды сам ввел себя в такой глубокий гипнотический транс, что свалился на пол и не проснулся. Повторил, что, по его мнению, боль перенести не труднее, чем сильное наслаждение (этот вопрос немало его занимал, чего я, признаться, не понимаю по сей день), и заставил меня поклясться, что я не дам ему наркоз, если только он сам об этом не попросит. Вот в точности его слова: «Я доверяю своему разуму больше, чем твоим рукам» — так он сказал.

Я не мог попросить медсестру мне ассистировать, это было бы нечестно. Люк наверняка, по своему обыкновению, подготовил бы операционную, но тут ему не оставалось ничего, кроме как лежать беспомощно на собственном столе и давать указания: мы оба должны были надеть белые хлопковые маски, а мне он велел поставить зеркало, чтобы он, если вдруг очнется от гипноза, мог сам следить за ходом операции.

Его должен был бы оперировать самый знающий хирург Европы, а никак не я: способности мои в лучшем случае можно назвать скромными (что уж тут скрывать, Люк посмеивался над ними со студенческой скамьи). Дрожащей рукой я брал инструменты, так что те грохотали в кювете, и Люк, разумеется, видел,

как мне страшно. Он велел мне развязать бинты, чтобы он мог изучить рану, и дал мне указания, прежде чем погрузиться в гипноз; когда я отделял ткань от обнаженной раны, он наверняка испытывал нестерпимую боль, но лишь закусил губу и побледнел. Я приподнял лоскут кожи с его ладони, и Люк принялся рассматривать сухожилия с таким видом, как будто это вовсе и не его рука, а какого-нибудь трупа из анатомички, который мы резали и зашивали. Объяснил мне, каким швом соединить концы разрезанных сухожилий, не задев соединительную ткань, — чтобы, когда я зашью рану, кожа на ладони не натягивалась слишком туго. Потом что-то еле слышно зашептал и успокоился: принялся читать стихотворения, перечислять названия химических веществ и все кости человеческого тела, потом перевел взгляд на дверь, улыбнулся, словно увидел старого друга, и погрузился в транс.

Я его обманул. В ту самую минуту, когда давал ему обещание, я уже знал, что нарушу клятву. Я выждал немного, коснулся его руки, убедился, что он без сознания, позвал медсестру, и мы дали ему наркоз.

Оперировал я два с лишним часа. Не буду утомлять Вас подробностями операции, признаюсь лишь со стыдом: я сделал все, что в моих силах, но этого было недостаточно. Люку нет равных в точности, смелости и мастерстве, и делай эту операцию он сам, через год никто бы и не догадался, какой серьезной была рана. Я наложил швы, Люка привели в сознание, он почувствовал, как в горле саднит от трубки, и сразу же понял, что к чему. Если бы только был в силах, он придушил бы меня в тот же миг.

В больнице он провел еще два дня. Посетителей не принимал. Настоял на том, чтобы сняли повязку и дали ему осмотреть мою работу. Слепой ребенок заштопал бы лучше, сказал он, но хотя бы все чисто и нет заражения. Когда он достаточно окреп, чтобы вернуться домой, на Пентонвилль-роуд, я поехал с ним; тогда-то мы и обнаружили на коврике у двери Ваше

письмо.

И вот что я Вам скажу: то, что не сделал нож, сделали Вы. Люк уничтожен: Вы потушили в нем свет! Вы разбили вдребезги окна!

Три недели прошло, а добрых вестей нет как нет. Сухожилия, которые приводят в движение указательный и средний палец, сильно укоротились, пальцы согнулись так, что ладонь скрючилась. Быть может, нам удалось бы хоть отчасти вернуть пальцам подвижность, если бы Люк делал необходимые упражнения, но он потерял надежду. После Вашего письма в нем что-то надломилось. Он безразличен. Ничего не хочет. Глаза у него как у собаки, с детства забитой хозяином, мне случалось такое видеть не раз.

Разумеется, второе Ваше письмо полно сочувствия, но Вы же его знаете, так почему же было не оставить Вашу жалость при себе?

Больше я Вам писать не стану, разве что он сам меня попросит.

Он писать не может. Не может держать перо.

Ваш покорнейший слуга

Джордж Спенсер.

IV

Восстание последних времен

Сентябрь

1

Осень добра к Олдуинтеру: косые лучи солнца на лугу отпускают сонмы грехов, на кустах шиповника выросли алые ягоды, от молодых грецких орехов у детей зеленые ладошки. Над устьем реки расправляют крылья гуси, и дрок весь в шелковой паутине.

И все же что-то идет не так, как надо. Край Света уходит в болото, на пустых решетках растут грибы. На причале тихо: лучше зимой голодать, чем пуститься в плавание по мутным водам. Из Пойнт-Клира, Сент-Осайта, Уивенхоу и Брайтлингси доходят слухи: какой-то рыбак ночью во время отлива увидел в Блэкуотере чудище и сошел с ума; нашли утонувшую девочку с бело-серой отметиной на животе; река выбросила на солончаки собачий труп со свернутой набок головой. Время от времени кто-то из дозорных разводит костер у Левиафана, но уже без былого рвения, делает пометку в журнале, но никогда не досиживает до утра.

Наоми Бэнкс и след простыл. Никто ни разу не сказал, что, должно быть, она ночью ушла на болота и там на нее напал змей, но именно так все и думают. Сети Бэнкса перепутались, красные паруса гниют, а из «Белого зайца» его выгнали за то, что он нагоняет страху на прочих пьяниц. «Пора не пора, иду со двора!» — орет он с крыльца и кубарем летит со ступенек.

В комнатах на Пентонвилль-роуд ладонь Люка заживает хорошо. Спенсер меняет повязки, смотрит на собственные швы, видит скрюченные пальцы, Люк же тем временем безучастно глазеет в окно на мокрую улицу и молчит. Он помнит Корино письмо от первых слов — *Как вы могли? Как вы могли?* — и до подписи. На второе письмо, несмотря на свое раскаяние, Кора ответа так и не получила.

Марта пишет Спенсеру. Эдварда Бертона с матерью вот-вот вышвырнут на улицу, сообщает она, квартирная плата выросла непомерно, цветными ковриками из лоскутов да стиркой столько не заработать. Удалось ли что-нибудь сделать? Что слышно от Чарльза? Когда она сможет наконец сообщить им добрую весть? Спенсер подмечает нетерпение между строк, но относит его на счет Мартинового доброго сердца, совестливости и чувства долга. Однако порадовать ее нечем, и Спенсер не знает, что ответить.

В высоком белом особняке Эмброузов дети растолстели почти как

Чарльз. Джоанна выучила таблицу Менделеева, узнала, что такое гипотенуза, и со ста ярдов заметит логическую ошибку *post hoc*.^[45] Реши она в понедельник избраться в парламент, и к среде будут приняты все законы. Чарльз умалчивает о том, что это едва ли возможно; пусть ее, девочка перерастет свои мечты, как все дети. Время от времени Джоанна вспоминает, как они с Наоми Бэнкс произносили глупые заклинания, и ее охватывает чувство вины. Где-то теперь ее рыжая подружка? Треплет ли течение ее кудри на глубине в добрых пять морских футов? У Джоанны до сих пор хранится рисунок, на котором Наоми изобразила их переплетенные руки, и Джоанна просит Кэтрин вставить его в рамочку.

Однажды ночью Кэтрин просыпается, слышит детский плач и находит братьев в объятиях сестры: они хотят к маме, они скучают по деревне. Решено, что к концу недели они вернутся в Эссекс. Кроме того, добавляет Джоанна, нужно подумать и о Магоге: бедняжка до сих пор одна-одинешенька и тоскует без хозяина. Детей удастся утешить походом в «Харродс» и таким огромным пирогом, что не осилил бы и голодный матрос.

Кора по-прежнему живет в гостинице и презирает и эти ковры, и эти шторы. В кармане у нее письмо Спенсера, который советует ей воздержаться от посещений, и от его ледяной вежливости бумага стынет у Кору в руках. Марта видит, как подруга слоняется по комнатам, и не знает, что ей сказать, чтобы не нарваться на грубость. Кора забросила книги и кости, она скучает, злится, и меж ее бровей появилась новая морщинка. Отповедь Спенсера не выходит у нее из головы, она дуется и хандрит. Кора сроду не замечала за собой ни жестокости, ни эгоизма, это другие были к ней жестоки, она — никогда. Не так-то просто с этим смириться. Она запуталась, она никому не хотела причинить вред и все же навредила.

Письмам Уилла Кора очень радуется, часто их перечитывает, но не отвечает. Да и что ему ответить? Она покупает открытку в киоске на станции, пишет: «Как бы мне хотелось, чтобы Вы были здесь», но что толку от откровенности? Без него, без их прогулок по лугу, без конвертов на крыльце, надписанных так старательно, точно это делал школьник, мир стал скучен и бессмыслен, так чему уж тут удивляться или восхищаться? Кора дивится собственной глупости: подумать только, так тосковать из-за того, что не можешь поговорить с каким-то викарием из Эссекса, с которым у нее нет ничего общего. Какая нелепость! В Коре говорит гордость. В конце концов вот к чему все сводится: она молчит, потому что хотела бы ответить.

Она пробует, как бывало не раз, обратить всю неизрасходованную

любовь на Фрэнсиса. Разве возможно, чтобы маму и сына ничуть не тянуло друг к другу? Кора лезет из кожи вон: играет с Фрэнки, разговаривает с ним о том, что мальчику интересно, покупает книги, которые просто обязаны ему понравиться, старательно шутит и учится печь пироги. Иногда замечает, что Фрэнки что-то беспокоит, — или ей это только кажется — и пытается его утешить. Они часто ездят на метро туда, куда ему захочется. Он послушно выполняет все, чего от него ждут, почти не ласкается к матери и не разговаривает. Порой Кора думает, что сын ее жалеет или (того хуже!) потешается над ней.

Марта теряет терпение.

— Неужели ты правда думала, что так может продолжаться? Тебе сроду не были нужны ни друзья, ни любимые, тебе нужны были придворные льстецы, вот и получила крестьянское восстание. Фрэнки, — добавляет она, — идем гулять.

Уилл стоит на кафедре церкви Всех Святых, смотрит на паству и не находит слов. Прихожан обуревают то подозрения, то благочестивое рвение. Порой преподобному кажется, будто они готовы очертя голову броситься в объятия Всевышнего, в другое же время они косятся на пастыря так, словно это он навлек на них напасть. Общее мнение таково: кто-то где-то нарушил Господни заповеди, и если преподобный не может покарать грешника, значит, дело плохо.

Сам же преподобный мечется, точно стрелка компаса, между южным и северным полюсом, между любимой женой, законным источником всех его радостей, — и Корой Сиборн, от которой, напротив, ему одно лишь беспокойство. От Чарльза он слышал о беде, приключившейся с Люком. Другой священник рассудил бы: если карьера хирурга оборвалась так резко, значит, это угодно Всевышнему, ибо Он направил руку с ножом, чтобы уберечь Стеллу от скальпеля. Разумеется, Уилл не настолько темен и суеверен, но все же не может избавиться от чувства, будто им даровали отсрочку: жестокий метод лечения, некогда предложенный Гарретом, — взрезать грудь, наполнить больное легкое воздухом — теперь невозможен, поскольку за такую операцию не возьмется никакой другой хирург в Англии.

В отсутствие Кору мысли его блуждают бесцельно. Что толку в том, что он заметил то или обнаружил это, если нельзя ей об этом рассказать, увидеть, как она рассмеется или нахмурится в ответ? Уилл не находит себе места, порой сердится на себя и на Кору за то, что они всего лишь раз оставили хорошие манеры (так он себе объясняет), чтобы разрубить этот гордиев узел. Она сейчас, должно быть, поглощена заботой о раненом

друге и думать забыла о сельском священнике и его больной жене. Носит ему жирные блюда, которые тому нельзя, учится перевязывать рану, снимать шелковые швы. Он мысленно одевает ее в белый халат, усаживает у ног хирурга и смотрит, как она склоняется над его искаленной рукой. Тут Уилл с изумлением ловит себя на том, что ревнует. Ну и пусть, все равно рано или поздно придет письмо — из деревни ли в столицу, из столицы в деревню, осталось лишь дожидаться, кто первым положит перед собой лист бумаги и возьмется за перо.

За ребрами Стеллы Рэнсом зреют туберкулы. Если бы Кора сумела их увидеть, они напомнили бы ей диабазы, которые она собирает на каминной полке. Туберкулы испускают фагоциты; болезнь укореняется. Кровеносные сосуды легких начинают разрушаться, расплываются алыми пятнами на голубых носовых платках. Но, как ни странно, Стелла счастлива. *Spes phthisica*^[46] дарует больным туберкулезом надежду и беспечность. Стеллу переполняет неизъяснимая радость, Стелла светится неземной красотой, блаженная в страданиях, искренне увлеченная таксономией синего цвета. Точно сорока, которая вьет гнездо, она собирает вокруг себя талисманы: пакетики с семенами горечавки, морские стеклышки, катушки темно-синих ниток — в ее глазах все они освящены небесной благодатью. Ей кажется, будто она отрясла от ног своих прах, в котором когда-то увязла; ночами она просыпается в лихорадочном поту и, обмирая от счастья, видит лик синеглазого Христа. Иногда она слышит, как змей зовет ее шепотом, но ей ничуть не страшно. Ей знаком этот враг рода человеческого — он является миру не впервые.

Стелла все так же сильно любит мужа и детей, но стала отдаляться от них, между ними словно опустилась голубая завеса. Уилл не отходит от Стеллы и любовно-внимателен к ней: заметив, что у нее сохнет кожа на руках, привез из Колчестера бутылочку лосьона «Ярдли».

Иногда она кладет его голову к себе на плечо и нежно баюкает, точно это он болен, а не она. Стелла отнюдь не поглупела, она прекрасно видит, что отношения Уилла и Кору запутались, и жалеет мужа. «Мой любимый ее, а она его», — без тени обиды пишет она в голубой тетради.

— Когда вернется Кора? — спрашивает Стелла в тот вечер, выплетая на пальцах узоры из голубой ленты. — Когда она уедет из Лондона? Я так соскучилась по вашим с ней беседам!

*Лежа ночью в постели я искала того кого любит
моя душа искала его и не нашла
Когда-то мы спали на одной подушке и он говорил*

*Стелла звезда моя у нас с тобой одно дыхание на двоих
теперь же от моей двери до его пятнадцать шагов
чтобы уберечь его от сидящей во мне заразы*

*Но у него есть куда лучшая спутница жизни!
Пусть лобзает ее лобзанием уст своих ибо ласки его
лучше вина^[47] и она способна их пить!*

*Кажется есть синяя краска под названием
«ультрамарин» потому что камни которые
перемалывают чтобы ее получить добывают из моря*

2

На сцену зала заседаний в Майл-Энде вышла чернобровая женщина в темном платье. Кроме нее, на сцене никого не было. Женщина окинула добродушным взглядом малочисленную публику. Около сотни мужчин и женщин собрались под белыми сводами зала. Зрители перешептывались: перед ними стояла Элеонора Эвелинг Маркс, не только дочь, но и помощница знаменитого отца.

Был среди зрителей и Эдвард Бертон, запыхавшийся от ходьбы; вдобавок ему казалось, что он тонет в ставшем слишком большим зимнем пальто. Рядом с Бертоном ерзала Марта.

— Мы с ней как-то встречались, — с улыбкой призналась она. — Она попросила называть ее Тасси, как зовут ее друзья.

По собственной воле Бертон едва ли пришел бы на общее собрание Социалистической лиги, но отказать Марте было невозможно.

— Что толку слушать меня, — втолковывала она, наливая чай из остывающего чайника. — Что толку узнавать обо всем из вторых рук? Я пойду с вами. Прогуляемся. Нельзя же всю жизнь сидеть взаперти с чертежами.

За недели его выздоровления Земля чуть отвернулась от Солнца, прозрачный воздух так светился, что Бертону казалось, будто он смотрит на мир сквозь натертое до блеска стекло. Недавно его осенило, что если за последнее время тело его устало, то ум — в кои-то веки! — ничуть: Сэмюэл Холл пробудил его от долгого сна. Эдварду не верилось, что многие годы он безропотно занимал отведенное ему место, был винтиком в гигантском механизме Лондона, перемалывающем жизни, разносящем недуг по артериям каналов и дорог, накапливающим яд в полостях фабрик и залов. Город казался ему теперь бьющимся в конвульсиях организмом, который медленно оправляется от лихорадки. С недавних пор Эдвард

бодрствовал — с болью и тревогой. Он ел хлеб — и думал об умирающих рабочих, которые от рассвета до заката трудятся на мукомольных заводах; смотрел, как мать сшивает лоскутки, — и понимал, что жизнь ее стоит дешевле кирпичей мостовой; хозяин дома поднял арендную плату — и Бертон понимал, что виновата в этом вовсе не жадность домовладельца, то был всего лишь очередной симптом недуга. Он вспоминал треснувший череп Сэмюэла Холла, и жалость заглушала в нем остальные чувства. Кабала развратила Холла, как и всех прочих.

Новая страсть, которой пылал Бертон, была неотличима от его чувства к Марте, и он даже не пытался отделить одно от другого. С женщинами ему доводилось общаться нечасто, они были ценным призом, вокруг которого кипела борьба, но и только. Теперь же он не искал другого общества, кроме Марты, и с трудом вспоминал, как звали тех, кто толпился вокруг его стола в Холборне. Марту он воспринимал как существо иного рода — не мужчину и не женщину. Вот она стоит у окна, прижав руку к пояснице, а однажды он заметил, что платье у нее между лопаток промокло от пота, — эти воспоминания будили в нем жажду, которую ему никогда не удалось бы утолить. Марта была энергична, боевита и равнодушна к комплиментам; она ни в чем ему не уступала, смешила его, никогда не пыталась угодить и не хитрила. Эдварду казалось, будто его победил более сильный и умный соперник. И то, что Марта часто говорила о Коре Сиборн иной раз с нежностью, а иной раз с досадой, было совершенно в ее характере. Эдвард никогда не встречал никого похожего на нее и принимал ее целиком. Мать его относилась к Марте с опаской. «Где это видано, — брюзжала она, досадуя, что Марта всегда прибирала у них в квартире. — У женщины должен быть свой дом и муж в нем. Иначе она пустое место, и как ей не стыдно таскаться сюда в одиночку?»

Выступающая на сцене зала собраний не разыгрывала спектакль, не произносила пылких речей, точно проповедник Библии, она рассказывала буднично, чуть устало. «Ей многое довелось пережить», — понял Бертон.

— Невозможно без грусти и отвращения смотреть, — говорила Элеонора Маркс, и зрителям казалось, будто она стала выше ростом, разметались густые волосы, — как юристы, хозяева и члены городского магистрата объединяются против рабов зарплат...

Сидевшая рядом с Бертоном Марта кивнула раз, другой, что-то записала в блокнот; на первом ряду молча плакала женщина со спящим младенцем на руках. Изредка в зале раздавались недовольные возгласы, но под взглядами остальных кричавшие умолкали. Казалось, будто на сцене толпятся девушки, изломанные фабричной работой, и юноши, опаленные у

доменных печей, пока толстяки в сторонке поглаживают цепочки часов да наблюдают, как увеличивается их капитал.

— Сейчас трудное время, а будет еще труднее, пока мы не свергнем несправедливый строй. Борьба не окончена, она только начинается!

В зале одобрительно закричали, зааплодировали, кто-то швырнул на сцену шляпу. Выступавшая не поклонилась, а лишь подняла руку, словно прощалась со зрителями и благословляла их на борьбу.

«Да, — подумал Эдвард Бертон, встал и схватился за ноющую грудь. — Да, я все понимаю. Но как же это будет?»

* * *

Он ел жареный картофель с уксусом в скверике на скамейке. У края тротуара стояли нарядные дети, а позади них газетчики выкрикивали вечерние новости из «Стандард».

— Но как же быть? — спросил он. — Я как будто тупею от того, что читаю и слышу. Во мне копится злость, но я не знаю, что с нею делать.

— В том-то вся и беда, — ответила Марта. — Раб зарплаты не имеет права думать. Неужели вы полагаете, что у девушек с фабрик Брайанта и Мэя и у парней в каменоломнях есть силы, чтобы размышлять, планировать, готовить революцию? Вот вам величайшее злодейство: на того, чей ум в оковах, нет нужды надевать цепи. Раньше мне казалось, что мы вроде коней, запряженных в плуг, теперь же я понимаю, что наше положение куда хуже: мы шестеренки в их механизме, мы лишь винтики в колесе, лишь ось, которая вертится, не останавливаясь ни на минуту!

— Так что с того? Мне надо работать. Я не могу вырваться из этого механизма.

— Пока да, — согласилась Марта. — Пока да, но постепенно все изменится. Ведь и земной шар медленно, но вращается.

Эдвард устало откинулся на спинку скамьи. Лондонские каштаны, дубы и липы попортил пилильщик. Подруга Эдварда сидела рядом с ним.

— Марта, — только и произнес он, однако сейчас и не нужно было других слов.

— Вы бледны, Нед, — заметила она. — Позвольте, я провожу вас домой.

И она его поцеловала; к ее губе прилипла крупинка соли

Эдвард Бертон
Темплар-стрит, 4

Марта, выходите за меня замуж. По-моему, мы с Вами отличная пара.

Эдвард.

Записка

Милый Нед,

Я не могу стать Вашей женой — и не только Вашей, а чьей бы то ни было.

Я не могу поклясться, что буду любить, почитать мужа и подчиняться ему. Я подчиняюсь лишь доводам собственного рассудка и почитаю лишь тех, чьи поступки достойны почтения!

Я не сумею любить Вас так, как жена обязана любить мужа. Я ясно вижу, что недалек тот день, когда я перестану быть нужной Коре Сиборн, но она всегда будет нужна мне.

Неужели Вы думаете, что политика остается за порогом дома? Не ужели Вы полагаете, будто она ограничивается трибунами да пикетами и не распространяется на нашу личную жизнь?

Не просите меня стать частью института, который связывает меня по рукам и ногам, а мужчинам предоставляет полную свободу. Жить можно иначе — есть узы и помимо освященных государством! Давайте жить так же, как мыслим, — свободно, бесстрашно, и пусть нас связывает лишь искренняя симпатия и общая цель.

Я не могу стать Вашей женой, но готова быть Вам спутником и товарищем: согласны ли вы на это?

Ваш друг

Марта.

*Эдвард Бертон
Темплар-стрит, 4*

*Милая Марта,
Я согласен.*

Эдвард.

3

Хэрриет, самая младшая из смеявшихся учениц, кроха в желтом платье, проснулась до зари, и ее стошнило на подушку. В углу пошевелилась мать, встала, чтобы успокоить дочку, вдохнула утренний воздух, подавилась, и ее тоже стошнило. Теплый западный ветер принес с Блэкуотера зловоние, и оно просочилось сквозь разбитое окно. Миновало Край Света и, никого там не обнаружив, доползло до околицы Олдуинтера, где в некоторых домах горели огоньки. Оставив дочку в материнских объятиях, оно добралось до жилища Бэнкса и, подхваченное бризом, пошевелило красные паруса лодок в заливе. Отяжелевший от выпитого Бэнкс спал крепко и не проснулся, но все же что-то потревожило его во мраке, и он трижды позвал по имени потерянную дочь. Зловоние поползло дальше, мимо «Белого зайца», мимо крыльца, на котором выла по давно умершему хозяину бездомная собака, мимо школы, где мистер Каффин, уже бодрствовавший над тетрадками по грамматике, в раздражении отмечал неправильно поставленные запятые, — унюхав этот запах, он вскрикнул от омерзения и побежал за стаканом воды. На Дубе изменника на лугу, почуяв в зловонном воздухе поживу, собирались грачи. Сморд пробрался под притолокой в серый дом Кору, просочился в простыни на постели, но Кору не нашел. Обогнул колокольню церкви Всех Святых и дополз до окна дома священника. Сидевший в кабинете без сна Уильям Рэнсом решил, что, должно быть, где-то под полом сдохла мышь, зажав рот рукавом, он опустился на колени под столом, возле пустого стула, который ставил рядом со своим собственным, но ничего не нашел. На пороге появилась Стелла в голубой шелковой сорочке, под которой, точно твердые крылышки, проступали костлявые лопатки.

— Что же это? — давясь смехом и воздухом, спросила она. — Что это такое? — И поднесла к носу букетик лаванды.

— Где-то кто-то сдох. — Уилл набросил ей на плечи свой пиджак, опасаясь, как бы на нее не напал приступ кашля, от которого ее маленькое

тело дрожало, словно в пасти хищника. — Быть может, на лугу? Овца?

— Только бы не Магог, — встревожилась Стелла, — мы никогда себе этого не простим.

Но последняя из семейства Крэкнелла как ни в чем не бывало щипала траву в глубине сада.

— Давай зажжем свет — ах! Это же сера, сера! Выйди на луг, посмотри: должно быть, земля разверзлась и грешники с переломанными костями и растрескавшимися от жажды губами устремили взгляды к небесам! — Глаза Стеллы блеснули, словно такое зрелище ее обрадовало бы, и это обеспокоило Уилла куда сильнее смрада, который он чувствовал уже на кончике языка, отвратительный сладковатый запах гнили.

Пойти, что ли, в самом деле на луг? Видимо, придется: таков его долг. Кто же, кроме него, доищется причины всех бед, обрушившихся за последнее время на деревню? Уилл зажег огонь, и на некоторое время дым вытеснил зловоние. Стелла бросила в камин лаванду, и в кабинете остро запахло недавним летом.

— Иди. — Стелла поправила бумаги на столе (сколько писем! Неужели он их вовсе не убирает?) и подала мужу пальто. — Не пройдет и десяти минут, как раздастся звонок и тебя к кому-нибудь позовут.

Уилл поцеловал ее и сказал:

— Наверно, на солончаках села на мель рыбацкая лодка, улов рассыпался и рыба гниет — утро-то теплое...

— Как жаль, что дети не с нами, — вздохнула Стелла. — Джоджо наверняка проснулась бы первой, взяла фонарь и отправилась туда, чтобы увидеть все собственными глазами, а Джеймс сделал бы рисунок для газеты.

На Высокой уже собралась толпа. Мистер Каффин обмотал голову белой тряпкой, словно был ранен, остальные закрывали рты рукавами и подозрительно глазели на Уилла: нет ли у преподобного под мышкой Библии или другого орудия борьбы. Почувяв в сумрачном воздухе что-то новое — не только гниль, но и страх, — Уилл вдруг подумал, что, возможно, зловоние не очередной удар судьбы, есть у него и иная причина. Мама Хэрриет, по своему обыкновению, плакала и крестилась, не до конца протрезвевший Бэнкс повторял, что к реке не пойдет: вдруг чудовище отрыгнуло рыжие локоны? Ивенсфорд в черной рубашке, как никогда походивший на гробовщика, у которого отобрали покойника, с нескрываемым злорадством декламировал отрывки из Откровения Иоанна Богослова. И даже мистер Каффин, который каждый год рассказывал ученицам, что тридцать первое октября — всего лишь годовщина того дня,

когда Мартин Лютер взял молоток и прибил к дверям собора девяносто пять тезисов, словно позеленел.

— Доброе утро. Пусть оно и вправду будет добрым, — произнес Уилл. — Что же нас подняло в такую рань?

Никто не ответил.

— Я-то уж точно не моряк, — Уилл сердечно похлопал Бэнкса по плечу, — и кое в чем мало разбираюсь. Мистер Бэнкс, вы знаете Блэкуотер лучше всех нас. Как вы думаете, в чем тут дело? Чем так пахнет? — Тут подул ветер, зловоние усилилось; Уилл подавил рвотный позыв и добавил: — Может, море принесло какие-то водоросли? Или косяк сельди гниет на берегу?

— Сроду такой вони не припомню, да и не слышал, чтобы кто-то рассказывал, — глухо пробормотал Бэнкс из-под рукава. — Странно это все. Неестественно.

— Верю вам на слово. — У священника заслезились глаза. — Верю вам на слово, но нет ничего естественнее трупного запаха, а это, сдается мне, он самый. Когда-нибудь и мы с вами будем пахнуть так же.

Собравшиеся посмотрели на него с отвращением, и Уилл понял, что шутить не время. Что ж, тогда прибегнем к Святому Писанию.

— Посему не убоимся, пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. ^[48]

— Я вам скажу, что это, — подала голос мать Хэрриет, — хотя ведь вы и сами догадались, правда, Бэнкс? И вы, и вы... — Она многозначительно кивнула мистеру Каффину и одной-двум женщинам, которые, не обращая внимания на ее слова и на зловоние, устремились к Блэкуотеру, где занялась заря. — Он явился за нами, зловещий змей, чудище речное, и застал нас всех врасплох! Сперва он пришел к моей малютке — ну конечно, к кому же еще! Сперва он пришел к ней, и теперь ее беспрерывно тошнит. Как я ни билась, не сумела унять рвоту.

Спаситель предупреждал, что будет плач и скрежет зубов, заметил Ивенсфорд, и какая-то женщина, ободренная его замечанием, подхватила:

— Это дыхание чудища, это его дыхание, я вам точно говорю, смердит плотью и костями всех тех, кто попал к нему в зубы! Мальчишка из Сент-Осайта, и тот человек, которого река выбросила к нам на берег, и...

— В старину это звали «миазмами», — перебил мистер Каффин, — ядовитые испарения, которые несут с собой заразу, — вот оно! У меня жар. *La Peste!* К нам пожаловала чума!

И действительно, высокий лоб ученого мужа усеяли бисерины пота. Под взглядом Уилла учитель задрожал и скривил рот, готовясь не то

рассмеяться, не то зарыдать.

— Море исторгло своих мертвецов! — возопил Бэнкс (если уж ему не суждено обнять живую дочурку, так хотя бы похоронить!). — Восстали пребывавшие во аде!

— Ад! Миазмы! — раздраженно бросил Уилл, заметив, что зловоние то ли ослабло, то ли он принюхался. — Змей! Чума! Мистер Каффин, вы совершенно здоровы, выпейте чаю — и все пройдет. Полноте, вы же все разумные люди. Бэнкс, не вы ли учили меня пользоваться секстантом? Каффин, вы объясняли моей дочери, как рассчитать расстояние до грозы! Мы же с вами живем не в Средневековье, мы не дети, которых страшат рассказы о вампирах и злых духах, — тем, кто брел во мраке, воссиял великий свет! Нет никакого змея и никогда не было, нечего и бояться. Мы спустимся на берег и ничего там не найдем, кроме разве что трупа овцы, который река принесла из Молдона, но и только — никакого чудища, посланного нам на погибель!

Но отчего бы не предположить, что высший разум, пред которым некогда расступилось Чермное море, задумал проучить грешников из просоленного эссекского прихода? Апостол Павел сунул руку в змеиное гнездо и не был укушен, это было знамение. Разумеется, с тех пор земной шар тысячу раз обернулся вокруг солнца, но разве же эпоха знамений и чудес закончилась безвозвратно? Отчего же преподобному всегда казалась нелепостью мысль о том, что в реке притаилось чудовище, что, если он не верит вовсе не в змея, а в Бога? Страх прихожан передался Уиллу, во рту появился металлический привкус, точно на язык положили медную монетку, но испугался он отнюдь не того, что Господь наслал на них кару, а того, что высший суд никогда не свершится. «Кора, — подумал Уилл и сжал кулак, словно хватаясь за ее сильную руку. — Если бы только она была здесь. Если бы она была здесь».

— Что ж, — сказал он, скрывая злость, — что толку стоять здесь, гадать да задыхаться? Я пойду к реке и увижу все собственными глазами, и вы, если хотите, идите за мной, а не хотите, так и не ходите, но поверьте мне на слово: еще до захода солнца все разъяснится и толки о змее прекратятся раз и навсегда.

И он направился на восток, к Блэкуотеру и источнику зловония, следом, бормоча и препираясь, потянулась кучка прихожан. Мать Хэрриет взяла его за руку и сказала доверительно:

— Я попрощалась с дочуркой: кто знает, вернусь ли домой.

Дуб изменника на лугу так густо облепили грачи, что казалось, будто дерево усыпано пернатыми плодами. Когда Уилл ступил в тень дерева,

алчная стая смолкла. Вонь здесь стояла невыносимая, и мистер Каффин, завидев освещенные окна школы, отделился от шагавших и устремился в укрытие, пробормотав, дескать, зря он поехал в этот грязный медвежий угол, а ведь его предупреждали. Наконец ветер сжалился над ними и поменял направление, грачи вспорхнули с дуба, словно кто-то сдул пепел с горящих листов бумаги. Зловоние стало утихать: его отнесло к устью реки, где оно неминуемо должно было разбудить жителей других деревень. Бэнкс воспрянул духом, пропел куплет матросской песенки и отпил глоток рома.

Показался Край Света, и все отвели глаза. Под мшистым холмиком упокоился Крэкнелл, пока что без надгробного камня, но невозможно было представить, что его больше нет в доме с мозаичными стеклами, что он больше не обирает ухверток с рукава пальто. От прежней толпы осталась лишь горстка: Уильям Рэнсом, по левую руку от него — мама Хэрриет, по правую — рыбак, сзади шел Ивенсфорд и, спасибо, молчал.

Две ушедшие вперед женщины довольно оживленно болтали, поглядывали на облака, которые восходившее солнце окрасило в красный цвет, и махали руками, словно надеялись прогнать смрад, крепчавший по мере приближения к солончакам. Уилла тошнило от страха и омерзения: ему не верилось, что они вот-вот увидят на берегу змея, который греет на солнышке тонкие крылья и, лязгая зубами, глодает кость, и все равно на душе было непокойно. «Кора», — произнес он громко и сам испугался своего тона — словно выбранился. Шагавший рядом Бэнкс бросил на него недоуменный взгляд и, кажется, тоже хотел что-то сказать, как вдруг одна из женщин впереди остановилась как вкопанная, указала на берег и завизжала. Ее спутница от неожиданности споткнулась, наступила на край подола и, не сумев выпрямиться, полетела вниз по склону, разинув от страха рот.

Позже Уилл вспоминал этот миг, как будто все вокруг замерло, точно на фотопластинке: падающая женщина, Бэнкс, который бросился к ней на помощь, но вдруг застыл, и он сам — бесполезный, со сладковатым привкусом гнили во рту. Потом видение исчезло, и впоследствии он никак не мог подыскать вразумительного объяснения, каким образом они вдруг все очутились на берегу, подле черного остова Левиафана, и с ужасом и жалостью воззрились на то, что принесло море.

Вдоль кромки прибоа вытянулась гниющая и смердящая туша какого-то существа футов двадцати в длину, так что казалось, будто дальний его конец постепенно сходит на нет; ни крыльев, ни лап у него не было. Блестящая серебристая кожа туго обтягивала туловище, точно барабан, вдоль хребта были видны остатки единого плавника: кое-где торчали и

сохли под восточным ветерком сломанные и раздробленные выступы с клочками перепонки, похожие на спицы зонта. Падавшая женщина чуть не наступила на голову существа с глазами размером с кулак, которые слепо таранились в небо. Жабры отделились от серебристой чешуи, обнажив мясистые малиновые оборки, похожие на испод грибной шляпки. На рыбу либо кто-то напал, либо она угодила на Темзе под киль направлявшегося в столицу судна: местами тугая кожа, переливавшаяся в первых лучах солнца всеми цветами радуги, точно масляное пятно на воде, лопнула, открыв бескровные раны. На гальке и в грязи под тушей блестел сальный след, словно вытопился жир, в раскрытой пасти, отчасти похожей на тупой клюв зяблика, виднелись тонкие зубы. На глазах у собравшихся от костей отвалился ломоть мяса, как срезанный ножом.

— Только и всего, смотрите, — проговорил Бэнкс, — только и всего. — Он снял шляпу и прижал к груди. Выглядело это нелепо, как будто он на заре столкнулся в эссекской глуши с направлявшейся в парламент королевой. — Вот бедняга. Валялась здесь в темноте, на берегу, израненная, хватала ртом воздух.

«И правда бедняга», — подумал Уилл. И пусть гниющая рыбина напоминала разноцветные рисунки на полях рукописей, но даже самые суеверные из прихожан не приняли бы ее за чудище или мифическое существо. На берегу лежало обычное животное, такое же, как каждый из них, мертвое, как каждый когда-нибудь будет. Все, кто видел его, будто условились молчаливо, что загадка не то чтобы решена, но утратила смысл: невозможно было представить, что это разлагавшееся слепое создание, выброшенное из своей стихии, где некогда, должно быть, так красиво серебрились его упругие бока, нагоняло на них страх. Где же, в конце концов, обещанные крылья, сильные лапы с торчащими когтями? Уж не эта ли рыбина обвилась вокруг Крэкнелла и задушила его в устье Блэкуотера? Но старик умер на берегу, и сапоги были на нем.

— Что же нам делать? — спросил Ивенсфорд так, словно бы сожалел, что у его ног лежит труп рыбины и небесный суд не свершился. — Нельзя ее так оставить. Она отравит реку.

— Ее приливом унесет, — заверил Бэнкс, уж он-то на своем веку повидал дохлых рыб. — А не унесет, так чайки съедят.

— Там что-то шевелится, — вдруг заметила мать Хэрриет, прошла чуть вперед и уставилась на выпиравшее брюхо рыбы. — Внутри что-то шевелится!

Тут и Уилл увидел, как под кожей что-то корчится и дрожит. Преподобный зажмурился, потер глаза, решив, что ему померещилось,

потому что он рано встал и солнце еще низко, открыл глаза, и в тот же миг брюхо лопнуло, будто расстегнулось множество мелких пуговиц, и из рыбьего нутра вывалился клубок бледных извивающихся червей. Вонь была нестерпимая. Все дружно отшатнулись, как от удара, а Бэнкс, не сдержавшись, отбежал за остов Левиафана, и там его стошнило. Он не мог себя заставить взглянуть на червей. Не мог, и все тут. Он боялся, что в шевелившемся бледном клубке мелькнет рыжий локон. Но одна из женщин, не дрогнув, пнула вонючую массу ногой и сказала:

— Солитер. Вы только подумайте: длиной в несколько ярдов, и все никак не наестся. Он-то, поди, и прикончил рыбину, голодом уморил. Я и раньше такое видала — что же вы, ваше преподобие? Даже и не посмотрите? Уж не боитесь ли вы? Нашлась и на вас напасть?

Уилл согласно кивнул (отпираться не было смысла) и, преодолевая тошноту, взглянул на червя. Солитер был похож на белую ленту из беспорядочно сплетенных нитей, он дернулся раз-другой и замер. О чем думал Творец, создавая такое отвратительное существо, которое живет за счет других? А ведь и оно зачем-нибудь да нужно.

— Бэнкс, — произнес Уилл, борясь с желанием прочесть короткую проповедь, дабы отметить, как он был прав, противопоставляя суеверным страхам сельчан голос Божественного разума. — Бэнкс, что же нам делать?

— Ничего, — ответил тот, утирая влажные глаза, которые налились кровью от лопнувших сосудов. — Прилив унесет, к полудню или около того. Природа справится сама.

— И оно не отравит ни рыбу, ни устричные садки?

— Видите чаек? Видите грачей, которые прилетели за нами с луга? Птицы и река сделают свое дело: к воскресенью от рыбины не останется и следа.

Хрусталики мертвых рыбьих глаз подернулись молочной пеленой, и Уилл мысленно подытожил, хотя и понимал, что это глупости: испустила последний вздох. Вода подступила ближе, пошевелив гальку, и на носу ботинка проступило темное пятно, а подошву окаймила соль.

*Кэтрин Эмброуз
Дом священника
при церкви Всех Святых
Олдуинтер
11 сентября*

Кора, дорогая,

Слышали новость? Но коль скоро Вы решительно больше не интересуетесь бедным старым Эссексом (в самом деле, я не припомню случая, чтобы Вы так быстро позабыли о каком-то из своих увлечений!), то, вероятно, пребываете в неведении, а раз так, мне в кои-то веки выпало удовольствие сообщить Вам то, чего Вы пока не знаете, а именно:

ОНИ НАШЛИ ЗМЕЯ!

А теперь выдохните, налейте себе чаю (Чарльз, который через мое плечо читает это письмо, замечает, что солнце перевалило за нок реи, значит, можно пропустить и чего покрепче), и я Вам обо всем расскажу. Поскольку я сейчас в Олдуинтере, то слышала обо всем от самого преподобного Уильяма Рэнсома, который, как мы с Вами знаем, не способен приукрашивать — слишком тяжкий это грех, поэтому считайте, что рассказ мой так же правдив и точен, как если бы вышел из-под пера его преподобия.

В общем, дело было так. Вчера утром деревню разбудил омерзительный запах. Кажется, сперва все дружно решили, будто чем-то отравились, поскольку вонь стояла такая, что многих стошнило прямо в постели — можете себе представить?

Как бы то ни было, жители деревни набрались смелости, отправились на берег и там обнаружили это существо, оно уже было мертвым-мертво. Довольно большое, как и полагали. По словам Уилла, в длину оно оказалось футов двадцать, но не массивное. Уилл сказал, что оно было похоже на угря и отливало серебром или перламутром (на старости лет он стал поэтом). Увидели они его и поняли, какими были глупцами: ни когтей у чудища, ни крыльев; судя по его виду, это существо могло бы оттяпать кусок ноги, но уж точно не потрудилось бы вылезти из воды, чтобы схватить ребенка или овцу. Были и другие неприятные подробности, кажется связанные с каким-то паразитом, на которых я не хочу останавливаться, но, в общем, такие дела: существо оказалось не более диковинным или опасным, чем слон или крокодил.

Вас наверняка интересует, походило ли оно на морских змеев, которых выкапывала Ваша любимая Мэри Эннинг? Как ни жаль мне Вас разочаровывать, но нет. Уилл говорит, что у существа не было конечностей и что, несмотря на свои размеры и странный вид, это совершенно точно была самая обычная рыба. Поговаривали, что нужно бы известить власти — Уилл послал Чарльзу письмо, так как мы тогда были в Колчестере, — но прилив унес останки в море. Ах, Кора! Мне искренне Вас жаль. Такое разочарование! Я так надеялась в один прекрасный день увидеть в витрине Британского музея чучело морского змея со стеклянными глазами, а на стене медную табличку с Вашим именем. А как обманулись те, кто ждал Судного дня! Интересно, раскаялись ли они в своем раскаянии? Я бы раскаялась!

На следующий день мы приехали в Олдуинтер, надеясь собственными глазами увидеть останки чудища, так что пишу Вам из кабинета Уилла. Осень стоит теплая, мягкая; я вижу сквозь открытое окно, как в саду пасется коза. Так непривычно очутиться здесь без детей Рэнсомов, зная, что они ждут нас дома, в Лондоне! Все перевернулось вверх дном. И так непривычно видеть здесь Ваши вещи: Ваши письма (я не читала, хотя, каюсь, соблазн был велик), Вашу перчатку, окаменелость (кажется, аммонит?), которую, кроме Вас, никто не мог сюда принести. Мне даже показалось, будто я почувствовала Ваш запах, похожий на первый весенний дождь, — словно Вы только что встали со стула, на котором я сижу! Уилл держит в кабинете странные для священника книги — Маркса, Дарвина, — и они, несомненно, уживаются неплохо.

В Олдуинтере (который, признаться, всегда казался мне довольно унылой деревней) все по-новому. Сегодня утром, когда мы приехали, здесь был праздник. Поскольку опасность наткнуться за околицей на чудище миновала, детвора снова играет на улице, а женщины расстелили на траве одеяла и сплетничали без умолку,

привалившись друг к другу. Мы допили летний сидр (превкусный, куда лучше любого вина, какое мне доводилось пить в этом графстве) и в два счета расправились со всеми запасами окорока в Эссексе. Милая Стелла — клянусь, она еще более похорошела с тех пор, как я видела ее в последний раз (по-моему, это ужасно несправедливо), — надела голубое платье и немного потанцевала под скрипку, но вскоре отправилась к себе. Больше в тот день я ее не видела, хотя и слышала, как она ходит наверху, однако чаще всего она лежит в постели и что-то пишет. Я привезла ей от детей подарки и письма, но она их еще не читала. Она не верит, что диковинная рыбина на берегу и есть тот самый змей, но она последнее время так чудит, что я лишь пожала ей руку (такую маленькую и горячую!), поддакнула — ну разумеется, это вовсе не змей! — и позволила повязать мне волосы голубой лентой. Болезнь ее жестока, но к ней все же добра.

Вот что, Кора, я хочу Вам сказать — уж не сердитесь на старуху за проповедь. Чарльз говорит, что Вы так и не были у Люка Гаррета и не пишете ни Уиллу, ни Стелле, хотя и знаете, как она больна (точнее было бы сказать, умирает, хотя, конечно же, такова наша общая доля) и вынуждена была разлучиться с детьми.

Милая, я знаю, у Вас горе. Признаться, я никогда не понимала, за что Вы полюбили Майкла (меня он всегда пугал, уж не обессудьте), но все же Вы понесли утрату. Узы распались, отныне Вас ничто не держит, но к чему же рвать все связи? Нельзя же всю жизнь избегать того, что нас ранит. Это невозможно, как бы нам того ни хотелось: быть живым — значит чувствовать боль. Я не знаю, какая кошка пробежала между Вами и Вашими друзьями. Я знаю лишь одно: негоже человеку оставаться в одиночестве. Вы мне как-то признались, что больше не чувствуете себя женщиной, и теперь я понимаю, что Вы имели в виду: Вам кажется, что женственность — это слабость, что наша сестра обречена на страдания! Пусть так, но разве на то,

чтобы пройти одну милю, преодолевая боль, не требуется больше сил, чем на то, чтобы прошагать семь миль, не чувствуя боли? Вы женщина, а значит, должны жить, как все женщины. То есть без страха.

С любовью,

Кэтрин.

P. S. Вот что меня поразило: у всех отлегло от сердца, всех охватило облегчение, тут и скрипач с цветком в петлице, и чудесное угощение, — но отчего же никто не догадался снять подковы с Дуба изменника? Солнце село, а они как висели, так и висят, поблескивают, качаются на ветру.

Вам не кажется это странным?

*Кора Сиборн
Мидленд-гранд-отель
Лондон
12 сентября*

Милая Кэтрин,

Ваша проповедь ничуть меня не задела, и люблю я Вас не меньше, чем прежде. Похоже, я всех обидела, ну да мне уже не привыкать. Думаете, мне себя жаль? Что ж, так и есть, хотя, наверно, я бы перестала жаловаться на судьбу, если бы нашла источник своих бед. Иногда мне кажется, будто я понимаю, отчего мне так больно, но потом отвергаю эту мысль. Что за нелепость, в самом деле: разве потеря друга может так ранить?

Значит, эссекского змея все же нашли. Еще месяц назад я была бы в ярости, но в последнее время стала куда спокойнее. Признаться, время от времени я представляла, как увижу с берега торчащую из реки морду ихтиозавра (Бог свидетель, мне доводилось там видеть зрелища куда более странные!), но сейчас уже забыла об этом. Теперь это кажется мне такой

нелепостью, словно бы об этом мечтала не я, а какая-то другая женщина. На прошлой неделе заставила себя сходить в Музей естествознания; стояла там перед витриной и пересчитывала кости ископаемых, пытаюсь разбудить в душе былой восторг, но ничего не почувствовала.

Вы, должно быть, слышали, как жестоко я обошлась с доктором Гарретом. Но, Кэтрин, откуда же мне было знать? Теперь они не хотят, чтобы я приходила: я пишу, а он не отвечает. Боюсь, что и Уильям Рэнсом едва ли мне обрадуется. Я совершаю ошибки, я все порчу, я никудышный друг, никудышная жена и мать...

Ах (перечитала все, что написала выше), как можно так упиваться жалостью к себе! Какой от этого прок? Что бы на это сказал Уилл? Наверно, что мы отпали от благодати Божьей или что-нибудь в этом духе: чужие слабости никогда его не раздражали, поскольку человек грешен по природе своей, так чего же еще ждатель? А раз так, наверняка он простит и мои слабости — или же, по крайней мере, объяснит, какой из моих недостатков злит его сильнее прочих...

Видите, какой я стала? Что за ребячество! Что за уныние! Я и в детстве такой не была. Я и в трауре держалась достойнее!

Я напишу Люку. Я напишу Стелле. Я приеду в Олдуинтер.

Я буду умницей. Клянусь.

С любовью, милая К., — со всей моей любовью, потому что никому, кроме Вас, она не нужна.

Кора Сиборн.

Кора Сиборн
Мидленд-гранд-отель
Лондон
12 сентября

Дорогие Стелла и Уилл,

Не буду начинать с традиционной фразы «Надеюсь, все у вас благополучно», потому что знаю, что дела ваши идут отнюдь не гладко. Я с прискорбием узнала, как серьезно Стелла больна, и решила вам написать. Стелла, Вы были у доктора Батлера? Говорят, он лучший врач в Англии.

Я возвращаюсь в Эссекс. Скажите, что вам привезти? Какие угощения? Книги? У гостиницы продают пионы, я куплю столько букетов, сколько влезет в вагон первого класса.

Я слышала, что нашли змея, который оказался огромной рыбой, к тому же дохлой! Кэтрин мне писала, что весь Олдуинтер праздновал, и как жаль, что мне не довелось увидеть все собственными глазами.

С любовью,

Кора Сиборн.

4

— А его нет. — Стелла закрыла тетрадь и перевязала лентой. — Он очень расстроится, что вы его не застали, — нет-нет, не садитесь ко мне: вроде не першит, но иногда вдруг как зайдусь... ой, что это? Что вы мне такое принесли?

У Кору от облегчения и разочарования подкосились ноги; она улыбнулась, пряча досаду, положила подружке на колени сверток и сказала:

— Это всего лишь книга — мне кажется, вам должно понравиться, и марципаны из «Харродса» — я помню, вы их любите. Фрэнки, подойди поздоровайся.

Но тот, смущенно застыв на пороге, разглядывал комнату: сколько лет собирал сокровища, а такого никогда не видал. Фрэнсис считал себя искушенным коллекционером, но Стелла Рэнсом его явно превзошла. В темно-синем капоте и голубых домашних туфлях она лежала на белой кушетке между раскрытых окон с голубыми шторами, на шее — бусы из бирюзы. Пальцы Стеллы унизывали дешевые кольца, а на подоконниках блестели бутылочки синего стекла; были тут и бутылки из-под шерри, пузырьки из-под лекарств, флакончики из-под духов. На столах и стульях разложены по оттенкам и осколки стекла, найденные в канавах, и

выброшенные морем на берег матовые стеклышки, горлышки от бутылок, пуговицы, клочки шелка, сложенные бумажки, перышки, камешки, и все — синие. Фрэнсис благоговейно преклонил колени возле стола и признался:

— Замечательные у вас сокровища. У меня тоже есть сокровища.

Стелла оставила на мальчика голубые, как барвинки, глаза и ответила без тени удивления или осуждения:

— Значит, мы оба умеем находить красоту, которую никто не видит. — Она понизила голос и прошептала доверительно: — Точь-в-точь как ангелы, которые порой незримо нас посещают, последнее время их здесь немало.

Кора с тревогой заметила, как Стелла прижала палец к губам, призывая к молчанию, и Фрэнсис повторил ее жест. За время их отсутствия она стала такой чудной — быть может, болезнь виновата? Почему же Уилл ей не написал и ни о чем не рассказал?

Но Стелла оживилась, как прежде, и, теребя платье, проговорила:

— Мне о стольком хочется вас расспросить, о стольком рассказать! Как поживает доктор Гаррет? У меня сердце едва не разорвалось от жалости, когда я узнала об этом несчастье! Никогда не забуду, как он был добр ко мне, когда мы приехали в больницу. И не просто добр: он разговаривал со мной, как с равной, ничего от меня не скрывал, не то что остальные. Неужели ему правда больше не суждено оперировать? Я уже была готова согласиться на все его предложения, пусть делает со мной что хочет, но, видимо, теперь об этом и не может быть и речи.

У Кору перехватило дыхание — такую боль причиняла ей мысль о Чертенке.

— Спенсер уверяет, что он поправляется, — с деланой беззаботностью ответила она. — Не так уж сильно его и ранили. Ему же не отрезали палец. А банальной уличной дракой его не возьмешь. Не надо, Фрэнки, не трогай, это не твое. — Мальчик брал серо-голубые камешки с каминной полки и складывал на ковер. Не обращая внимания на мамины слова, Фрэнсис подышал на плоский гольш и потер его о рукав.

— Оставьте, пусть возится: он меня понимает, — сказала Стелла, и обе женщины стали наблюдать, как Фрэнсис выкладывает на ковре семиконечную звезду из камней. Кора заметила, что мальчик время от времени бросает на Стеллу восторженные взгляды, и немало удивилась. — У меня забрали детей, — печально призналась Стелла, на мгновение утратив привычную беспечность, — разумеется, я помню их лица, у меня есть их фотокарточки, но совсем позабыла, как они обвивают мою шею руками, как садятся ко мне на колени. Вот хоть на вашего посмотрю.

Стелла оперлась на изогнутый подлокотник кушетки, и румянец на ее щеках разгорелся ярче. Когда Стелла подняла голову, Кора заметила, что корни ее волос потемнели от пота.

— Но скоро они вернутся, Кэтрин Эмброуз их привезет, — продолжала Стелла и погладила Библию. — Отец небесный посылает нам крест по силам.

— Так и есть, — согласилась Кора.

— А еще говорят, будто бы нашли змея, и оказалось, что это всего-навсего гнилая рыба! — Стелла с заговорщическим видом подалась вперед: — Не верьте им! Вчера ночью на берег в Брайтлингси море выбросило собаку со сломанной шеей, да и дочку Бэнкса так и не нашли...

«С какой радостью она об этом говорит, — удивленно подумала Кора. — Словно хочет, чтобы в Блэкуотере и впрямь завелся змей!» Кора взяла подругу за руку. Что тут скажешь?

— По ночам я слышу его шепот, — продолжала Стелла, — хотя слов никак не разберу...

Глаза Стеллы сверкали, будто она провидела не кару, а спасение. Она что-то записала в тетради, тряхнула головой, словно очнулась от дремоты, и спросила:

— А как Марта поживает? Должно быть, не очень-то рада вернуться в Олдуинтер.

Сплетничать Стелла не разлюбила, и некоторое время они перебирали общих знакомых. Отсутствие Уилла словно заполняло комнату.

Фрэнсис сидел поодаль и, по своему обыкновению, наблюдал за происходящим. Он видел, как Стелла сжимала тетрадь, как гладила голубую обложку, как вдруг оживилась, услышав что-то, сказанное его мамой, и снова стала рассеянной и задумчивой. Время от времени с губ ее срывались странные фразы:

— Недаром же сказано — и вы наверняка со мной согласитесь, — «ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие»,^[49] — и тут же добавляла оживленно: — Крэкнелл умер, а Магогу и горя мало: молоко у нее все такое же вкусное.

Мамины глаза потемнели, как бывало всякий раз, когда ее что-то тревожило. Она гладила Стеллу Рэнсом по руке, кивала и ни разу не возразила, только спросила: «Как вам удастся заплетать такую красивую косу? Я, как ни старалась, ничего не получается!» — и налила еще чаю.

— Приходите поскорее, — проговорила Стелла, когда Кора поднялась и стала прощаться. — Жаль, что вы разминулись с Уиллом, ну да я передам ему от вас привет. Молодой мистер Сиборн, — Стелла протянула руки к

Фрэнсису, — давайте дружить: мы с вами друг друга понимаем как никто. Приходите в гости, приносите ваши сокровища, и сравним, у кого лучше!

Фрэнсис подал ей руку и удивился: до чего горячие ладошки, и какие крохотные, меньше, чем у него!

— У меня есть три пера сойки и куколка бабочки, — ответил он. — Если хотите, завтра принесу.

*Кора Сиборн
Дом 2 на Лугу
Олдуинтер
19 сентября*

Уилл, дорогой,

Вот я и вернулась в Эссекс. Дом совсем промерз: пишу, сидя у маленькой печки, одно колено горит, а второе заледенело. От стен тянет такой сыростью, что пробирает до костей. Даже обидно. Иногда по ночам мне мерещится запах соли, а иногда и рыбы — еле уловимый, он доносится из окна, — и сколько бы ни твердили, что эссекский змей оказался дохлой рыбиной, которую потом унесло приливом, поневоле представляешь, что он по-прежнему в реке, смотрит и выжидает, а то уже и на пороге и вот-вот проберется в дом...

Меня все презирают, так и живу. Марта со мной груба: когда приносит чай, ставит чашку передо мной так резко, что на меня летят брызги. Ей не терпится вернуться в Лондон, и мне кажется, что скоро она меня покинет. Люк запретил мне появляться, хотя Спенсер привез его в Колчестер, чтобы сменить обстановку. Я уж готова идти к нему пешком! Спенсер отвечает на мои письма, каждый раз пишет «С уважением», но, разумеется, ни капли меня не уважает. Кэтрин то и дело поглядывает на меня эдак с пониманием, словно хочет сказать: что бы я ни натворила, она на моей стороне. Меня эти ее взгляды так раздражают, что, право, лучше бы она вlepила мне пощечину.

И разумеется, меня презирает Фрэнки, но не более, чем всегда. Кажется, в Стелле он нашел то, чего не

сумел отыскать во мне. Он ее уважает! Отчего бы и нет? Я не знаю человека отважнее, чем она.

Вы пишете мне по-дружески тепло, но все же мне часто кажется, что я лишилась и Вашего расположения. Признаться, я натворила немало глупостей: и то, что я подпустила Люка к Джоанне, и та странная ночь в июне, и то, что я вообще приехала сюда!

Марта упрекнула меня в эгоизме — дескать, вечно я хочу всех к себе привязать, не заботясь о том, чего хотят они. Я ей ответила, что все так живут, в противном случае мы бы все остались в одиночестве, и она со всей силы хлопнула дверью, разбила кусок стекла.

Только Стелла на меня не злится. Я просидела у нее целый день — она Вам говорила? — и она целовала мне руки. Я боюсь за ее разум: мне кажется, ее попеременно обуревают то отчаяние, то такой восторг, словно она уже стоит у райских врат. Но какая же она красавица, Уилл! Я ни когда не видала ничего подобного. Ее рассыпанные по подушке волосы и сияющие глаза так прекрасны, что любой художник прослезился бы и схватился за кисть. Она не верит, что змея нашли. Говорит, что слышит его шепот, хотя слов не разобрать.

Расскажите мне, как Вы поживаете. По-прежнему просыпаетесь в несусветную рань и пьете кофе в халате, дожидаясь, пока проснется вся семья? Дочитали Вы тот ужасный роман о Помпеях? Видели ли уже зимородков? Скучаете ли по Крэкнеллу, не хочется ли Вам, как прежде, прислониться к его воротам и наблюдать, как он сдирает шкуры с кротов?

Скоро ли мы с Вами увидимся?

Ваша

Кора.

Прп. Уильям Рэнсом
Дом священника

при церкви Всех Святых
Олдуинтер
20 сентября

Дорогая Кора,

Стелла сказала мне, что Вы заходили. Впрочем, я и сам бы догадался: кто еще потратит целое состояние на сласти из «Харродса»? (Кроме шуток, спасибо за подарок: я смотрю, как Стелла грызет марципан, и радуюсь, что она ест хоть что-то кроме горячего «боврила»^[50].)

Она очень привязалась к Фрэнсису. Говорит, что они родственные души. Кажется, это как-то связано с ее новой страстью украшать дом всякой всячиной. Я ей сказал, что пишу Вам письмо, и она попросила, чтобы он поскорее пришел — хочет что-то ему рассказать. Доктор уверяет, что, поскольку кашель пока несильный, навещать ее можно.

Заметили ли Вы, как все переменялось в Олдуинтере? Я знаю, Вы уже слышали, как мы нашли на берегу дохлую рыбу и как нас разбудила ее вонь. Очень жаль, что Вас там не было: помню, я ловил себя на этой мысли и гадал, как Вы могли уехать...

Тот вечер удался на славу, будто сразу отмечали праздники и весны и урожая. Всю деревню охватило такое облегчение, что на лугу пели и плясали ночь напролет. Да и у меня, признаться, словно камень с души, хотя я и знал, что бояться нечего! Беднягу Ивенсфорда жаль: с тех пор как стало ясно, что конец света откладывается, он места себе не находит. По воскресеньям теперь пустуют еще несколько скамей. Ну да надо радоваться, что у людей совесть настолько чиста.

И все же есть от чего впасть в отчаяние. В доме тихо, как на кладбище. Я даже перестал запираť дверь кабинета: все равно никто не войдет. Дети пишут почти каждый день и обещают приехать на будущей неделе. Когда я представляю, как они бегут по садовой дорожке, мне хочется вывесить знамя и дать

зал салюта из пушки!

Стелла рада, что они возвращаются, но витает где-то далеко. Порой, чтобы меня утешить, уверяет, что не умрет, — а потом говорит, что взывает бессмертия, и мне кажется, что ей не терпится умереть. Я ее люблю. Мы так долго любим друг друга, что мне кажется, будто я люблю ее всю взрослую жизнь — с тех пор, как стал мужчиной. Я не представляю жизни без нее, как без руки или без ноги. Что я без нее? Вдруг без ее взгляда я перестану существовать? Что, если однажды утром я посмотрю в зеркало и никого не увижу?

И правда ли все то, что я только что написал, если при известии о Вашем возвращении я обрадовался так, как не смел и представить?

Я гуляю каждый вечер, часов в шесть, в противоположную от болота и устья реки сторону. Я до сих пор не могу позабыть ту ужасную вонь, потому и гулять хожу прочь от реки, в лес.

Буду рад Вас видеть. Пойдемте гулять. Согласны?

Уильям Рэнсом.

5

Кора в твидовом мужском пальто высматривала на лугу Уилла. Вечер был слишком теплый, чтобы поднимать воротник, лето выдалось мягким, и осень тоже наступала несмело. Но Коре было не по себе, и не только при воспоминании о том, как Уилл держал ее за талию. Ей хотелось укутаться в тяжелую одежду, обезобразить себя бесформенной тканью и массивными башмаками, не спрячь Марта ножницы, Кора обрезала бы волосы, но пришлось довольствоваться уложенными на затылке косами, точно школьница поутру.

Она так давно не видела своего друга, что боялась не узнать, и от волнения у нее пересохло во рту. Как-то он ее встретит? Будет ли к ней суров, упрекнет ли в том, как она его разочаровала? Заговорит ли с ней тепло, как когда-то, или же будет робеть (что ее всегда удручало)?

Ветер донес с Блэкуотера соленый запах; в высокой траве виднелись шляпки грибов, жемчужные, как устричные раковины. Уилл подкрался к

ней неслышно, точно расшалившийся мальчишка, легонько тронул за руку выше локтя: «Право же, не стоило так наряжаться ради меня». Размеренный ритм, протяжные гласные — все это было так знакомо, так мило, что Кора позабыла страх и расправила полы пальто в реверансе.

Они с улыбкой разглядывали друг друга. Уилл был без воротничка и, как истинный сельский житель, не обращающий внимания на то, какое нынче время года, без пальто. Он закатал рукава, словно весь день работал, и расстегнул на горле пуговицы рубашки. Волосы его с тех пор, как Кора видела его в последний раз, отросли, выгорели и в свете заходящего солнца казались янтарными. На щеке все так же виднелся шрам в форме овечьего копыта, а глаза покраснели, как будто он тер их, читая вечернюю газету. «У него бессонница», — с пугающей нежностью подумала Кора.

Под его взглядом она почувствовала, как сильно подурнела: лицо приобрело землистый оттенок, оттого что она почти все лето просидела взаперти, а волосы на макушке торчали в разные стороны. Если она когда и смотрела в зеркало, то лишь для того, чтобы с полным равнодушием отметить тонкие морщинки в уголках глаз и складку между бровей. Все это Кора сейчас остро припомнила, и ее охватило облегчение. Невозможно было поверить в то минутное помрачение, что летом послужило причиной их разлуки, — ни один мужчина на свете теперь не взглянул бы на нее с вождедением. Эта мысль показалась ей такой нелепой, что она рассмеялась, и ее смех обрадовал Уилла, потому что вычеркнул прошедшие недели и вернул его в ту теплую комнату, где она когда-то впервые протянула ему руку.

— Что ж, миссис Сиборн, пойдете, — сказал он. — Мне столько нужно вам рассказать.

Кора мгновенно почувствовала себя свободно и раскованно, она больше не боялась и не стыдилась. Они шагали быстро, нога в ногу, прочь из деревни и от реки. Прошли мимо церкви Всех Святых и не отвели глаза, поскольку не видели в вечерней прогулке ничего предосудительного.

У обоих накопилось столько забавных и печальных историй, столько небылиц и смутных предположений, что битый час они болтали без умолку. Они словно заново открывали друг друга, с удовольствием подмечали знакомые жесты, излюбленные словечки, склонность умалчивать или преувеличивать, и если один вдруг отклонялся от темы, другой тут же следовал за ним. Они наслаждались общением друг с другом, как повелось с первой встречи, и их ничуть не смущало, что негоже так часто улыбаться и так охотно смеяться, в то время как утопавшая в голубых шелковых подушках Стелла прикрывает рот платком и кашляет кровью, а

Люк Гаррет в Колчестере не знает, как жить дальше. Они не столько простили, сколько забыли друг другу предательство; теперь они снова вместе, а значит, все по-старому.

— Подумать только, всего-навсегда дохлая рыба! — воскликнула Кора. — Вот вам и змей с клыками и крыльями! Никогда еще я не чувствовала себя такой идиоткой. Я ведь ходила в читальный зал (признаться, я втайне надеялась, что встречу там вас) и, как прилежная школьница, писала конспекты, разглядывала в книге ремнетела, которого тридцать лет назад выбросило на берег Бермудских островов, читала о том, что эти рыбы перед смертью плавают у поверхности. Впору извиниться перед Мэри Эннинг за то, что опозорила и ее пол, и род занятий.

— Но какая рыбина! — И Уилл описал, как лопнула блестящая кожа на рыбьем животе и как его содержимое извивалось на берегу.

Заговорили о Стелле, и Кора отвернулась: однажды она уже расплакалась при Уилле и больше не хотела.

— Она попросила показать ей предметное стекло под микроскопом, — рассказывал Уилл, в который раз изумляясь отваге жены. — Она смотрела на содержимое собственных легких, зная, что в них таится смерть, куда смелее, чем я. Мне кажется, она давно обо всем догадалась. Ей ведь и раньше доводилось такое видеть.

— Таких женщин, как Стелла, часто недооценивают. Люди думают, что если она красавица и любит наряжаться, сплетничать и болтать, то пуста, как статуэтка балерины, которая описывает пируэты на шкатулке, но мне с первого же ее письма стало ясно, как она проницательна и умна, — думаю, она и сейчас все прекрасно понимает.

— Не хуже, чем раньше, хотя кое-что изменилось. — Они дошли до опушки леса, тропинка сузилась, на дубах сидели стаи галок, а ежевика цеплялась за одежду. Ягоды сгнили на ветках, поскольку из-за «напасти» никто из жителей деревни давным-давно не ходил с корзиной в лес. — Кое-что изменилось. Меня предупреждали, но такого я не ожидал. Разумеется, Стелла верующая, иначе я бы на ней не женился, — чему вы удивляетесь? А как иначе я оставлял бы жену одну каждое воскресенье и еще половину недели, если бы она не верила в того же Бога? Да, она верующая, но верит иначе, нежели я. Ее вера всегда была, — тут Уилл замялся, подбирая слово, — благовоспитанной, что ли. Понимаете, о чем я? Сейчас все иначе, и меня это смущает. Она поет. Я просыпаюсь ночью и слышу, как она поет у себя в комнате на другом конце коридора. Мне кажется, что слухи о змее перепутались у нее в голове с библейскими легендами, и она не верит, что его больше нет.

— Вы говорите, как чиновник, а не как священник! Наверно, те женщины, которые отправились к гробнице Спасителя, — забыла, как их звали, — тоже, как и она, ослепленные сиянием славы и уже еле живые, мечтали, чтобы все это поскорее кончилось... Нет, я над вами не смеюсь и, видит Бог, никогда не смеялась над Стеллой, но коль скоро вы настаиваете на истинности собственной веры, то, по крайней мере, должны согласиться, что вера иррациональна и для нее не важны ни выглаженная сутана, ни чин богослужения.

Кора почувствовала раздражение: она и забыла, с какой легкостью они выводят друг друга из терпения. Она подумала, не продолжить ли разговор о вере, но сочла, что пока не время обсуждать непростые темы.

— Впрочем, я вас понимаю, — примирительно сказала она, — я очень вас понимаю. Ничто нас так не тревожит, как перемены в любимых. Мне часто снится кошмар (я не раз вам об этом рассказывала), как я прихожу домой, Марта и Фрэнсис снимают лица, как маски, а под ними ненависть и отвращение... — Кора вздрогнула. — Но она по-прежнему ваша Стелла, ваша звезда морей, «любовь не знает убыли и тлена».^[51] Так что вы намерены делать? Как думаете ее лечить?

Уилл рассказал о полном треволнений дне в больнице, о вежливости доктора Батлера и сарказме Люка, о том, как спокойно Стелла выслушала диагноз и рекомендации врачей.

— Доктор Батлер осторожен, он хочет еще раз ее осмотреть, хочет колоть ей туберкулин, популярное лекарство. Чарльз Эмброуз обещал, что все оплатит, и как я могу отказаться? Не в моем положении упиваться гордыней.

— А Люк? — спросила Кора и вспыхнула: она все еще не могла выговорить его имя, не краснея от стыда.

Уилл мог бы себя заставить простить Чертенка, но, коль скоро вера не обязывала его любить своих обидчиков, он ответил:

— Вы уж не обессудьте, но я даже рад, что он не сможет оперировать: он собирался проткнуть ей легкое, чтобы другое зажило! Не поймите меня превратно, я глубоко сожалею, что его ранили, но благополучие Стеллы заботит меня куда больше, и ни о чем другом я сейчас думать не могу.

И смешался, словно его поймали на лжи. «Ни о чем другом я сейчас думать не могу», — сказал он. Ах, если это было бы так! Если бы это было так!

— А что говорит Стелла? — Кору охватило чувство, похожее на ревность: интересно, каково это, когда тебя любят так безоглядно?

— Что Христос придет, чтобы забрать свои драгоценные камни, и что

она готова, — ответил Уилл. — По-моему, ей все равно: как будет, так будет. Иногда она говорит, что на будущий год в это время заберется на Дуб изменника вместе с Джеймсом, а иногда я захожу и вижу, как она лежит, сложив на груди руки, точно уже в гробу. И этот ее голубой, все время голубой! Посылает меня за фиалками, я объясняю, что не сезон, и она едва не плачет от злости.

Уилл поведал Коре — робко, поскольку стыдился этого, — о сделке с Богом и как он готов был, если бы получил благословение свыше, отдать жену в руки Люка, под его скальпель и иглы.

— Но тут мы узнали, что Гаррет был ранен, и если я не увидел в этом знамение, то Стелла уж точно: она вздохнула с облегчением и сказала мне, что согласилась бы на операцию, если бы я счел это необходимым, но предпочитает ввериться Господу. Иногда мне кажется, что она хочет нас оставить, хочет уйти от меня!

Кора украдкой взглянула на друга. Тот настолько редко терял самообладание, что сейчас она испугалась.

— Помню, как заболел Майкл, — заговорила Кора. — Мы завтракали, и он вдруг не смог сделать глоток. Он застыл, побагровел, вцепился в скатерть, схватился за горло — а поскольку он никогда ничего не боялся и при любых обстоятельствах контролировал себя, мы поняли, что стряслась беда. Тут в окно влетела птица. Я ничуть не суеверна, но в тот миг вспомнила приметку, что если в дом влетела птица, это к покойнику. Меня охватило такое облегчение, что я просто сидела и смотрела, как он задыхается... потом, разумеется, опомнилась, мы дали ему воды, его стошнило, чуть погода у него начались кровотечения, послали за Люком. Тогда я увидела его впервые. Признаться, я его побаивалась, — не странно ли? Никогда не знаешь, кем станет тебе незнакомец, который переступает порог твоего дома... Ах! — Кора покачала головой. — Сама не знаю, к чему я это говорю, как можно сравнивать их со Стеллой! Она совершенно иной породы! Наверно, я это к тому, что перемены всегда застают нас врасплох.

И Уилл подумал благодарно: как странно, что Кора так его понимает, хотя не согласна почти ни с чем, что он знает и ценит.

Сгущались сумерки. Розовое солнце пряталось под черной тучей, лучи его касались лишь стволов каштанов и буков, а кроны тонули во мраке, и казалось, будто на бронзовых колоннах покоится плотный черный балдахин. Кора и Уилл подошли к невысокому холму, тут и там тропинку пересекали через равные промежутки корни деревьев, образовав пологую лестницу с широкими ступенями. Все покрывал плотный ковер сочного

зеленого мха.

Как бы приятно и оживленно ни текла беседа, ей не хватало доверительности их писем, в которых они так охотно говорили о «я» и «вы». Но теперь, когда вокруг сомкнулся лес, можно было коснуться самого главного, пусть нерешительно и постепенно.

— Я так обрадовался, когда вы мне написали, — робко признался Уилл. — Мне в тот день было очень грустно, и вдруг на коврике у двери я увидел ваше письмо.

— А я рада, что смирила гордыню. — Кора поставила ногу на зеленую ступеньку, примолкла на миг, а потом продолжила: — Вы так на меня рассердились за то, что Люк опробовал на Джо свои трюки. Я не обижаюсь, когда на меня сердятся, если я это действительно заслужила, но тут я ни в чем перед вами не провинилась, я лишь хотела помочь! Если бы видели то, что видела я, — как девочки смеялись, как мотали от хохота волосами...

Уилл раздраженно покачал головой:

— Ну да что теперь об этом вспоминать, дело прошлое. — Он рассмеялся и добавил: — Люблю с вами спорить, но только не о важном.

— Только о добре и зле...

— Именно так. Смотрите-ка, мы в соборе. — Высоко над головой дерева наклонились, образовав нечто вроде алтарной арки; у дуба возле тропинки отломилась ветка, оставив глубокую впадину над заостренным уступом. — Как будто Кромвель взял молоток и стамеску и уничтожил святыню.

— Я видела, что вы наконец избавились от змея, осталось только несколько чешуек, — заметила Кора. — Я заходила в церковь в тот день, как вернулась в деревню. Что же вас так рассердило?

Уилл вспомнил о постыдном случае на болоте в день летнего солнцестояния, куда он сбежал от всех, закашлялся и сказал:

— Джоанна бы мне уши надрала, не подоспей известие о смерти Крэкнелла. Смотрите-ка: надо же, каштаны лежат, а дети их не собирают.

Он наклонился, набрал горсть каштанов и протянул один Коре. Та сунула кончик пальца в трещину в зеленой оболочке и раскрыла ее, на белом шелковом ложе блестел орешек.

— Я рассердился, — признался Уилл. — Вот и все. Теперь напасть миновала, и я почти позабыл, каково это: как все сидели по домам, не пускали детей на улицу и, как я ни убеждал, что бояться нечего и все эти страхи — пустая выдумка, не верили ни единому моему слову.

— Я сразу же это заметила, — согласилась Кора, — в деревне все по-

новому. Я слышала, как поет школьный хор, и только дома вспомнила, как девочки заходились смехом и как плохо все кончилось. Подумать только, когда я впервые сюда приехала, на лугу не было ни души и все на меня косились, точно я во всем виновата! Точно это я навлекла на них беду!

— Порой мне кажется, что так и было. — Уилл опустил руки, ковырнул носком мох и полушутя-полусерьезно взглянул на Кору с упреком.

Кора засмеялась:

— Напасть, быть может, и не моих рук дело, да что толку: я напутала в остальном. Вот вы написали, что не ждете от жизни нового, и я поняла, сколько ошибок натворила. Напросилась к вам в гости. Разве что не выбила окно! Настояла на том, чтобы мы переписывались, хотя жили самое большее в полумиле друг от друга! И все лишь потому, что мы однажды с вами разговорились...

— Не забывайте об овце, — вставил Уилл.

— Да, и овца, конечно же. — Они переглянулись с облегчением, словно переступили через показавшуюся на тропинке трещину. Но трещина ширилась, и они споткнулись.

— Мои окна и так были выбиты, — заметил Уилл. — Или нет, пожалуй, я их запер на шпингалет — но отчего? Отчего я так радуюсь, когда вижу вас? Ведь у меня есть все, о чем только можно мечтать...

— Меня это вовсе не удивляет. — Кора выковыряла каштан из кожуры и покатила в ладонях. — Неужто вы правда думали, что можно любить либо одно, либо другое? Уилл, милый, бедный, неужто же вы полагали, будто в вас так мало любви? Кстати, как вы думаете, что мне с этим сделать: запечь, сварить или замариновать в уксусе? — Она притворилась, будто бросает в него каштаном, но он увернулся и поднялся на ступень-другую выше Кору.

— Полно ребячиться, — раздраженно ответил Уилл. — Думаете, я не знаю, какого вы мнения обо мне — пусть даже в глубине души? Вы считаете меня спятившим на Боге полудурком, которому до вас далеко, потому что вы-то стоите на высшей ступени эволюции!

Кора мрачно взглянула на Уилла, но ему показалось, что краешек ее губ дрогнул в улыбке, и он продолжил, распаляясь, так что слова его прозвучали жестоко, чего он совсем не хотел:

— Вы только посмотрите на себя! Как бы вы ни рядились — в шелка и бриллианты или в лохмотья, которыми и Крэкнелл бы побрезговал, что бы вы ни делали — смеялись над нами или клялись в любви всем подряд, вы всегда отгораживались стеной, потому что не хуже меня знаете: молодость

ваша почти миновала, а вас никто и никогда не любил так, как должен был...

— Довольно, — перебила Кора.

Искренность, к которой она стремилась в письмах, здесь, под черным лесным балдахином, ранила нестерпимо; ей хотелось вернуться на твердую почву бумаги и чернил, сбежать отсюда, чтобы не краснеть и не чувствовать за сладковатым дымом далекого пожара запах его тела под рубашкой. Возмутительно, в самом деле: пусть бы и дальше писал ей письма, а она бы и впредь не замечала, что он, оказывается, человек из плоти и крови, не чувствовала, как бешено бьется жилка на шее.

— Слезайте отсюда, — добавила Кора. — Спускайтесь. Не будем ссориться. Разве мало мы с вами ругались?

Уилл пристыженно склонился под деревом, пошарил в опавшей листве, подобрал с земли несколько каштанов и один за другим передал Коре. Она зажала каштаны в руке.

— Как жаль, что мы уже не дети! В детстве это были сокровища, их берегли, ими менялись. — Она подошла к Уиллу и села рядом с ним на мох. — Так было бы здорово вновь стать детьми и вместе играть...

— Разве невинность вернешь! — ответил Уилл, и у него вдруг закружилась голова, как будто от ее слов они оба взлетели высоко и еще не упали. — Мы утратили невинность, вы притворяетесь, не даёте мне в руки... — Он грубовато дернул ее за рукав: — Вы что же думали, если наденете мужское пальто, то я и не вспомню, кто вы на самом деле?

— А вы вообразили, будто я надела его из-за вас? — парировала Кора. — Я и сама не вспоминаю о том, что женщина. Я перестала ею быть. Бог свидетель, я плохая мать, да и женою толком никогда не была... а вам бы хотелось, чтобы я мучилась в туфлях на высоких каблуках и запудривала веснушки? Тогда вы бы держались настороже?

— Вовсе нет. Мне кажется, это вы настороже: вы мне как-то признались, что хотели бы превратиться в чистый разум без тела, чтобы вас не тревожили собственная плоть и кровь...

— Так и есть! Я их презираю, тело всю жизнь меня предает. Оно — не я. Я здесь, я — в мыслях и словах...

— Да, — ответил Уилл, — да, безусловно, но и здесь тоже вы. — Он раздвинул полы ее пальто, вытащил блузку, заправленную в юбку, и вспомнил, как когда-то коснулся ее талии и сам себя за это стыдил. Но сейчас ему было ничуть не стыдно. Оторваться от нее было бы оскорбительно — разве можно выучить наизусть все изгибы и повороты ее мысли и ни разу не коснуться ее кожи, не узнать ее запах и вкус? Это было

бы вопреки законам природы.

Сгущались сумерки; Кора лежала, откинувшись на мягкую зеленую ступеньку, и не сводила с Уилла пристального зовущего взгляда, в котором не было ни тени удивления. Он приподнял блузку и между черных ее одежд увидел мягкий живот, ослепительно белый, с серебристыми полосками, которые оставил сын. Уилл приник к ее животу губами, а она изгибалась от наслаждения.

Солнце село, лес сомкнулся над ними, и медь на колоннах деревьев покрылась патиной. Позолоченный купол исчез, остался лишь запах прелой листвы, сухой травы да паданцев, гниющих на тропинке. Кора устала на Уилла привычный невозмутимый взгляд, и все ее существо устремилось навстречу ему, как река в половодье.

— Пожалуйста, — она потянула вверх юбку, и в ее просьбе Уиллу послышался приказ, — пожалуйста.

Он с легкостью нашел путь, скользнул рукой внутрь и принялся ее ласкать. Кора откинула голову и затихла. Он показал Коре блестящую от влаги ладонь, облизал указательный палец и дал ей облизать, чтобы разделить этот вкус.

6

В ту же ночь, но чуть позже, милях в пяти от того места доктор Гаррет шагнул вдоль ячменных полей, урожай с которых собрали после заморозков. Он забрал себе в голову дойти до реки Коулн и вышел глухой ночью, когда кажется невыносимой легчайшая ноша, а рассвет до нелепости далек.

Луна еще не исчезла, однако небо на востоке местами уже светлело, и над полями вставал туман. Порой его густые клубы налетали на Гаррета, холодили щеку, точно чье-то влажное дыхание, и улетучивались, как вздох. Река скрылась из виду. Впрочем, Гаррета это не заботило, равно как и то, где он очутится. Если бы мог, он бы сбежал из собственной кожи. Просторы Эссекса казались его лондонскому глазу до странности однообразными: куда ни кинь, распаханное поле, кое-где белеют под заходящей луной ячменные стерни, а в низких живых изгородях кипит жизнь. Ряды крепких дубов провожали его взглядами, точно часовые, — он здесь чужак.

Наконец он вышел на поросший густой травой косогор, с которого открывался вид на холмистые равнины и дремавшую в низине деревушку, и сел отдохнуть под дубом. Тот уже сбросил листья — от болезни ли, от невезения ли, — и на его ветвях в неверном предутреннем свете зеленела

омела. Другой бы на месте Гаррета представил, как под нею на Рождество целуются влюбленные, но он знал, что омела — паразит, который высасывает из дерева все соки. Ее клубки на голых ветвях, подумал Гаррет, выглядят точь-в-точь как опухоли в легком.

Стоило ему усесться отдышаться, как он почувствовал боль, которую на ходу не замечал. Горели стертые до мозолей непривычные к долгим прогулкам ноги (в Лондоне он проходил от силы миллю-другую), опухло и ныло колено, которое он ушиб, когда споткнулся о ступеньку, но сильнее всего болела раненая рука. Во время прогулки он вытянул ее вдоль тела, кровь прилила к заживавшему шраму, и теперь ладонь саднила. Там, где плоть прорезали нож и скальпель, образовалась тонкая складка, похожая на заштопанный рот. «Жил на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке».

Впрочем, Гаррет не досадовал на боль, она отвлекала его от мучительного отчаяния, которое преследовало его по пятам с тех самых пор, как он приехал из Лондона со ставшей никчемной рукой и письмом от Кору в кармане. «Как вы могли?» — вопрошала она, и ее гнев передавался ему. Гаррет понимал ее чувства: и правда, как он посмел? Кора как-то сказала: что проку в некрасивом и бесполезном? — а он теперь был и то и другое. Злющий коротышка, ни дать ни взять зверь, не человек, а теперь еще (он ткнул большим пальцем левой руки в раненую правую ладонь, и от боли закружилась голова) и никуда не годный.

С того самого дня, как ладонь его вспорол нож, Гаррет каждую ночь просыпался в поту, который собирался в ямке между ключицами и пропитывал подушку. «Я ни на что не гожусь, — повторял он и бил себя кулаками по вискам, пока не начинала болеть голова, — я ни на что не гожусь, ни на что!» Все, что составляло для него цель в жизни, отнято и никогда не вернется.

Иногда по утрам несколько мимолетных мгновений жизнь снова манила надеждами: вот его тетради и макеты сердца с камерами и венами, вот письмо, которое Эдвард Бертон написал ему после своего выздоровления, а рядом конверт с камешком от Кору и объяснительной запиской, сделанной ее мальчишеским почерком. Но потом он все вспоминал, понимал, что это бутафория, как в театре, и перед ним словно опускался черный занавес. Его преследовала не грусть — он, может стать, и рад был бы погрузиться в угасающую печаль наподобие той, что охватывает в парке на мемориальной скамье, но нет, его обуревала горькая ярость, а следом странное оцепенение. Иной раз собственные переживания вызывали у него легкое недоумение, и тогда Гаррет лишь пожимал

плечами.

Он сидел под дубом в ожидании рассвета и неспешно думал: «Если я уже ни на что не гожусь, отчего бы не покончить с собой?» Не было долга, который обязывал его жить дальше, никакая сила не могла заставить его пройти еще хоть ярд. Не было Бога, который утешил бы его или осудил, он не держал ответ перед высшим разумом — только перед своим.

Коралловые лучи коснулись низкого облака на востоке. Люк перебирал доводы в пользу жизни и все отметал как несущественные. Некогда честолюбие вывело его из бедности и бесславия, но все это в прошлом. Теперь мысли его туманятся, текут медленно, да и то сказать: какой от них толк при искалеченной руке? Прежде его удержала бы любовь к Коре, но и это он потерял. О нет, ее отповедь не уничтожила его чувства, но теперь он их стыдился и любил ее скрытно, втайне. Станет ли она его оплакивать? Пожалуй, да, подумал он и представил, как Кора наденет черное платье, подчеркивающее белизну ее кожи, как Уильям Рэнсом поднимет глаза от книги и увидит ее на пороге: она ахнет, на щеке ее блеснет слеза. О, разумеется, она станет его оплакивать — что-что, а это она умеет.

Он представил, как встретит весть о его смерти мать. Она никогда не держала его фотографию на каминной полке — что ж, вот и повод, купит по дешевке серебряную рамку и спрячет за стеклом его черный детский локон. И Марта, конечно же, — при мысли о ней Люк даже улыбнулся. То, чем они занимались в ночь летнего солнцестояния, доставило обоим удовольствие, но это было жалкое подобие того, чего оба хотели. «Что за путаница, — подумал он, — как же мы все запутали». Если и правда у Купидона есть лук и стрелы, то кто-то выколол ему глаза, так что он стреляет вслепую и никогда не попадает в цель.

Нет решительно ни одной причины продолжать, и он сам опустит занавес. Люк устремил взгляд вверх, на ветви дуба: крепкие, чем не виселица?

Что ж, еще один миг на земле в клубах тумана; раз не надо ни бояться ада, ни чаять рая, он уйдет с эсекской глиной под ногтями и запахом утра. Люк вдохнул и почувствовал все времена года — и молодую весеннюю траву, и цветущий шиповник, и еле уловимый запах плесени на дубе, а за всем этим — острое предвестие зимы.

Поодаль показалась лисица, глаза ее в сумерках светились, точно газовые фонари. Заметив Люка, она попятилась, уселась и стала его рассматривать. Наклонила голову, гадая, кто он таков и что делает в ее угодьях, потом, наверное, решила: пусть его сидит — и, потеряв к нему интерес, зарылась носом в свой белый воротничок. Через минуту, очевидно

проголодавшись, лисица оживилась и мелко-мелко поскакала вниз по склону холма — иногда, заметив что-то в траве, прыгала на добычу, сложившись, как перочинный нож, подобрав передние лапки, — и скрылась в долине, махнув напоследок ярким, высоко задраным хвостом. Люк едва не заплакал от нежности к лисице: о лучшем прощании с миром нельзя было и мечтать.

7

Примерно тогда же, когда Люк присматривал себе виселицу среди эссекских дубов, Бэнкс сидел у костра на каменистом берегу, неподалеку от черного остова Левиафана, и делал пометки в журнале: «Видимость плохая, ветер северо-восточный, прилив в 6.23 утра». Несмотря на то что он своими глазами видел лежавшую на солончаках огромную серебристую рыбину с лопнувшим брюхом, Бэнкс знал наверняка (и его уверенность отметала любые факты): змея так и не нашли. Какое там нашли, если каждую ночь он просыпался, чувствуя на щеке его дыхание, и ждал, что однажды проснется — а змей обвился вокруг него черными влажными кольцами. Когда весь Олдуинтер праздновал освобождение, выкатывал на улицу и осушал бочонки сидра, Бэнкс одиноко сидел в сторонке, горевал об исчезнувшей дочери, вспоминал ее волосы цвета коралла. «Поди, лежит на дне одна-одинешенька среди обломков затонувших кораблей, — печалился он, — с отметиной змея». В том, что змей на самом деле существует, Бэнкс ни капли не сомневался: он видел его своими глазами, он его запомнил — черного, с остроконечным хребтом, ненасытного. Бэнкс топил печаль в дешевом джине, и выпивка отгоняла самые жуткие ночные страхи, но сейчас, когда он сидел на берегу лицом к приливу, они нахлынули снова. Он живо представил, как тупоносый гад с ярым взглядом терзает труп его дочери, качающийся на мелководье.

— Уж я ль ее не берёг, — сокрушался Бэнкс, оглядываясь в слезах, словно искал тех, кто подтвердил бы его правоту, и не находил. Наоми-то ведь родилась в рубашке, а мать ее умерла в родах; он поступил как истинный моряк: вложил кусочек рубашки в оловянный медальон и повесил дочери на шею, чтобы отпугнуть водяных. Она носила оберег не снимая. — Я сделал что мог, — всхлипнул Бэнкс.

На берег напелз туман, замешкался у костра. Бэнкс достал из кармана бутылку и осушил залпом. Алкоголь обжег ему горло, он согнулся пополам и зашелся в кашле, а когда поднял голову, заметил, что по другую сторону от костра стоит и спокойно его разглядывает черноволосый сынок той

лондонской дамы, которая спуталась с преподобным.

— Ты чего здесь в такую рань? — удивился Бэнкс. Его всегда пугал этот мальчишка с немигающим взглядом и привычкой похлопывать себя по карманам. И чего было чудищу не унести этого ребенка, от присутствия которого у Бэнкса волосы на загривке вставали дыбом и который как-то стащил пять голубых конфет из-за прилавка в деревенском магазине — Бэнкс видел это собственными глазами.

— Если это для меня рань, то и для вас тоже, — ответил Фрэнсис Сиборн. — Видели его?

— О чем ты? Что тебе надо? — Бэнкс решил притвориться, будто никакого чудища нет и в помине. — Нет тут ничего, мальчик, и видеть нечего.

— Вы сами не верите в то, что говорите. — Фрэнсис подошел ближе. — Если бы верили, не сидели бы тут и не писали бы в журнале. Это же логично. Что вы там пишете?

— «Видимость плохая», — ответил Бэнкс и помахал журналом под носом мальчишки, — и становится хуже и хуже. Мне тебя-то не разглядеть, не то что Блэкуотер.

— А вон там? — Мальчик вытащил руку из кармана и указал на восток, где по солончаку стелился туман. — У меня хорошее зрение. Вон там. Разве не видите?

— Где твоя мать? Как она тебя одного отпустила? Отойди-ка. Эй, ты куда?

Фрэнсис шагнул от костра в белый туман, и Бэнкс ненадолго снова остался один, потом тощий мальчишка появился чуть левее него и повторил:

— Разве не видите? Не слышите?

— Нет. Нету там ничего. — Бэнкс поднялся на ноги и забросал костер соленой галькой. — Нету там ничего, а я пошел домой, — ну-ка, отпусти мою руку! Меня за руку держала только дочь, а она ушла и не вернется!

Но мальчик вцепился в Бэнкса, тянул к реке, приговаривая:

— Смотрите, смотрите внимательнее, неужели не видите? — Холодная рука держала Бэнкса с силой, которую нельзя было предположить в этих тонких пальцах.

Бэнкс стряхнул мальчишку, испугавшись не того, что таилось в мокрой грязи, а ребенка, который невозмутимо смотрел на него.

— Я пошел домой, — сказал он, развернулся, но тут поблизости послышался звук, будто что-то пошевелилось. Звук был странный, низкий, негромкий, словно приглушенный туманом. Вроде кто-то медленно

скрипел зубами или рылся в прибрежной гальке. Затем раздался стон — довольно высокий, переходящий в визг. Ветер развеял туманную завесу, и Бэнкс увидел нечто длинное, черное, изогнутое, местами блестящее и гладкое, местами неровное и шероховатое. Оно подвинулось, и снова раздался стон. Бэнкс окликнул мальчишку, но тот скрылся в молочной пелене. Угли костра еще тлели, манили Бэнкса, и он побежал обратно, то и дело спотыкаясь в грязи о пучки высокой спартины, один раз даже упал, почувствовал, как сместилась под кожей коленная чашечка, и, хромя, поковылял домой. На душе было легко, несмотря на страх, и всю дорогу он повторял: «Я был прав! Да, я был прав!»

Фрэнсис же остался на берегу. Он догадался, что боится, потому что у него взмокли ладошки и участилось дыхание, но решил, что это еще не повод убегать. Он редко вспоминал о Коре, и вовсе не потому, что презирал ее, а просто она была и будет всегда, так чего и заботиться? Но тут подумал о ней — о том, как часто она, склонившись над обломком камня, рисовала его в блокноте, потом подзывала сына и рассказывала, как называются ее находки. Что, если и ему сделать то же самое, ну или нечто вроде того? Понаблюдать за явлением с максимально близкого расстояния, а потом описать это и показать ей? Мысль ему понравилась. Тут за бледной завесой показалось солнце, туман поредел, влажная грязь золотилась, навстречу гальке побежали ручейки. Снова послышался скрип, и в нескольких ярдах от него медленно, словно из воздуха, возник и пошевелился темный силуэт. Фрэнсис шагнул вперед и отчетливо увидел, что же вынесло на берег.

Он перебирал все, что почувствовал, так же скрупулезно, как свои сокровища. Сперва испытал облегчение, дыхание выровнялось, сердце забилось медленнее; затем его охватило разочарование, а следом — ликование. В груди закипел смех, сдержать его было так же невозможно, как рвоту или кашель, и Фрэнсис залился хохотом. Отсмеявшись и успокоившись, он вытер слезы рукавом и подумал, как лучше поступить. То, что он видел, уже исчезло — то ли скрылось за новой полосой тумана, то ли в набегавших на берег волнах, — и нужно было решить, что делать дальше. Разумеется, надо кому-нибудь рассказать. Он подумал было о Коре, но потом сообразил, что тогда придется объяснять, почему он улизнул из дома в такую рань; она его и слушать не станет, примется поучать, будто он натворил что-то плохое. Этого ему вовсе не хотелось. И тогда он вспомнил, как навещал Стеллу Рэнсом в ее голубом будуаре и как она разрешила ему трогать свои сокровища и сразу же поняла, отчего у него в карманах лежит гнутая монетка, кусок скорлупы от чаячьего яйца и шапочка желудя. Он так привык к удивленным и подозрительным взглядам, что сразу же проникся

безусловной преданностью Стелле, которая встретила его так ласково. Он расскажет ей о том, что видел, и она скажет ему, как быть.

*Уважаемая миссис Рэнсом,
Я хочу Вам кое-что рассказать. Пожалуйста,
назначьте мне время для визита.*

Искренне Ваш,

Фрэнсис Сиборн (молодой мистер).

P. S. Письмо просуну под дверь: так будет скорее.

8

Доктор Гаррет выбрал сук, который выдержит и толстяка. Вешаться не очень-то приятно. Он бы предпочел упасть с высоты и сломать шею, чем чувствовать, как медленно сдавливает горло, но он прекрасно знал, чего ждать — вывалится язык, расслабятся кишки, лопнут сосуды в глазах, так что белки подернутся алой паутиной, — а Гаррет никогда не боялся того, что умел понять. Он нащупал серебряную пряжку, щадя поврежденную руку (хотя какая теперь разница, разойдется шов или нет!), и, продевая ремень, чтобы получилась петля, провел большим пальцем по выгравированной эмблеме. Вот он, символ его профессии: свернувшаяся кольцами змея щурится, высунув язык. Что за насмешка! Он утратил все права, а ведь когда-то, подумать только, с такой гордостью носил этот знак богов и богинь! Хуже того, пряжка напомнила ему о Спенсере, — о Спенсере с его длинным встревоженным лицом, с его преданностью: вечно спешил Люку на помощь, стараясь уберечь от беды. Не странно ли, что пока сидел под облюбованной виселицей, перебирал в уме доводы в пользу жизни и отвергал их один за другим, о Спенсере он даже не вспомнил. Он так привык к нему, что принимал его участие как должное и почти не замечал. Гаррет погладил эмблему на пряжке, досадуя, что она попала ему на глаза, и постарался забыть о друге. В конце концов Спенсер взрослый человек, с широкой душой и глубокими карманами, — на первый взгляд глуповат, но все его любят. Конечно, он будет скучать по Люку, но не более чем если бы тот уехал в другую страну. Но Люк и сам понимал, что это неправда. Еще со студенческой скамьи, с тех пор как они снимали с отрезанных рук кожу, чтобы взглянуть на кости и сухожилия, Спенсер

питал к нему самую искреннюю привязанность, крепче братской. Он терпеливо сносил и оскорбительное равнодушие, и обиды (которых было немало), благодаря богатству и светским манерам отводил от друга гнев преподавателей и кредиторов, и с его молчаливого одобрения Люк шаг за шагом шел к цели. Постепенно между ними установилась близость более тесная, чем у многих влюбленных. Люк вспомнил, как однажды Спенсер, перебрав вина, заснул у него на плече и он боялся пошевелиться, чтобы не разбудить друга, хотя рука затекла и болела. И сейчас представил, как Спенсер, должно быть, просыпается в эту минуту в «Георге» — в нелепой полосатой пижаме с монограммой на кармашке, светлые волосы уже далековато отступили от лба, — наверное, в первую очередь вспоминает о Марте, а потом о друге в смежной комнате; затем, самым тщательным образом продумав костюм, одевается и тихонько спускается в столовую, чтобы съесть на завтрак яйцо, дожидаясь, пока проснется Люк. После чего, вероятно, забеспокоится, постучит к нему в дверь... Интересно, обратится ли он полицию или сам отправится на поиски? Найдет ли он друга здесь, на суку, с пряжкой ремня, рассекшей кожу за ухом, заберется ли на дерево, чтобы его снять?

Нет, невозможно и подумать о том, чтобы причинить близкому человеку такую боль. Но какая несправедливость: безмолвно влачить существование и дальше, только бы не ранить Джорджа Спенсера! Как унижительно сознавать, что шею его от петли спасла не мечта о славе и не страсть к Коре Сиборн, а всего лишь дружба. Какое унижение — и опять неудача, даже в самом конце! Покой в душе Люка сменился привычной яростью, и он принялся в остервенении стегать траву ремнем, вздымая комки грязи, а за его спиной, в ветвях дуба, зашевелилась невидимая птица, встречая рассвет.

* * *

Вскоре после полудня, когда Спенсер, ломая руки, стоял на крыльце «Георга», к гостинице подъехал кэб. Возница открыл дверь, протянул руку за деньгами, и из кэба, придерживая изувеченную ладонь, вышел Люк. Черные волосы его стояли дыбом. Спенсер заметил отсутствующий взгляд, покрасневшие белки глаз, царапину на щеке, как будто тот упал, и праведный гнев его тут же улетучился.

— Боже мой, что ты натворил? — воскликнул он и шагнул навстречу,

чтобы помочь, но Люк отпихнул Спенсера, точно капризный ребенок, и прошел мимо него в вестибюль.

Возница пересчитывал монеты.

— Где он был? — спросил кэбмена Спенсер. — Откуда вы приехали?

Но тот не ответил, лишь покачал головой и постучал себя по лбу: мол, совсем ваш приятель спятил. Над ними хлопнула дверь, так что стекла задрожали, и Спенсер со страхом и надеждой побежал наверх.

Гаррет стоял у окна и смотрел на улицы Колчестера. Он словно окаменел, и Спенсеру показалось, что упади он сейчас на пол, разбился бы на куски.

— Что стряслось? — спросил Спенсер и подошел ближе. — Ты здоров ли?

Люк обернулся, и Спенсер похолодел — такая горечь читалась в его взгляде.

— Здоров? — проговорил Люк и заскрипел зубами. Казалось, он сейчас расхохочется. Но он покачал головой, хмыкнул и вдруг с такой силой хватил Спенсера кулаком по виску, что рассек ему кожу над глазом. Спенсер отлетел на уродливый комод и выругался, у него искры из глаз посыпались. — Если бы не ты, я бы уже разделался с этим и все было бы кончено. Господи, да не смотри ты на меня, *зачем ты вообще мне сдался!* — с болью и злостью проговорил Люк и, словно чья-то невидимая рука вдруг перерезала веревку, на которой его держали, рухнул спиной на затворенную дверь, осел на пол и съежился, лелея перевязанную руку, но не расплакался от горя, а застонал глухо и мерно, как зверь.

— Ты уж прости, — смущенно произнес Спенсер, — но эдак не годится. Я никуда не уйду, ты же знаешь.

И, опасаясь, как бы друг снова не вlepил ему в висок кулаком, уселся на почтительном расстоянии. Чуть погодя погладил его по плечу, грубовато, как гладит хозяин напроказившую и прощенную собаку, и добавил:

— Никуда я не уйду. Хочешь, поплачь, я бы на твоём месте поплакал, а после позавтракаем, и тебе полегчает.

Потом, густо покраснев, наклонился, поцеловал друга в пробор меж черных кудрей, поднялся и сказал:

— Ты пока вымойся, переоденься в чистое, а я подожду внизу.

*Стелла Рэнсом
Дом священника
при церкви Всех Святых
22 сентября*

Милый Фрэнсис,

Спасибо тебе за письмо. Я сроду не видала такого красивого почерка!

Приходи когда захочешь, я всегда дома и с нетерпением жду твоего рассказа.

Если до нашей встречи ты найдешь что-нибудь голубое, принеси, пожалуйста, я буду очень рада.

С любовью,

Стелла.

Кора Сиборн

Дом 2 на Лугу

Олдуинтер

22 сентября

Милый Уилл, долго ли Вы еще сидели в темноте под каштанами, когда я ушла? Хорошо ли Вы спали, когда вернулись домой? Спокойно ли у Вас на душе, не мучит ли Вас чувство вины? Не нужно терзаться: я ничуть не стыжусь.

Сейчас утро, и на дворе такой густой туман, что в комнату сочится странный свет и запах реки. Порой я думаю, что никогда от него не избавлюсь, поскольку пропиталась им насквозь. Туман так плотно окутал дом, что кажется, будто мы летим в гряде облаков.

Рассказывала ли я Вам о саде моих родителей? Деревья там сажали правильными рядами в каких-то деревянных сооружениях, мне казалось, что это противно природе, и два лета подряд я отказывалась есть фрукты с этих несчастных деревьев.

Помню, как мы однажды обедали. Я тогда, должно быть, была совсем маленькая, потому что волосы у меня еще были по-детски светлые, и их заплели в две длинные косички, падавшие на плечи. Кажется, стоя ла вес на, потому что к нам в чашки и тарелки летели лепестки, и я пыталась сплести венок. В тот день у нас

гостил какой-то папин друг (забыла, как его звали), желтолицый, морщинистый, точно яблоко, забытое на блюде.

Я тогда читала запоем; это понравилось нашему гостю, и он весь день старался меня чем-нибудь позабавить: рассказывал, что слово «шахматы» на санскрите означает «властитель умер» и что Нельсон всю жизнь страдал от морской болезни.

Но сильнее всего мне запомнилось другое. Он сказал: «Есть такой предмет, которым можно сделать два совершенно разных действия. Что это за предмет?» К вящему его удовольствию, я так и не угадала, и он ответил (торжественно, точно фокусник, который достает из рукава шелковые платки): «Ключ». Ведь одним и тем же ключом можно и отпереть дверь, и закрыть.

Всю прошлую ночь это слово крутилось у меня в голове, словно Вы сказали мне его несколько часов назад, и воспоминание мешалось с опадающими майскими лепестками, с яблоками в траве, с каштанами, которые мы подо брали на тропинке, с Вашей лопнувшей по шву рубашкой, — никогда не умела объяснить самой себе, что же такое в наших с Вами письмах, или когда мы вдвоем сидим в теплой комнате, или гуляем в лесу, да и не знаю, нужно ли это, даже сейчас, когда я чувствую на себе Ваш след... но пока не могу найти более подходящее слово, чем это.

Вы подобрали ко мне ключ: им можно и открыть разделяющую нас дверь, и запереть ее навсегда, и я пока не знаю, что из этого выбрать.

Я отправлю это письмо с Фрэнсисом — он утверждает, что ему нужно что-то сказать Стелле. Он приготовил ей подарки: голубой билет на омнибус в Колчестере и белый камешек с голубой каймой. Марта его проводит; посылаю с ней банку сливового джема.

Кора.

— У вас цветущий вид, — искренне, хотя и несколько растерянно заметила Марта: уж очень оживленной казалась Стелла Рэнсом. — Мы вам не помешаем? Фрэнки хотел вас навестить, у него для вас подарки. А Кора посылает вам джем, только он, по-моему, не загустел. У нее так всегда.

Стелла сидела на голубой кушетке, укутавшись в несколько одеял. Она видела, как Марта с Фрэнсисом шли по лугу — сперва в тумане показался прыгающий факел, а следом два силуэта в круге света. На мгновение Стелла подумала, что за ней пришли ангелы, но потом сообразила, что те вряд ли стали бы стучаться. К тому же, кажется, этот черноволосый мальчик хотел ей что-то сказать?

— Да, я чувствую себя хорошо, — ответила Стелла. — Сердце бьется сильно и быстро, а ум раскрывается, как голубой цветок. Мне недолго осталось быть на земле, и я хочу прожить последние свои дни по-настоящему! Фрэнки, — улыбнулась она мальчику, — садись вот здесь, подле окошка, чтобы я на тебя посмотрела. Но не слишком близко: у меня в последнее время кашель, хотя и не сильный.

— Я вам кое-что принес, — ответил Фрэнсис, опустил на ковер поодаль от Стеллы и достал из кармана билет на омнибус, камешек с голубой каймой и фантик того же оттенка, что яйца дрозда. — Темно-синий, бирюзовый, цвет морской волны, — перечислил он, коснувшись каждого из принесенных подарков, потом сунул руку в карман и достал белый конверт. — И еще меня просили передать вам это: письмо вашему мужу от моей мамы.

— Темно-синий! — довольно повторила Стелла, перебирая названия цветов. Темно-синий! Бирюзовый! До чего же милый мальчик. А завтра вернутся дети — поймут ли они ее? Едва ли. — Положи свои сокровища на подоконник, я там освободила местечко, а письмо мы передадим Уильяму, он будет рад. Он очень по ней скучал, когда она уехала.

Она перевела взгляд на Марту, которая гадала: что известно Стелле, а о чем та не догадывается?

— А он дома? — с любопытством спросила Марта. Кора вернулась домой поздно вечером, когда уже похолодало, и какая-то ошалевшая, как пьяная, но алкоголем от нее не пахло. «Мы отлично прогулялись, бог знает сколько прошли», — сказала она, свернулась калачиком в кресле и мгновенно заснула.

— В саду. Пошел кормить Магога — если, конечно, сумеет ее отыскать. Джо завтра вернется, тут же побежит в сад, а потом примется нас расспрашивать, чем мы кормили козу на завтрак да не скучает ли та по Крэкнеллу. Быть может, вы сходите передадите ему письмо? — Стелла еле

заметно подмигнула Фрэнсису. Тот понял, что новый друг хочет поговорить с ним с глаза на глаз, и на сердце у него стало тепло.

— Я хотел вам кое-что рассказать, — начал он, едва Марта ушла. Он встал, где ему велели, не ближе, навтыяжку, не смея пошевелиться от сознания важности того, о чем собирался сообщить Стелле.

— Я уж догадалась, — ответила та. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне!»^[52] Скоро придут ее дети, а пока к ней пришел этот мальчик, и она обняла бы его, если бы смела, — иногда, глядя на свои руки, она буквально видела, как любовь сочится из всех пор. — Так в чем дело? Мне недолго осталось, так что говори поскорее, не тяни.

— Я послушался маму, — с опаской признался Фрэнсис. Он не считал это грехом, но знал, что большинство взрослых относится к этому с неодобрением.

— Вот как, — ответила Стелла. — Ну да не печалься. Христос пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию.^[53]

Фрэнсис об этом не знал, но, успокоившись, что его не заругают, придвинулся ближе и сказал, ощупывая медную пуговицу в кармане:

— Я сегодня встал в половину шестого, пошел на солончак и встретил там Бэнкса. Был густой туман. Я думал, вдруг его увижу. Змея. Напасть. Того, кто притаился в реке. Говорят, будто его нашли, но я этого не видел и потому не верю.

— Ах вот оно что! Мой давний враг, змей, мой противник! — Глаза Стеллы заблестели, лихорадочный румянец залил не только щеки, но и лоб; она подалась вперед и доверительно проговорила: — Знаешь, ведь я его слышу. Его шепот. Я все записываю.

Она перелистала голубую тетрадь, нашла нужную страницу, протянула Фрэнсису, и он увидел два аккуратных столбца, исписанных одной и той же строчкой: «ПОРА НЕ ПОРА ИДУ СО ДВОРА».

— Вот видишь, — добавила Стелла и подумала: уж не напугала ли она мальчика? — Я всегда говорила, мы с тобой понимаем друг друга. Они нас обманули. Я знаю своего врага. На него можно найти управу. Не впервой.

Она опустила взгляд на свои ладони: уж не язвы ли проступают там, где линия ума пересекается с линией судьбы? Стелла показала руки Фрэнсису, но он ничего не заметил.

— Ну вот, — продолжил он, — туман стоял такой густой, что ничего толком не было видно, но потом я услышал шум и заметил его. — Фрэнсис вскинул руку, словно из-под стола вот-вот выползет змей. — Он был большой, темный и шевелился. Если бы я хотел, я мог бы попасть в него

камнем! Я стоял, смотрел, смотрел, звал Бэнкса, но он не пришел. Потом туман чуть рассеялся, и я понял, что это.

И он рассказал о том, что увидел, и как рассмеялся, и как потом туман и прилив поглотили то, что он увидел. Стелла недоверчиво ахнула, и Фрэнсис огорчился: он так и думал, что она ему не поверит. Но миссис Рэнсом вдруг рассмеялась и никак не могла остановиться. Глядя на нее, Фрэнсис вспомнил, как отец однажды схватился за горло, словно надеялся, что так удастся утихомирить недуг. К болезни отца он относился с любопытством, но без страха, сейчас же, заметив слезы на глазах Стеллы, расплакался. Быть может, нужно ей помочь? Фрэнсис принес стакан воды. Стелла успокоилась, благодарно отпила глоток, а потом, сложив руки на коленях, спросила:

— Ну так что же, Фрэнки? Как нам быть?

— Надо им показать, — ответил он. — Пойдем и всем покажем.

— Показать, — повторила она, — ну да: осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом...^[54] — Она промокнула бисерины пота, усеявшие ложбинку над верхней губой. — Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий!^[55] Мы избавим их от всех скорбей, — подай-ка мне тетрадку и перо; язык мой — трость скорописца!^[56] Садись рядышком, — она похлопала по свободному месту рядом с собой, Фрэнсис забрался с ногами на кушетку и, прислонившись к Стелле, смотрел, как она листает тетрадку в кляксах синих чернил, — я тебе покажу, как мы с тобой поступим.

И, позабыв о минутной слабости, Стелла принялась рисовать, излучая бодрость и целеустремленность.

— Настал мой час, — приговаривала она, — пески утекают, я слышу, меня призывают! Я по щиколотку в морской воде...

Фрэнсис не знал, что делать: бить ли тревогу, звать ли на помощь Марту? У Стеллы дрожали руки, слова путались, точно нити ярких бус, зрачки расширились. Но тут Стелла протянула руку, обняла его, и Фрэнсис, не выносивший робкие материнские попытки его приласкать, прильнул к ее хрупкому телу, почувствовал тепло, исходившее от плеча, изгиб ее тонкой шеи.

— Без тебя я не справлюсь, — призналась она, — одной мне это не под силу, а кто еще меня поймет, кроме тебя? Кто еще мне поможет?

И она рассказала, что придумала. Любой другой ребенок испугался бы, а то и разревелся, но Фрэнсис, едва Стелла достала тетрадь и объяснила ему, что нужно делать, впервые в жизни почувствовал: наконец-то он кому-то нужен, по-настоящему, а не потому, что взрослый исполняет свой долг.

Его охватило новое ощущение, и он решил, что обдумает это позже, оставшись один, — возможно, это была гордость.

— Когда приступим? — спросил он. Стелла вырвала страницы из тетради (Фрэнсис восхитился, как тщательно и с какой заботой она распланировала все, что нужно будет сделать) и сунула ему в карман.

— Завтра, — ответила она. — После того, как я повидаюсь с детьми. Поможешь? Обещаешь?

— Помогу, — сказал он. — Обещаю.

* * *

Марта в саду наблюдала, как Уилл пытается надеть на Магога праздничный венок, который когда-то висел на двери дома. Растволстевшая на обедах коза упиралась, то и дело стряхивала венок и так угрюмо смотрела на Уилла, как будто хотела сказать: а вот Крэкнелл никогда бы не додумался до такого бесчинства. Поморгав глазами со зрачками-щелочками, коза неспешно ушла в дальний конец сада.

— Когда вернутся дети? — спросила Марта. — Вы, должно быть, по ним соскучились.

— Я молился за них каждый день, — ответил Уилл. — С тех пор как они уехали, все наперекосяк. — В лопнувшей на плече рубашке и с застрявшими в волосах ягодами из венка он выглядел сущим юношей и выговаривал слова не важно, как на кафедре, а по-здешнему растягивая, и в глаза бросались его сильные жилистые руки. — Они приедут завтра полуденным поездом.

Марта смотрела на него и думала: спросить — не спросить, куда же это они вчера вечером ходили с Корой? Что-то он тоже какой-то странный, не в себе. А может, это оттого, что дети возвращаются, а Стелла догорает в голубой своей спальне?

— Я по ним очень соскучилась, — проговорила Марта, — ну да я не за этим пришла. Меня попросили передать вам вот это. — Она протянула ему письмо, но Уилл взглянул на конверт без всякого интереса.

— Оставьте тут, — сказал он, — а я пойду поймаю Магога

Он отвесил Марте курьезный поклон — полунасмешливый, полукомичный — и скрылся в тумане.

Марта вернулась в дом за Фрэнсисом и остолбенела на пороге. Фрэнки, который даже в детстве не терпел, чтобы его обнимали, сидел на

коленях у Стеллы, обвив ее шею руками, а та, набросив на них обоих голубую шаль, легонько укачивала мальчика.

Эта сцена из тех последних молочно-туманных дней сильнее всего врезалась Марте в память: жена Уилла и сын Кору прильнули друг к другу, точно два склеенных осколка.

*Черноглазый мальчик пришел и указал мне путь.
Благослови, душа моя, Господа,
и вся внутренность моя — святое имя Его.^[57]
Да не минует меня чаша сия, ибо я жажду
И язык мой пересох.*

10

— Утро не задалось. — Томас Тейлор окинул взглядом освещенную фонарями улицу Колчестера и поднес к глазам рукав пальто, испещренный блестящими в газовом свете каплями влаги. Второй день с моря напал туман, пусть и не такой соленый и густой, как в Олдуинтере, но все же на улицах стояла непривычная тишина, а горожане то и дело спотыкались и падали порой в объятия растерянных незнакомцев. В развалинах за спиной Тейлора туман клубился по коврам, висел в пустых каминах, и выдумщики-постояльцы «Красного льва» клялись и божились, будто видели, как на последнем этаже задерживает шторы какая-то серая дама.

К Тейлору недавно прибился ученик и сейчас сидел, скрестив ноги, на каменной плите. Тощий, странный, молчаливый паренек с медными волосами послушно делал, что ему велят, вдобавок в погожие утра рисовал веселые карикатуры на проходивших мимо туристов, которые охотно расставались с монетами, а частенько и возвращались за новыми рисунками.

— Ни зги не видать, — сказал ученик. — Никто не знает, что мы здесь. Пойдемте-ка лучше домой.

Тейлор нашел парнишку с месяц тому назад: тот спал, свернувшись калачиком, в бывшей столовой, приспособив вместо подушки обломок каменной кладки. Сколько Тейлор ни бился, так и не сумел дознаться, откуда тот родом и куда идет. Найденыш обмолвился о какой-то реке и о том, что прошел долгий путь, — и действительно, судя по мозолям и синякам, сплошь покрывавшим подошвы и коленки, скитаться ему пришлось немало и в пути он бедствовал. Тейлор, раскатывая туда-сюда у

порога, выманил-таки парнишку из развалин, припугнув, что там, дескать, опасно, и послал его через дорогу за двумя кружками чая и сэндвичами с беконом, да такими, чтобы едва уместились в брюхе.

«Выброшенные деньги», — подумал он, провожая взглядом прихрамывавшего заморыша, но тот вернулся с бумажным пакетом и двумя кружками чая, над которыми поднимался пар.

— Ты здесь недавно? — спросил Тейлор, глядя, как решительно и вместе с тем аккуратно паренек впился зубами в сэндвич, но ответа не получил.

Чай и сэндвич подействовали: мальчишка согласился взять самое чистое из одеял и, отыскав кусок ковра, на котором, скрепя сердце признал Тейлор, было более-менее безопасно, лег и проспал несколько часов кряду. К вящей радости Тейлора, оказалось, ничто так не задевает чувствительные струны души, как спящий чумазый ребенок, так что в тот день сборы его удвоились. Свойственная ему жадность боролась в калеке с добротой, потому, когда мальчишка проснулся, Тейлор еще раз попытался выяснить, откуда он и где его родители, — даже намекнул, что сейчас позовет полисмена. Но паренек лишь испуганно молчал, и тогда Тейлор с чистой совестью предложил ему долю в цветущем предприятии, а также стол и кров. А чтобы доказать чистоту намерений, протянул толику дневной выручки. Парнишка несколько минут изумленно таращился на монеты, потом тщательно пересчитал и спрятал в карман.

— Ты не думай, у меня дочка есть, — успокоил его Тейлор, — так что ухаживать за мной тебе не придется, разве что вот поможешь тележку толкать, а то у меня пальцы совсем скрючило: подагра. Дочка тебе только рада будет, своей-то семьей она так и не обзавелась. Скажешь хоть, как тебя зовут? Нет? Ну как знаешь, тогда я буду звать тебя Рыжиком — в честь своего старого кота. Не против? Значит, поладим.

Так и вышло: они и вправду поладили. Дочь Тейлора привыкла и не к таким странностям папаши и рассуждала снисходительно: старик остался без ног, так пусть себе чудит. Дара убеждения, как это называл Тейлор, Рыжик так и не обнаружил, довольствовался карандашом и бумагой, вот только иногда рисовал что-то страшное и делал непонятные подписи. Что это, Тейлор так и не понял.

— Пойдемте-ка лучше домой, — повторил парнишка, но в этот момент послышался шум, болтовня и в тени колокольни церкви Святого Николая показалась группка людей.

— Плох тот торговец, который закрывает лавку из-за непогоды, — оживился Тейлор и тряхнул шляпой с монетами.

Прохожие приблизились, и послышались фразы:
«Только на несколько минут — проведем его, и все»,
«Джеймс, ну что ты плетешься, мы так на поезд опоздаем!», «Я есть хочу, вы же обещали, вы же обещали...»

— Да это, никак, мои старые друзья! — воскликнул Тейлор, завидев алый сюртук и блестящий медный наконечник высокого поднятого зонта. — Мистер Эмброуз собственной персоной!

Но тут знакомцы Тейлора один за другим скрылись за дверью ярко освещенной гостиницы «Георг».

— Черт побери, Рыжик, — произнес Тейлор, оглянулся, но мальчишку не увидел. — Это очень щедрый джентльмен. Где ты? Куда ты подевался?

Но его ученик молча и проворно сбежал со своего поста, притаился за мраморным цоколем и топырил нижнюю губу, отчаянно стараясь не расплакаться. «Ох уж эти дети!» — подумал Тейлор, закатив глаза к небу, и протянул парнишке плитку шоколада. Лучше бы, в самом деле, собаку завел.

* * *

— Боже правый... — остолбенел Чарльз Эмброуз, взглянув на Спенсера и Люка Гаррета. У первого на правой брови красуется ссадина, заклеенная тонкими полосками пластыря, а у второго мало того что перевязана правая рука, так еще и в лице ни кровинки, худой как щепка и оттого со своим костистым лбом больше прежнего смахивает на обезьяну. Стоявшие бок о бок Спенсер и Гаррет походили на двух школяров, которых застигли за проказами. Кэтрин заохала, точно заботливая матушка, расцеловала обоих в щеки, а Люку что-то нежно прошептала на ухо, отчего тот покраснел и отвернулся. Эмброузы пожаловали с детьми, и те, почуяв висевшее в воздухе напряжение, как могли, старались его развеять.

— У вас есть что поесть? — спросил Джон, наметанным взглядом оглядев комнату.

— Джон, ну ты и поросенок, — сказала Джоанна. — Доктор Гаррет, как ваша рука? Можно взглянуть? Я хотела посмотреть шов. Я решила, что стану врачом. Я выучила все кости в руке — когда вернусь домой, расскажу папе: плечевая кость, локтевая кость, лучевая кость...

— Значит, все-таки не инженером, — перебила Кэтрин и увела девочку от Люка, который так ничего и не ответил, лишь еле заметно вздрогнул,

точно Джоанна прочитала неприличный стишок, и машинально, смущаясь, спрятал раненую руку.

— Я еще не решила, время есть, — ответила Джоанна. — До университета еще несколько лет.

— Да тебя ни в какой университет не примут, — не без ехидства вставил Джеймс Рэнсом.

С тех пор как Джоанна забросила природную магию и увлеклась (столь же бессмысленно, по его мнению) наукой, ему казалось, будто сестра захватила его место одаренного ребенка и надежды семьи. Джеймс достал из кармана лист бумаги и протянул Спенсеру:

— Смотрите, я изобрел новый вид клапана для уборной. Если хотите, можете использовать в новых домах. Бесплатно, разумеется, — великодушно добавил он: марксистские убеждения Марты повлияли и на него. — Я его потом запатентую, когда вы уже все построите.

— Большое спасибо, — поблагодарил Спенсер, разглядывая чертеж, выполненный столь же тщательно, как и все остальные схемы, которые ему доводилось видеть.

Чарльз Эмброуз посмотрел на него с поистине отеческой благодарностью и поинтересовался, усаживаясь у камина:

— Марта вам пишет?

Кэтрин отвела Люка Гаррета в сторону и завела непринужденный, но совершенно пустой разговор, чтобы как-то его отвлечь. Спенсер чуть покраснел, как всякий раз, когда речь заходила о Марте.

— Да, писала два раза — сообщает, что Эдвард Бертон с матерью вот-вот останутся без крова! Домохозяин ни с того ни с сего поднял плату почти вдвое, и всех соседей уже выдворили. А дело наше движется так медленно! Какая она славная, так заботится о человеке, с которым едва знакома.

— Я сделал что мог, — откликнулся Чарльз вполне искренне. Если совесть и уговоры не сумели его сподвигнуть на борьбу за то, чтобы жилищный закон как можно скорее облекся в плоть и кровь, то есть в кирпичи и известку, то вид раненого Люка Гаррета в сточной канаве сделал свое дело. Тому, кого лишили цели всей жизни, ничем не можешь, и Чарльз это понимал, но, по крайней мере, они могли позаботиться о том, чтобы жертва Люка не пропала втуне. — В парламенте к законопроекту отнеслись с энтузиазмом, но то, что в палате общин называется энтузиазмом, обычные люди сочли бы ленью.

— Как бы мне хотелось сообщить ей хорошие вести, — горячо ответил Спенсер, которому, как обычно, не удалось скрыть, что его

благотворительной деятельностью движет личный мотив. Длинное застенчивое лицо его покраснело, и он принялся наматывать на палец прядь тонких светлых волос.

У Чарльза, искренне любившего Спенсера за доброту и простодушие, сердце заныло от жалости. Рассказать ли бедняге, откуда ветер дует, потушить в нем искру надежды? Пожалуй, следовало бы, хотя Чарльз, который тоже переписывался с Мартой, и сам не знал наверняка, что у этой несносной женщины на уме, никогда не угадаешь, что еще она отчудит. Оглянувшись на детей и убедившись, что они заняты чем-то своим, он негромко проговорил:

— Марта так печется о Бертоне не только по доброте душевной: я слышал, она собирается связать с ним свою судьбу.

Спенсер отшатнулся, точно его ударили и он пытался увернуться от следующего тычка, и произнес:

— Бертон? Но... — И по-собачьи растерянно тряхнул головой.

Добряк Чарльз решил обратить дело в шутку:

— Мы возмущены не меньше вас! Десять лет прослужить Кориной компаньонкой — и променять ее на три комнаты и рыбу на ужин! Впрочем, день свадьбы пока не назначили, да и трудно представить ее в фате...

Спенсер вдруг как будто стал меньше ростом. Он раз-другой беззвучно пошевелил губами, словно пытался выговорить имя Марты и не сумел, и потерянно посмотрел на свои руки, точно не знал, куда их девать. Чарльз отвернулся, понимая, что Спенсеру нужно некоторое время, чтобы прийти в себя. Джон отыскал пакет крекеров и теперь сосредоточенно и вдумчиво жевал, а Джеймс с Джоанной весело препирались из-за того, кто первым нашел рисунок разрушенного болезнью тазобедренного сустава. Обернувшись, Чарльз увидел, что Спенсер застегивает пиджак, словно стараясь сдержать то, что угрожало прорваться.

— Напишу ей, поздравлю, — сказал он, — приятно в кои-то веки слышать добрые вести.

В глазах его блеснули непролитые слезы, и Спенсер бросил взгляд на Люка. Тот, ословело уставившись в пол, стоял рядом с Кэтрин, которая, казалось, уже отчаялась его разговорить и просила лишь, чтобы он нормально питался.

— Да, — произнес Чарльз. Ему было жаль Спенсера, а оттого неловко, и он желал бы, чтобы стрелки часов двигались быстрее: ему не терпелось попасть в Олдуинтер, а потом вернуться в свой тихий дом. — Да, год выдался дурной, что правда, то правда, а ведь позади только три четверти.

Спенсер, который думал медленно, зато крепко, ответил, ломая руки:

— А я-то удивлялся, почему она так беспокоится, что Эдварду Бертону подняли плату за квартиру, — ведь это, в сущности, такая мелочь в общем деле... Люк, ты знал об этом? Ты слышал? — Спенсер обернулся к другу, ожидая, что тот посмеется над ним или подскажет, как быть, но Люк исчез. — Что ж, — добавил Спенсер и с делано веселым видом обернулся к Чарльзу, — вы мне расскажете, как все сложится?

Далее последовали рукопожатия, сочувственные, смущенные и вместе с тем окончательные. Детей созвали из разных углов. Они снова спросили, где Люк и как его рука; Джон извинился за то, что объел Гаррета, заметив, что если бы ему купили обещанный пирог, до такого бы не дошло, и пообещал с первых же карманных денег купить пакет печенья.

— Я боюсь за нашего дорогого Чертенка. — Кэтрин взяла Спенсера за руку, заметила его бледность, но приписала ее волнению за друга. — Куда он подевался? В нем словно потушили свет.

Ее материнский инстинкт, разбуженный детьми Рэнсомов, устремился на хирурга, который только что сидел подле нее, пряча правую руку под левой, словно застиг свою руку за постыдным занятием.

— Он хоть что-нибудь ест? Или он пьет? Виделись ли они с Корой?

— Рано еще, — заметил Чарльз, помог жене надеть пальто и застегнуть до подбородка; последние полчаса оказались такими печальными, что с него хватит, тем более что давно пора отвезти детей домой. — К Рождеству придет в себя. Спенсер, приходите к нам на ланч, заодно и чертежи просмотрим. Джоанна, Джеймс, поблагодарите мистера Спенсера за то, что уделил вам время, а доктора Гаррета вы скоро увидите. До свидания!

На пороге гостиницы Джон остановился и неожиданно обнял сестру:

— Мы едем к маме! Как думаешь, она поправилась? Она такая же красавица?

При мысли о маме у Джоанны екнуло сердце. У Эмброузов все было не так. Кэтрин Эмброуз была добра, но не как Стелла, в комнате было уютно, но не так, как устроила бы Стелла. Обед подавали слишком рано и на неправильных тарелках, а на подоконнике не хватало узамбарских фиалок. Кэтрин смеялась не тому, чему нужно, а чему нужно, тому не смеялась, и за ужином пили молоко, а не ромашковый чай. В первое время Джоанну от тоски охватывала тупая боль, она писала маме каждый день, и чернила не раз расплывались от слез. По ночам девочка засыпала, лишь представив, что внизу, на кухне, сидит белокурая хрупкая женщина в платье с голубой каймой. Но воспоминания стремительно тускнели. Ответные письма дышали горячей любовью, пестрели странными фразами,

однако в них почти никогда не упоминалось о том, о чем писала Джоанна. Затем письма стали реже, а когда приходили, чем-то напоминали религиозные брошюры, которые женщины в толстых коричневых чулках раздавали у станции метро на Оксфорд-стрит. Джоанна не знала, что и думать. За считанные недели она превратилась в лондонскую барышню, освоилась в метро и омнибусах, привыкла смотреть в глаза продавщицам в «Харродс» и твердо знала, где лучше покупать тетради и карандаши. Олдуинтер теперь казался ей крохотным, грязным, скучным, а таинственный змей превратился в пугало огородное, глупую тварь, которую и бояться не стоит. Она скучала по отцу, но не тосковала в разлуке и считала, что им обоим это пойдет на пользу. Джоанна прочла «Маленьких женщин» и полагала, что если уж Джо Марч сумела некоторое время обходиться без отца, то и ей это под силу. Она была черства, как все подростки, это ее и спасало. И лишь порой, заметив на земле воронье перышко или паука, окутывавшего муху белым саваном, вспоминала и бывшее увлечение магией, и рыжеволосую подружку, и на мгновение ее охватывали тоска и чувство вины.

Так было и в ту минуту. Она взглянула на развалины дома, увидела калеку и сидевшего по-турецки на мраморном цоколе оборвыша, который склонился над листом бумаги, ахнула и, высвободившись из объятий брата, очертя голову бросилась через дорогу, мелькнула в свете фонарей омнибуса и тут же скрылась за группой туристов преклонного возраста, направлявшихся в музей замка.

— Джоанна! — не помня себя от ужаса, крикнула Кэтрин. Она металась по краю тротуара, стараясь и угнаться за девочкой, и не дать мальчишкам выскочить на мостовую, а Чарльз, непоколебимо уверенный в том, что ни одно транспортное средство в Эссексе не посмеет обрызгать грязью его алый сюртук, спокойно и неторопливо направился к развалинам и в изумлении увидел, как Джоанна кричит на калеку и осыпает его ударами.

— Что вы сделали с Наоми! — вопила она. — Что вы сделали с ее чудесными волосами!

Чарльз встал между нищим и Джоанной и примирительно произнес:

— Джоанна, я как никто восхищаюсь твоей решительностью, но сейчас, боюсь, ты перешла все границы. Прошу прощения, сэр, за выходку моей... в самом деле, Джо, как прикажешь тебя называть? Прошу прощения за это беспардонное нападение! Позвольте мне загладить ошибку.

В перевернутую шляпу Тейлора посыпались монеты; мужчины

пожали друг другу руки.

— А теперь объясни, дитя мое, — продолжил Чарльз, страстно желая оказаться где угодно, только не здесь, — что за бес в тебя вселился?

Но Джоанна не слушала. Она уставилась на тощего парнишку в грязной курточке, щеки побелели, и на лице ее читалась то детская боль, то взрослая ярость. Парнишка стоял, потупясь. Чарльз озадаченно протянул Джоанне руку, но она, даже не обратив на это внимание, чуть ли не орала, подавив на миг плач:

— Все говорили, что ты воровала в лавке, а я им сказала, что ты бы никогда так не сделала, а когда ты исчезла, мы решили, что во всем виновата напасть, а ты, оказывается, все это время была здесь! Наоми Бэнкс, у меня руки чешутся дать тебе тумака!

На мгновение показалось, что Джоанна сейчас исполнит угрозу, но вместо этого она бросилась к парнишке, который, как догадался Чарльз, был вовсе никакой и не парнишка, а худенькая девочка с коротко стриженными, торчавшими во все стороны медными кудряшкам. Она надменно скрестила руки на груди и отступила от заходившейся в рыданиях Джоанны.

— Напасть? — произнес Тейлор и снова пожалел, что не завел собаку. — Воровство? Мой Рыжик? Признаться, — он перемешал монеты в шляпе, — я ничего не понимаю.

— Позволю себе предположить, — ответил Чарльз, — что ваш коллега, видимо, ввел вас в заблуждение: на самом деле это девица, зовут ее Наоми, она давняя знакомая Джоанны.

А сверх этого он и сам ничего не знал, поскольку никто ему не рассказывал, что у рыбака пропала дочь. Рыжая девочка, исчерпав запас гордости, всхлипнула и бросилась в объятия подруги.

— Я хотела вернуться домой, честно-честно, но мне было так страшно у реки, да и все равно я там никому не нужна! — Наоми отстранилась и бросила на Джоанну сердитый взгляд. Ресницы ее слиплись от слез. — Ты расхотела со мной дружить, все меня боялись из-за того, что я натворила в школе, и еще этот, в воде, а я ведь не специально, я сама не знаю, как так получилось, я так испугалась, что смеялась и смеялась и не могла остановиться...

— Ну что же ты, Рыжик, — вставил Тейлор, более-менее сообразив, что к чему, — разве я о тебе плохо заботился?

Он лукаво покосился на Чарльза, и тот кинул в его бездонную шляпу еще пару монет.

— Это все из-за меня, это я во всем виновата, я плохая подруга...

— Нет, это все из-за той женщины! — перебила Наоми. — Как она приехала, так все пошло наперекосяк. Это она его выпустила! Она выпустила чудище в реку!

— Ты разве не слышала? — спросила Джоанна и с удивлением обнаружила, что уже переросла подругу. Она обняла Наоми и положила ее голову себе на плечо. — Его больше нет, никакого змея нет и в помине и не было никогда, это была всего-навсего рыба, огромная, и она сдохла в реке, — поедem домой, Наоми. — Она поцеловала подругу в замурзанную щеку с дорожками от слез и почувствовала на губах пыль с развалин и городскую сажу. — Разве ты не соскучилась по папе?

Тут Наоми вновь расплакалась, но не бурно, как ребенок, а тихонько и безутешно, как взрослая женщина. Наконец к ним подошла Кэтрин Эмброуз, ведя за руку Джона и Джеймса, и увидела, что Джоанна восседает на мраморном цоколе, точно скорбящая Богоматерь, с худенькой девчушкой в обнимку, и вполголоса напевает какое-то детское заклинание.

— Боюсь, — проговорил Чарльз, бросив взгляд на часы, — мы обзавелись еще одним ребенком.

11

Стелла в голубом будуаре услышала, что идут дети, она узнала и стук ботинок Джона на пороге, и осторожную поступь Джеймса, представила, как Джоанна сбросит пальто и, длинноногая, во весь дух побежит к ней. Но первым в дверях показался Уилл, улыбаясь так, словно принес подарки, и торжественно объявил:

— Дорогая, а вот и они! Дети вернулись, вытянулись, как телеграфные столбы. — И добавил тише, Джоанне: — Только осторожно: она слабее, чем кажется.

Джоанна боялась застать мать на одре болезни, иссохшую, с землистым лицом, бессильно теребящую одеяло, но Стелла сияла, как звезда, глаза ее блестели, на щеках румянец. По случаю приезда детей шею украшали три ряда бирюзовых бус, а плечи покрывала шаль, по которой порхали голубые бабочки.

— Джоджо! — Стелла потянулась к дочери, но та ее опередила и бросилась к маме в объятия. — Моя Джоанна! — Было заметно, как приятно ей произносить их имена. — Джеймс! Джон!

Стелла помнила наизусть запах каждого из своих детей: волосы Джона — теплая овсянка, у Джеймса аромат более терпкий, резкий, под стать его острому уму. Джоанна ощутила под шалью выпиравшие кости и

вздрагнула; мать это почувствовала, и они с дочерью переглянулись, как заговорщики.

— Красивые у тебя бусы, — восхищенно заметил Джон, протянул Стелле половинку шоколадки и пояснил: — Я тебе подарок принес.

Стелла понимала, что с его стороны это настоящий подвиг. Она поцеловала Джона и обернулась к Джеймсу, который с тех самых пор, как переступил порог, говорил без умолку — и о «Катти Сарк»,^[58] и о лондонской подземке, и о том, как осматривал спроектированные Базэлджетом^[59] канализационные сооружения.

— Не все сразу, — попросила Стелла, — пожалуйста, говорите по одному, я не хочу ничего пропустить.

— Не утомляйте маму, — добавил Уилл, наблюдавший за этой сценой с порога.

От радости и грусти у него сдавило горло, он мог бы стоять так часами, смотреть, как Стелла прижимает детей к груди, ему и самому хотелось обнять их, почувствовать, как они егозят, какие они маленькие, теплые, и при этом он неотступно думал, как лучше рассказать обо всем Коре, в письме или при встрече, представлял, как она обрадуется, как затуманятся ее серые глаза. «Господи, помоги: я разрываюсь на части», — подумал он и ошибся, поскольку не присутствовал отчасти здесь, отчасти в сером доме на другой стороне луга, но всей душой был и там, и там.

— Не утомляйте ее, — повторил он, шагнул к детям, и его тут же обхватили маленькие ручки. — Еще немного — и пусть ляжет поспит.

— Наконец-то вы со мной, — сказала Стелла, — наконец-то вы все здесь, родные мои. Побудьте со мной, пока я не уйду.

*Он ввел меня в дом пира, и зная его надо мною —
ЛЮБОВЬ^[60]*

*Он послал змея в райский сад синецветный и
посылает его сейчас дабы наложить кару за
непослушание одного человека грешные Олдуинтера
предстанут перед судом но за мое послушание
оправданы будут*

*Змей слуга Божий в голубых водах Блэкуотера
пришел покарать нас за грехи*

*Я искуплю их прегрешения и он уйдет откуда
пришел*

А я

*Войду
Во врата СЛАВЫ!*

12

Бэнкс сидел на причале возле убранных парусов и хмуро пересчитывал потери: жена, лодка, дочь — все утекло сквозь пальцы, как соленая вода. В устье реки за наползавшим с моря туманом пучились волны, начинался прилив, и Бэнксу вспомнилось, как ранним утром у костра появился черноволосый мальчишка и как этот мальчик звал его к реке. «Ни зги не видать, — сказал он в полумрак, — ни черта не видно», но перед мысленным его взором встали ДИКОВИННЫЕ ВЕСТИ — эссекский змей, раздувшийся, со стреловидным хвостом, скреб когтями по гальке. Время от времени бледный туман рассеивался и в сумерках мерцали огоньки баркасов и смаков,^[61] но потом завеса опускалась снова, и Бэнкс оставался один. Чтобы успокоиться, он забормотал моряцкий стишок: «Ночь наступила — зажги, как встарь, на правом борту зеленый фонарь». Но что проку от огонька за цветным стеклом, если в глубине реки притаилось и ждет чудовище?

Вдруг на плечо его легла маленькая рука — так мягко, что он не вздрогнул и не сбросил ее. Прикосновение было не только знакомым, но и родным — никто другой никогда не прикасался к нему так — и пробудило воспоминания, пробившиеся сквозь пьяный морок.

— Вернулась, малышка? — несмело проговорил Бэнкс и похлопал дочь по руке. — Вернулась к своему старику?

Наоми, укутанная в старое пальто, которое отдала ей Джоанна, смотрела на сидевшего на причале отца. Она заметила, что волосы у него на макушке поредели сильнее, чем она помнила, и ее охватила неожиданная, незнакомая нежность. Она вдруг взглянула на него не как на отца, с которым так сроднилась, что почти не думала о нем, а впервые осознала, что ему тоже бывает страшно и горько, что он тоже на что-то надеется, чему-то радуется, от чего-то страдает. Это ее тронуло, и она, как прежде, уселась, скрестив ноги, рядом с отцом на причале, подтянула к себе сеть и принялась ловко ее перебирать. Нащупав дыру, сказала:

— Давай заделаю.

Раньше она ненавидела это занятие: от него перепонки между пальцами трескались и болели, когда в них попадала соль, — но руки поймали привычный ритм, и это успокаивало.

— Прости, что я сбежала, — проговорила Наоми, связывая порванные

нити, и отвернулась, чтобы не смущать плачущего отца. — Мне было страшно, но сейчас все хорошо. И кстати, — она застегнула ему пальто, — я сама заработала кое-какие деньги! Пошли домой, поможешь мне сосчитать.

* * *

К середине дня морской туман снова сгустился и, с востока подобравшись к Олдуинтеру, переползал через подоконники, копился в канавах и ямах, приглушал звон колоколов церкви Всех Святых. Кора тревожно мерила луг шагами, поглядывала на солнце и видела на нем темные пятна бушующих бурь. «Кому же мне признаться, как не ему? — думала она. — Кто еще поверит, если я расскажу о том, чего быть не может?»

— Я устала, — сказала Стелла в голубой комнате, — лягу посплю.

Игравшие в уголке Джеймс и Джон равнодушно подняли глаза и снова уткнулись в карты, довольные, как зверушки, вернувшиеся в родную нору. Джоанна, которая несколько раз перечитала параграф о Ньютоне, но не чувствовала себя умнее ни на йоту, заметила, что материн лоб влажно блестит, что к нему прилипли волосы, и испугалась. Стелла, не растерявшая былой проникательности, поманила к себе дочь и пояснила:

— Я знаю, что ты все видишь, Джоджо, — ты видишь то, чего они не видят. Но мне хорошо. Пока вас не было и в доме было тихо, я порой ловила себя на мысли, что никогда еще мне не было лучше. Веришь? Я не отреклась бы ни от одного часа моего страдания, потому что оно меня возвысило, оно указало мне путь! — Она расправила подол платья, принялась перебирать свои сокровища — синие раковины мидий, осколки стекла, билеты на омнибус, веточки лаванды — и бросать их одно за другим в складки ткани. — Здесь нужно прибрать, — Стелла обвела взглядом комнату, — принеси-ка мне все это сюда, Джо, — вон те пузырьки, там, все камешки, ленты. Хочу забрать их с собой.

Уилл в кабинете положил рядом с письмом Кору чистый лист бумаги, но не мог себя заставить взяться за перо. «Не нужно терзаться», — писала она, как будто можно отмахнуться от чувства вины. Нет, ей не понять, куда там! Она порвала все связи, ей и невдомек, что его терзает не мысль о проступке, но ощущение, что он своими руками нанес вполне зримую рану самому близкому человеку: взял молоток и вогнал гвозди глубже в ступни и

ладони, сорвал ветку ежевики и обмотал вокруг головы Стеллы. «Я первый из грешников», — подумал он и поймал себя на том, что это гордыня, а значит, еще один грех вдобавок ко всем остальным. Он подумал о Коре, и она тут же встала у него перед глазами: веснушки на скулах, пристальный взгляд серых глаз, прямая осанка, царственный вид даже в потрепанном пальто, — и на миг его ослепил гнев (вот вам пожалуйста: еще один грех, прибавьте к прочим, запишите на мой счет!). С той минуты в самом начале года, как распечатал конверт с письмом от Эмброуза, он почувствовал, что ветер меняется и надо было застегнуть пальто на все пуговицы и закрыть окна, а не подставлять лицо сквозняку. Но ведь, как ни крути, речь шла о Коре (он произнес ее имя вслух), о Коре, которая с первого же рукопожатия стала ему как родная, — нет, даже раньше, с того случая, когда они барахтались в грязи, — которая радовала и приводила в бешенство, которая была эгоистична и щедра, которая подшучивала над ним как никто и никогда, о Коре, которая только при нем не стыдилась плакать! Гнев утих, и он вспомнил, как прижимался губами к ее животу, какая теплая у нее кожа, какая нежная, как по-звериному естественна она была. Ни тогда, ни сейчас он не чувствовал, что согрешил, — это была благодать, подумал он, благодать, дар, которого он не искал и который не заслужил!

«Долго ли Вы еще сидели в темноте под каштанами, когда я ушла?» — писала она, и он действительно задержался там надолго: спустился к устью реки, к черному остову Левиафана, и смотрел на воду, страстно желая, чтобы из глубины выплыл змей и поглотил его, точно Иону. «При реках Эссекса, там сидел я и плакал», — подумал он. Наверху тихонько закрылась дверь Стеллиной комнаты, и кто-то прошел по площадке. Сердце его болезненно сжалось: там была Стелла, его любимая яркая звезда, грозившая вот-вот угаснуть, вспыхнув напоследок, и он боялся, что после ее ухода останется черная дыра, в которой он сгинет. Ему хотелось подняться к ней, лечь рядом с ней на кровать, заснуть, и чтобы Стелла, как прежде, прижималась к его спине, но теперь это было невысказано: она постоянно хотела быть одна, писала что-то в голубой тетради и не сводила глаз с чего-то, видимого лишь ей. Уилл сидел в темном кабинете, не в силах ни помолиться, ни написать ни строчки, смотрел на красное солнце и думал: интересно, любит ли Кора закатом?

В доме на другой стороне луга Фрэнсис Сиборн сидел, скрестив ноги, и смотрел на часы. Карманы его были битком набиты голубыми камешками, так что, как ни старайся, сесть удобно не получилось бы. Мама рассеянно слонялась по дому, не находя себе места, иногда заходила взглянуть на сына и, не говоря ни слова, целовала его в лоб. В руках у

Фрэнсиса была записка от Стеллы Рэнсом с четкими указаниями, написанными синими чернилами, и рисунком, который его пугал, хотя и радовал глаз красотой. Мальчик складывал и снова разворачивал записку. Минуты тянулись так долго, но лучше бы они тянулись еще дольше — вовсе не потому, что он сомневался в мудрости полученных указаний, а потому что не знал, хватит ли у него духу довести дело до конца. Ровно в пять часов Фрэнсис вышел в коридор, где стояли его ботинки и висело пальто, оделся и отправился в туман. Он посмотрел на небо, стараясь разглядеть восходящую полную луну, первую после осеннего равноденствия, но ее не было видно, а значит, придется ждать еще год.

Джоанна оставила спящую мать и пошла к подруге. Ей хотелось, чтобы все стало как прежде, когда они сплетничали и сочиняли заклинания, и не терпелось пойти с Наоми на солончаки, где нынче не было и тени змея. Однако быстро выяснилось, что их прежнее увлечение магией не более чем детская забава, о которой нельзя вспомнить без смущения. И все же было приятно пройти по старым тропинкам бок о бок.

— Вон там я нашла Крэкнелла, — Наоми указала на чистую полосу гальки возле узкого ручейка, — он лежал навзничь, а голова у него была свернута набок. Мне показалось, он упал, он же был старый, а старики часто падают. Подошла, смотрю, глаза открыты. Я заметила в них чью-то темную тень и подумала: наверно, это последнее, что он увидел, может быть, это чудовище, но потом пошевелилась и поняла, что это всего лишь я, отражаюсь у него в глазах, как в зеркале. Говорят, он умер от старости и болезней, а мы-то все думали, будто его змей убил. Сейчас даже вспомнить смешно!

Они прошли мимо Левиафана. Влажный воздух охлаждал щеки, на берегах Блэкуотера стоял густой туман, но не сплошной, а весь словно из мелких частиц, похожих на жемчужинки. Чуть поодаль догорал костер — должно быть, дозорный его зажег и оставил свой пост. Над тлеющими углями висело желтоватое марево.

— Нет никакого змея, — сказала Джоанна, — и нечего было бояться, но все равно сердце колотится: я его слышу! Боишься? Пойдем дальше?

— Боюсь, — ответила Наоми. — Но все равно пойдем.

Чтобы набраться храбрости, нужно бояться. Так учил ее отец на палубе своего баркаса.

— Пойдем, только осторожно: там, дальше, глубоко. — Наоми прекрасно знала солончаки со всеми их протоками и высокими кочками спартины. — Бери меня за руку и ничего не бойся. Час назад начался отлив, так что не утонем.

Наоми было приятно снова гулять с подругой по болоту, только на этот раз роли переменялись: она уже не та послушная бедняжка Найоми, которая едва умела читать и благоговела перед дочерью священника, здесь она была в своей стихии и оттого чувствовала себя старшей. Однако вечер выдался пасмурный и тревожный. Солончаки то выступали из тумана (когда он в очередной раз рассеялся, девочки заметили белую цаплю), то снова скрывались в дымке, и они оставались одни. Но вот каким-то чудом пробилось солнце, и они увидели, что вокруг полным-полно птичек-поганок, которые, попискивая, ныряют в воду.

— По-моему, они тоже заблудились, — рассмеялась Джоанна, и ей отчаянно захотелось домой. — Пойдем-ка лучше обратно, — сказала она, — а то вдруг не найдем дорогу?

Она вцепилась в Наоми, хотя и досадовала на подругу за то, что та раскомандовалась. Джоанна то и дело спотыкалась о гниющие столбики устричных садков и вскрикивала.

— А вдруг он все еще здесь? — полушутя-полусерьезно спросила Наоми. — Что, если он все еще здесь и сейчас как накинется на нас? — Ею овладело постыдное желание отомстить. Она отдернула руку, шагнула назад, приставила ко рту сложенные рупором ладони и издала призывный вопль. — Сейчас его позову, готова? — продолжала она, уже и сама испуганная, но не желая остановиться. — Смотри! Вот он!

— Хватит, — попросила Джоанна, сдерживая неприличные для взрослой девушки слезы, — прекрати! Иди сюда, я не могу найти дорогу...

Наоми пристыженно вернулась, и Джоанна стукнула ее по лопаткам:

— Как тебе не стыдно? Это ужас какой-то! Я могла упасть в реку и утонуть, и все из-за тебя... Что? Что это такое? Номи, перестань дурачиться, ты же сама прекрасно знаешь, что это была всего-навсего большая рыба.

Наоми затихла и молча указала рукой, но не на устье реки, где Блэкуотер сливался с Коулном, а на берег, где уже затухали багровые угли костра.

— Что? — спросила Джоанна, чувствуя на языке медный привкус страха. — Что ты увидела, что там такое?

Наоми вцепилась подруге в рукав, притянула Джоанну к себе, приблизила губы к ее уху и прошептала:

— Тсс... тише... смотри, вон там, рядом с Левиафаном, видишь? Слышишь?

Джоанна слышала — по крайней мере, ей так показалось — не то стон, не то скрежет, судорожный, прерывистый, бессмысленный, беспорядочный.

Он то стихал, то раздавался снова, как будто ближе. Похолодев от кончиков пальцев до корней волос, Джоанна застыла на месте от ужаса. Он здесь, он всегда был здесь, он ждал, ждал, подумала она почти с облегчением, значит, они не обманулись.

Наконец бледная завеса рассеялась, и в пятидесяти ярдах, не более, показалось что-то черное, со вздернутым носом и тупым хвостом, толще, чем они воображали, с уродливой бугристой шкурой, непохожей на гладкую рыбу или змеиную чешую. Крыльев не было видно — возможно, это нечто спало. Наоми не то взвизгнула, не то рассмеялась, повернулась к Джоанне и уткнулась лицом ей в плечо.

— Я тебе говорила! — с присвистом прошептала она. — Разве я не говорила всем-всем?

Джоанна несмело шагнула к существу, но тут оно пошевелилось и снова послышался скрежет, как будто змей от голода лязгал зубами. Джоанна вскрикнула и отпрыгнула. Чудовище снова окутал туман, и осталась лишь темная тень, дожидавшаяся своего часа.

— Надо идти, — сказала Джоанна, едва удержавшись, чтобы не завопить от страха, — сможешь нас вывести? Смотри, вон костер на берегу, иди к нему, Номи, не своди с него глаз, и тише, чтоб ни звука...

Но угли отсырели, и костер потух. Некоторое время они брели наугад по гальке, то и дело спотыкаясь, из гордости сдерживая слезы.

— Пора не пора, пора не пора, — бормотала Наоми, подбадривая обеих.

И тут неожиданно они едва не уперлись в чудище, едва не споткнулись о его мокрый черный бок. Джоанна взвизгнула и зажала рот ладонью. Вот оно, наконец-то, вот оно, совсем рядом, оно их не видит, наверное, спит, какое же оно нескладное на берегу — быть может, в воде, родной своей стихии, оно грациознее? И под водой становится ловким, гладким и блестящим? Где же крылья, расправленные, как зонтики, неужели их отрезали? Но кто? На брюхе у существа виднелась голубая отметина — что-то смутно знакомое.

Наоми выпрямилась и всплеснула руками. Казалось, она сейчас зайдет смехом, как тогда в школе, когда все девочки словно сошли с ума, она указывала на отметину и шевелила губами. Снова послышался скрежет, Наоми вздрогнула, но все равно шагнула ближе.

— Мамочка, — проговорила она. — Мамочка...

Джоанне на миг показалось, будто подруга зовет свою мать, которая покоилась на кладбище при церкви под самым дешевым надгробием, какое удалось добыть.

— Смотри, — прошептала Наоми, — смотри туда, я узнаю эти буквы, даже вверх ногами. Там написано «Грейси», так звали мою маму, Грейси, первое слово, которое я написала, едва научилась писать, и запомнила навсегда, не забыла за десять лет.

Наоми кинулась к шевелившейся на солончаке черной тени. Джоанна окликнула ее, но подруга забыла свой страх и унесла с собою страх Джоанны.

И в это мгновение девочки ясно увидели, что же вынесло на берег.

Это была черная лодка, маленькая, обшитая внакрой, давным-давно сгинувшая в Блэкуотере, густо облепленная ракушками, отчего ее борта казались похожими на бугристую шкуру, шероховатую, в боевых шрамах. Перевернутый корпус сгнил и осел, отчего лодка напоминала тупоносое чудовище, уткнувшее морду в песок; последние волны отлива шевелили лодку, и та скрежетала о гальку, а деревянный корпус скрипел от натуги. Теперь под висевшими на бортах ламинариями можно было разглядеть сине-белое слово «ГРЕЙСИ». Лодку Бэнкса, которую он давным-давно отчаялся отыскать, все это время трепало прибоем на болотах. Так вот что доводило жителей деревни до безумия!

Девочки вцепились друг в друга, не зная, то ли плакать, то ли смеяться.

— Значит, она все это время была здесь, — сказала Наоми, — а он-то думал, что ее украли с причала. Я ему говорила: ты же ее привязываешь кое-как, вот и все...

— А сколько раз сюда приходила миссис Сиборн с тетрадкой, жалея, что не взяла фотоаппарат, и мечтала, как ее находку выставят в Британском музее... — Тут Джоанна не выдержала и расхохоталась, хотя ей и было стыдно за свое злоязычие, но ведь Кора тоже наверняка посмеялась бы.

— ...И все эти подковы на Дубе изменника, и ночные дозоры, и детей не выпускали на улицу...

— Давай расскажем папе, — предложила Джоанна. — Надо будет привести всех сюда и показать. Вот только вдруг мы вернемся, а лодки нет, ее накрыло приливом? Нам никто не поверит...

— Я подожду здесь, — ответила Наоми. Сейчас, когда мокрые солончаки заливало медью закатное солнце, уже не верилось, что они чего-то боялись. — Я подожду здесь. В конце концов это ведь почти моя лодка.

«Трейси», — подумала она. — Я узнала бы ее где угодно!»

— Беги, Джоджо, да побыстрее, пока не стемнело, а то ничего не будет видно.

— Смешно, — ответила Джоанна и направилась к тропинке. — Ой,

смотри, там снизу торчит что-то голубое, видишь? Похоже на васильки, хотя они вроде бы отцвели.

Поодаль, за голыми ребрами Левиафана, прятался Фрэнсис Сиборн и, вытаскивая из ладошки черные занозы, наблюдал за происходящим. Никто его не видел, ни одна живая душа его не хватилась.

* * *

Уилл без сновидений дремал в кабинете. Проснулся он в тревоге и с такими яркими воспоминаниями, что запутался на миг, где сон, где явь. На столе лежал чистый лист бумаги, но зачем он теперь нужен? Разве же объяснишь Коре, что все незыблемые основы, на которых покоилось его существование, пошатнулись, дали трещину, оказались перестроены? Что бы ни пришло ему на ум, этому тут же находилось столь же существенное и искреннее возражение. «Мы нарушили заповедь» — «Но исполнили другую»; «Лучше бы вы держались от меня подальше» — «Слава богу за то, что мы с вами живем в одно время, слава богу, что мы живем на одной земле!» В сумме выходил ноль: ему нечего было ей сказать. «Сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже»,^[62] — подумал он, желая лишь одного: еще сильнее сокрушиться духом и полностью смириться сердцем.

Из задумчивости его вывели шаги и скрип открытой и закрытой двери. Он подумал, что это Стелла проснулась наверху, что, быть может, он ей нужен, и обрадовался, как всегда при мысли о ней. Он с раздраженным вздохом оттолкнул Корино письмо: когда любимая жена между жизнью и смертью, переписка с другой — безумие, если не позор. Все его помыслы сейчас должны быть о Стелле. Но вместо нее в кабинет вошла Джоанна. Она вернулась с солончаков, и от пальто ее пахло морем, а глаза весело блестели.

— Пойдем, ты должен увидеть, что мы нашли, надо всем показать, и тогда все будет хорошо.

Они тихонько, чтобы не разбудить Стеллу, вышли из дома, возле церкви Всех Святых им встретился Фрэнсис Сиборн: он бежал домой, точно самый обычный мальчишка. Туман рассеялся, и в синих сумерках на земле лежала длинная тень от Дуба изменника. На все расспросы отца Джоанна отвечала лишь «подожди» и просила поторопиться («Джджо, я устал, скажи, что там такое?») — «Подожди, сам увидишь»). Они дошли до

Края Света. Без Крэкнелла дом совершенно одичал и едва не по крышу ушел в эссекскую глину.

— Еще чуть-чуть, — Джоанна тянула отца за собой, — к Левиафану, там ждет Наоми.

Наконец они увидели блестящие кудряшки Наоми Бэнкс, а чуть поодаль в кругу камней горел костер.

Уилл услышал, как кричат с облегчением чайки, увидев землю, вдохнул соленый воздух со сладковатым душком устричных садков. В ручейках копошились камнешарки, глухо булькали бекасы. Наоми закричала, замахала рукой, и через минуту Уилл увидел, что нашли девочки. В ясном вечернем свете чернела разбитая лодка, густо облепленная ракушками и обмотанная водорослями, так что казалось, будто это какое-то животное уткнулось мордой в гальку.

— Так что же, — произнес Уилл, разглядев на корпусе надпись «ГРЕЙСИ», — получается, Наоми, это была всего-навсего лодка твоего отца?

Та кивнула с такой гордостью, словно лично все это подстроила, и Уилл, наклонившись, пожал девочкам руки.

— Молодцы, — похвалил он. — Впору пожаловать вас в почетные граждане нашего прихода.

И преподобный от всего сердца вознес про себя короткую благодарственную молитву: «Пусть на этом все закончится — и страх, и сплетни, и помрачение рассудка, которое настигло учениц в школе!»

— Пойдем за твоим отцом, Наоми, пора с этим покончить. Подумать только, у нас оказалось целых два змея, и ни один из них и мухи не обидит!

— Бедняжка. — Джоанна присела возле лодки, постучала по дереву и поморщилась: острые ракушки больно кололи костяшки. — Бедняжка, ей бы выходить в море, а она лежит на дне. Смотрите-ка, — вдруг заметила она, — голубые цветы на камнях, как будто их сюда специально положили, и голубые стеклышки.

Подобрав обкатанное морем стекло, Джоанна положила осколок в карман.

— Скорее идем домой, — Уилл потянул ее прочь от лодки, — оглянуться не успеешь, как стемнеет, а ведь надо обо всем рассказать Бэнксу.

Девочки взялись за руки и, довольные собой, ведь они сделали славное дело, зашагали прочь от Блэкуотера.

* * *

Кора подняла глаза от книги, которую читала. На пороге стоял Фрэнсис. Он явно бежал: челка прилипла ко лбу, худая грудка под курточкой ходила ходуном. Увидеть его в таком волнении было настолько необычно, что Кора привстала со стула:

— Фрэнки! Фрэнки, что с тобой? Ты не ушибся?

Он помялся у порога, словно не знал, входить или все же не стоит, достал из кармана сложенный лист бумаги, аккуратно его развернул и разгладил о рукав. Затем прижал бумагу к груди и проговорил, глядя на Кору с такой мольбой, какой она раньше не видывала:

— По-моему, я поступил плохо. — Голос его звучал непривычно по-детски, но заплакал Фрэнсис не как ребенок — не всхлипывая и не шмыгая носом.

Кору охватило странное чувство. Казалось, вся боль, которую ей довелось испытать, скопилась и нахлынула, сдавила горло, так что она не сумела вымолвить ни слова.

— Я не хотел ничего такого, — продолжал Фрэнсис, — она попросила меня помочь, она такая добрая, я отдал ей лучшие свои сокровища...

Кора еле удержалась, чтобы не подбежать и не обнять сына, но она не раз так делала и встречала отпор. Лучше подождать, пока он сам подойдет. Кора уселась обратно на стул и спросила:

— Если ты всего лишь хотел помочь, что же в этом плохого?

Сын неожиданно уселся к ней на колени и обвил руками шею; черноволосая голова ловко уместилась между ее щекой и плечом. Кора почувствовала его теплые слезы, его сердечко билось у ее груди!

— Ну а теперь, — она взяла его лицо в ладони, боясь, что вот сейчас он уйдет и никогда уже не вернется, — расскажи мне, что ты такого натворил, и я тебе скажу, как нам быть.

— Это все миссис Рэнсом, — ответил он. — Я хочу тебе показать, но мне нельзя! Я хочу тебе показать, но обещал ей, что никто ничего не узнает!

Фрэнсис разрывался между желанием сдержать слово и рассказать обо всем матери: как ни поверни, все равно что-то будет не так. Он разжал руку, и Кора взяла у него бумагу. Синими чернилами на синем листе было написано: «ЗАВТРА/ШЕСТЬ/ИСПОЛНИТСЯ ВОЛЯ МОЯ!» — а ниже какой-то детский рисунок: длиноволосая женщина лежит, а на нее накатывает волна. Стелла Рэнсом подписала свое имя и добавила: «Надень

курточку, а то замерзнешь».

— Боже мой, Стелла... — Кора еле удержалась, чтобы не сбросить Фрэнсиса с колен и не побежать к двери, но что, если сын больше никогда не придет к ней, не кинется в объятия, не кинется ловить ее взгляд? У Кору закружилась голова, и она, борясь с дурнотой, сказала — как будто просто так, как будто его ответ ничего не значил: — Ты с ней пошел к воде? Ты помог ей спуститься?

— Она сказала, что ее зовут домой, — ответил он, — сказала, что ее ждет змей, а я ответил, что там никого нет, а она сказала, что пути Господи неисповедимы и она и так уже зажилась.

Он закрыл лицо ладонями и задрожал, словно до сих пор сидел на берегу и солнце давно зашло.

— Понятно, — ответила Кора. — Понятно.

И принялась его утешать, удивляясь, что сын не противился, что повернулся к ней. Кора обнимала его, стараясь и сама успокоиться, и успокоить Фрэнсиса, потом крикнула Марту, та появилась на пороге, взглянула на Кору, и вся ее недавняя холодность тут же улетучилась.

— Марта, возьми его, пожалуйста, — велела Кора, — боже мой, боже мой, где мое пальто, где ботинки? Фрэнки, ты молодец, ты все сделал правильно, а теперь моя очередь. Нет-нет, останься, я скоро вернусь.

* * *

Уилл с Джоанной и Наоми шагали по Высокой улице. «Как они горды собой!» — улыбнулся Уилл про себя и, по своему обыкновению, задумался, как лучше обо всем рассказать Коре, что ей больше всего понравится, — но, пожалуй, теперь это невозможно, старое разрушено, переделано, и он пока что ничего не понимал. Вдруг Джоанна воскликнула: «Кора!» — и помахала рукой. Навстречу им бежала его подруга, и на мгновение Уиллу показалось, будто она отправилась его искать (при мысли об этом он не сумел удержаться от восклицания), потому что не могла больше ни часу выдержать взаперти.

— Что случилось? — спросила Наоми, остановилась и машинально потрогала висевший на шее оловянный медальон. Что-то явно стряслось, тут не могло быть никакого сомнения: щеки у Кору мокрые, рот испуганно приоткрыт, в руке сжимает лист бумаги, размахивает им, словно хочет подать сигнал.

Добежав до них, Кора, не остановившись, потянула Уилла за рукав и выпалила:

— Стелла внизу, у воды, я боюсь, стряслась беда.

— Мы только что оттуда, и это всего лишь лодка, которую потерял Бэнкс...

Но Кора сунула Уиллу бумажку и была такова. Листок упал на мокрую дорогу, и Уилл на миг оцепенел, потерял дар речи. Беда, беда стряслась, как же он сразу не догадался, как же не заметил, как же проглядел то, что творилось у него под носом! Джоанна наклонилась и подобрала бумажку. Сперва она не поняла, что это, но потом у нее перед глазами нарисовалась столь дикая и ужасная картина, что она всплеснула руками, словно пыталась ее отогнать.

— Папа, — Джоанна не удержалась и расплакалась, — разве она не спит? Разве мы не оставили ее наверху, в безопасности?

Уилл побелел как полотно и, еле заметно пошатнувшись, ответил:

— Я же слышал, как она ушла к себе, как закрыла дверь... сказала, что хочет отдохнуть...

Они увидели, что Кора добежала до того места, где дорога спускалась к солончакам, и сбросила пальто, чтобы не сковывало движения. Уилл устремился за ней, проклиная свое тело, которое вдруг стало неповоротливым, вялым, будто принадлежало другому человеку, а сам он всего лишь дух, вселившийся в него. До ручья он добежал последним. Кора, стоя на коленях в грязи, пыталась приподнять перевернутую лодку, так что под платьем на спине проступали мускулы, девочки тоже стояли на коленях рядом с ней, и казалось, будто они втроем поклоняются какому-то уродливому злему божку, который оставляет все их молитвы без ответа. Уилл увидел вокруг обломков лодки (как же он раньше этого не заметил?) камешки с голубой каемкой, обрывок голубой ленты да стоявшую на гальке голубую стеклянную бутылку.

— Она сказала, что устала и пора отдохнуть... — ошеломленно пробормотал он. Что они там делают? Подолы густо облепила грязь, шеи напряжены в усилии?

— Стелла, Стелла! — кричали они, словно звали ребенка, который загулялся и не пришел домой к назначенному часу. Руки скользили по влажной древесине. Наконец они втроем подняли лодку, которая, как ни странно, оказалась не такой уж и тяжелой и, когда ее шевелили, вся ходила ходуном.

Там, в тени, укрытая от глаз, безмолвно лежала Стелла Рэнсом в окружении своих голубых талисманов. Увидев ее, Уилл не удержался от

крика. Кора тоже вскрикнула, выпустила лодку, и та упала и развалилась на части. Последние лучи солнца осветили Стеллу, чье тонкое голубое платье подчеркивало все ее хрупкие косточки на плечах и бедрах. В руках она сжимала букетик лаванды, которая все еще пахла. Вокруг лежали голубые стеклянные бутылочки, клочки голубого батиста и хлопка, под головой — голубая шелковая подушка, а в ногах — ее голубая тетрадь, покоробившаяся от влаги. Кожа Стеллы посинела, синие губы обметало, под кожей, точно прожилки на мраморе, проступили вены; веки закрытых глаз тронула чернота. Уильям Рэнсом упал на колени и рывком прижал жену к груди.

— Стелла, — позвал он и поцеловал ее в лоб, — я здесь, Стелла, мы пришли забрать тебя домой.

— Не бросайте нас, дорогая, не надо, — вторила ему Кора, — не умирайте! — Она взяла бледную руку Стеллы и потерла в ладонях.

Джоанна потянула вниз подол мамино тонкого платья, чтобы прикрыть ее голые синие ноги.

— У нее зубы стучат, слышите? Слышите? — Потом сняла пальто, стащила пальто с Уилла, и они укутали Стеллу.

— Стелла, дорогая, вы слышите нас? — с нежностью и отчаянием вопрошала Кора. Ее терзало непривычное чувство вины. О, конечно, конечно же, Стелла их слышала! Темные веки ее затрепетали, и она открыла глаза — такие же фиалковые, как прежде.

— Я причастилась славы Божией, — произнесла Стелла, — я стояла на пороге дома Его пира, и надо мною было знамя Его — любовь.

Она часто дышала и зашлась в кашле, после которого в уголке рта осталась капелька крови. Уилл вытер кровь большим пальцем и сказал:

— Пока об этом говорить рано, твой срок еще не настал. Ты нужна мне, любимая. Помнишь, мы же клялись, что никогда друг друга не оставим?

Его охватила такая радость, что Уилл даже устыдился. Вот оно, его искупление! В эту минуту он не думал ни о ком, кроме Стеллы. «Господь снова явил благодать! Изобильна благодать первому из грешников!»

— Мы угаснем с тобой в один день, как свечи у открытого окна, — улыбнулась Стелла. — Я помню! Помню! Но меня позвали домой, и что-то таилось в реке, и шептало мне в ночи, и алкало, и я решила: пойду к реке и заключу с ним мир ради Олдуинтера. — С этими словами она взглянула на реку, где в ясном небе сияла вечерняя звезда, и испуганно спросила: — Он приходил за мной? Приходил?

— Он ушел, — ответил Уилл. — Ты прогнала его бесстрашно, как

львица, а теперь пойдём с нами, пойдём домой.

Он поднял ее без труда; Джоанна и Наоми помогли ему встать на ноги. Какая же она легкая! Словно уже тает в синих сумерках!

— Кора, — негромко окликнула Стелла и протянула к ней руку, — какая ты теплая, ты всегда такая теплая! Скажи Фрэнсису, чтобы взял мои камешки, всё, что здесь осталось, и выбросил в реку. Пусть вода в Блэкуотере станет голубой!

Ноябрь

Земной шар вращается вокруг наклонной своей оси, звездный охотник шагает по небу Эссекса, а за ним по пятам следует его старый пес. Как ни торопит зима, а осень все не уходит: погода стоит теплая, ясная, и природа красива избыточной, какой-то варварской красотой. Когда из-за туч выглядывает солнце, дубы на лугу в Олдуинтере блестят, точно медь, живые изгороди усыпаны алыми ягодами. Ласточки улетели, но на протоках соляных болот пугают детей и собак лебеди. На берегу Блэкуотера Генри Бэнкс сжигает обломки лодки. Мокрое дерево трещит, черная краска пузырится.

— «Грейси», — говорит Бэнкс, — так вот где ты, оказывается, была все это время.

Рядом с ним стоит прямая как палка Наоми и с опаской глядит на реку: начинается прилив. Наоми не может пошевелиться, так и стоит — одной ногой на песке, другой в воде. «Что дальше? — думает она. — Что дальше?» Между ее большим и указательным пальцем чернеет заноза с корпуса лодки, и она касается этого талисмана, восхищаясь делом своих рук.

Лондон капитулирует чересчур быстро, выбрасывает белый флаг: к середине ноября окна омнибусов на Стрэнде уже покрывает изморозь. Чарльз Эмброуз снова исполняет роль отца: за его письменным столом постоянно сидит Джоанна, причем, как назло, выбирает самые неуместные книги, Джеймс после завтрака отыскал в канаве чьи-то сломанные очки и к ужину сделал из них микроскоп. Больше всего Чарльзу нравится Джон с его добродушием и отменным аппетитом — Эмброуз узнает в нем себя. Лежа на животе, мальчик раскладывает пасьянс. В ночь Гая Фокса Джон порвал пальто и ничуть не расстроился. Вечерами Чарльз переглядывается с Кэтрин, и оба качают головой: то, что в их упорядоченном, со вкусом обставленном доме обитает эта троица, едва ли не более странно, чем все речные чудища вместе взятые. Письма между Лондоном и Олдуинтером курсируют так часто и с такой быстротой, что Эмброузы шутят, мол, для них на запасном пути держат ночной поезд. Джон в это верит и просит испечь для машиниста пирог, чтобы тот подкрепился.

Чарльз получил письмо от Спенсера. Правда, от бывшего пыла не осталось и следа. Разумеется, пишет Спенсер, он считает своим долгом и впредь прикладывать усилия для улучшения жилищных условий бедняков,

но все же сейчас его больше интересует, куда разумнее вложить капиталы, которые так его тяготят. Возможно, в недвижимость, упоминает Спенсер (вскользь, хотя все понятно без объяснений), сейчас это выгодно, но Чарльза не проведешь, он прекрасно понимает, в чем тут дело. В Бетнал-Грин появился новый домовладелец, щедрый, с добрым сердцем, а следовательно, совершенно непрактичный.

Эдвард Бертон, который пока не вернулся к работе, поднимает глаза от чертежей и видит за столом Марту. Кора Сиборн отдала ей печатную машинку, и грохот стоит несусветный, но он не сердится. Да и на что ему сердиться? Всего лишь месяц назад он мог лишиться крыши над

'головой, сейчас же жизнь его течет так покойно и благополучно, что, проснувшись утром, он сам себе не верит. Новый домовладелец нанял двух клерков, чтобы те проверили каждую квартиру. Они пришли с фотоаппаратом, от чая отказались, отметили, что оконная рама отсырела, дверь покособилась, третья ступенька скрипит. За неделю все исправили, и улица пропахла побелкой и штукатуркой. За завтраком и ужином фабричные рабочие и сиделки, клерки и старики со страхом судачат о том, что теперь-то наверняка плату поднимут так, что ахнешь, — но плату не подняли. Соседи сбивались в кучки на лестницах, чесали в затылках, и было решено, что новый домохозяин не иначе как дурак. Жильцы даже негодуют, дескать, не нужны нам его подачки, — но за закрытыми дверями готовы восхвалять имя благодетеля, да не знают, как его зовут.

Марта хранит в кармане письмо от Спенсера, в котором тот желает ей счастья. *Я так долго не мог доискаться, какой от меня толк, если, кроме денег, мне похвастаться нечем. Я играл в хирурга, поскольку медицина — приличное и уважаемое времяпрепровождение и в детстве я даже мечтал стать врачом, но душа моя никогда к этому не лежала, к тому же, к чему лукавить, я не Люк Гаррет. И лишь благодаря Вам я отыскал цель, которая позволяет мне без отвращения смотреть на себя в зеркало. Не скрою, я был бы счастлив, если бы Вы меня любили, но все же благодарен Вам за то, что Вы подсказали мне, как выразить мою любовь к Вам, и я постараюсь исправить те недостатки, на которые вы мне указали.* Тон письма так почтителен, робок и добр, что Марта на миг задумывается: что, если им двоим по пути? Но нет, без Кору ей нужен лишь Эдвард Бертон, молчаливый, с умелыми руками, ее товарищ и друг.

Как ни странно, но в Бетнал-Грин Марта тоскует по Коре ничуть не больше, чем на Фоулис-стрит, в Колчестере или сером доме на лугу в Олдуинтере. Ее чувство неизменно, как Полярная звезда: смотри не смотри, она всегда здесь. Марта не жалеет, что столько лет была ее

компаньонкой, не оплакивает былую дружбу, она понимает, что все меняется и то, что некогда было необходимым, со временем становится ненужным. Да и Кора, бедняжка, мечтает лишь о том, чтобы ее любили, больше ей ничего не надо. У нее же самой есть дела поважнее. Тут Марта поднимает глаза от печатной машинки, смотрит на Эдварда, который, нахмурясь, сидит над чертежами, и трогает журнал, где недавно опубликовали ее статью.

В комнатах Люка Гаррета на Пентонвилль-роуд наконец-то соединились два сердца. Правда, каждый порой жалеет, что другой не упокоился на дне Блэкуотера, но более преданных друзей не сыскать, хоть проплыви Темзу от истока до устья.

В самом начале ноября Спенсер переехал из особняка на Квинс-Гейт, которого с каждым днем стеснялся все сильнее, к другу. Люк считает своим долгом раздражаться протестующими тирадами — мол, спасибо, но нянька ему не нужна, он вообще никого не хочет видеть и никогда не захочет, а Спенсер так и вовсе невыносимый сосед, он всегда его раздражал, — но на самом деле рад. К тому же Спенсер где-то вычитал древнюю максиму о спасении жизни и теперь периодически напоминает Люку, что, поскольку тот помешал убийце, то несет за него ответственность, и отныне Спенсер в его власти. «По сути, я твой раб», — сообщает Спенсер и вешает фотографию своей матери рядом с портретом Игнаца Земмельвайса.

Состояние поврежденной руки остается прежним, серьезных улучшений не видно. Швы сняли, шрам не хуже, чем ожидалось, чувствительность сохранена, но два пальца так и загибаются к ладони и не удерживают ничего тоньше вилки. Люк послушно (хотя и с раздражением) выполняет упражнения с резинкой, но движет им скорее надежда, нежели уверенность, что это поможет. Призрак Кору стоит перед ним. Он лелеет два одинаково невероятных сценария: первый — что его поразит некроз, он весь покроется зловонными гнойниками и Кору до конца ее дней будет мучить совесть, второй — что он сумеет вылечить руку и сразу же проведет столь дерзкую операцию, что наутро проснется знаменитым, Кора не устоит и влюбится в него, а он ее публично и насмешливо отвергнет. Вопреки былым обещаниям, он не умеет, как Спенсер, любить безмолвно и кротко, не надеясь на взаимность, и лютая ненависть к Коре поддерживает его куда больше, чем уговоры Спенсера позавтракать как следует («Ты худой, тебе это не идет...»). Спенсер гораздо проникательнее, чем все думают, и понимает то, что Гаррету невдомек: любовь и ненависть разделяет преграда не толще папиросной бумаги, и коснись ее Кора хоть пальцем — тут же проткнет.

Но не только преданность и дружба заставляют Люка покупать на ужин свинину, а Спенсера — выгонять его из дома, чтобы тот пообедал или позанимался. Есть в их союзе и практическая сторона. Спенсер уговорил Люка вернуться в Королевскую больницу, где тот побывал и хирургом, и пациентом, и предложил вот что: с Люком ему в мастерстве не сравниться, что правда, то правда, но все же Спенсер неплохой хирург, получше многих. Ему не хватает (в чем он охотно признается) смелости, прозорливости друга, для которого всякий недуг и всякая рана не угроза, а лишь благоприятный случай показать сноровку. А коль так, говорит Спенсер, так отчего бы им не создать своего рода химеру с его, Спенсера, руками вместо Люковых? «Обещаю, что сам думать не буду, — продолжает он. — Ты всегда говорил, что я в этом не силен», — и торжественно распахивает дверь в операционную, надеясь, что друг заглянет внутрь и не устоит. Так и вышло. Запах карболки, блеск скальпелей в железных кюветах, отглаженная стопка хлопковых масок действуют на Люка подобно электрическому разряду в позвоночник. Он не был здесь с тех пор, как ему зашивали руку, — что толку сюда идти, думал Люк, все равно что поставить перед голодным полную тарелку еды, но так, чтобы он не сумел до нее дотянуться. Однако при виде операционной он оживляется, преследовавшая его по пятам тень дуба, на котором он планировал устроить себе виселицу, в кои-то веки отступает, и согбенное тело вновь наливается пугающей силой. Тут входит Роллингс, поглаживая бороду, переглядывается со Спенсером и между прочим, словно эта мысль только что пришла ему в голову, сообщает: «Привезли открытый перелом большеберцовой кости. Боюсь, придется повозиться, а денег у пациента нет. Не хотите ли поучаствовать, коллеги?»

Наступает воскресенье, и Уильям Рэнсом всходит на кафедру. Видит трещину на стекле в окне, что выходит на запад, и берет на заметку, видит темную скамью с изувеченным подлокотником и отводит глаза. Прихожан мало: слухи и страхи больше не гонят их к Престолу Господню, но преподобный этому рад. «Славим Бога в веселии душевном», — поют они и молятся о милости к ближним. С Дуба изменника сняли все подковы, кроме одной на самом верху; висеть ей, пока не позабудут, зачем она там. О змее Уилл упомянул лишь раз — о сугубом мороке, ложном страхе — в контексте милосердной проповеди о райских куцах. Прихожане расходятся, сознавая, что наглупили, но их страхи можно понять, и впредь все решают держать язык за зубами.

Уилл по узкой лестнице сходит с кафедры (щадя левое колено, которое последнее время что-то болит по утрам), бегло приветствует тех, кто ждет у

дверей и мнется у ограды: «В среду днем? Конечно, буду. Нет, это не сорок шестой псалом; вы, должно быть, о двадцать третьем? Она вам кланяется и жалеет, что не смогла прийти». Впрочем, никто не обижается. К Уиллу снисходительны как никогда: паства еще судачит о лондонской даме, которая не так давно дневала и ночевала у его преподобия; однако все видели, как он баюкал жену на болоте. Он не без изъяна, но тем и дорог прихожанам. Он не сталь, но серебро. К тому же все знают, кто ждет его дома и отчего он так туда спешит. Голубоглазая жена, которая раз в неделю или около того гуляет кругами по лугу, укутанная до ушей, дышит свежим воздухом, здороваётся с соседями, а потом, выбившись из сил, возвращается к себе, в занавешенную комнату. Соседи оставляют ей подарочки на крыльце: бутылочку сиропа из шиповника, каштаны, карточки и носовые платки, такие крохотные, что проку от них решительно никакого.

Уилл отстегивает воротничок, сбрасывает черное пальто — последнее время он спешит избавиться от них, хотя и надевает тоже поспешно. Стелла ждет, по-кошачьи свернувшись клубочком под одеялом, протягивает к нему руки. «Ну, рассказывай, кого видел, что слышал», — просит она. Хлопает ладошкой по кровати, подзывает его поближе, ее тянет посплетничать. И они снова смеются, забыв обо всех, вспоминают полузабытые фразы — кто другой услышит, не поймет ни слова. Но никто их не слышит, дом пуст, дети уехали и за время отсутствия превратились в легенду. «А помнишь Джо? — говорят друг другу родители. — Помнишь Джона и Джеймса?» — и им приятно страдать в разлуке, потому что светлую эту печаль легко утолить билетом на поезд или маркой первого класса. Уилл, кому всегда было тесно в крохотных комнатках с низкими потолками, чьи мышцы ноют от нехватки движения, хлопчет, как мать или горничная, порой даже надевает передник, на удивление ловко жарит мясо и перестилает постель. Время от времени из Лондона приезжает доктор Батлер и объявляет, что всем доволен. Теперь (утверждает он) все дело в уходе, а здесь за больной ухаживают лучше, чем где бы то ни было, но, разумеется, все-таки нельзя забывать о мерах предосторожности. Доктор моет руки с карболовым мылом и напоминает Уиллу делать так же.

Стелла, как всегда, радуется жизни больше, чем муж; ей кажется, будто она медленно снимается с якоря и поднимает паруса. Она скучает по детям, порой не понимает, отчего, задыхаясь, хватается за край кровати, так что белеют костяшки, — от болезни ли, от тоски, — но (говорит она) и волосы у них на голове все сочтены, и если ни одна из малых птиц не упадет на землю без воли Отца небесного,^[63] тем паче Он позаботится о

том, чтобы Джон не попал в Лондоне под омнибус.

О Змее (а Стелла о нем вспоминает, хоть и редко) она думает с жалостью, забыв, что это всего лишь персть, древо и страх. «Бедняжка, — вздыхает она, — где ему тягаться со мной!» Порой, раскапризничавшись, Стелла ищет свою тетрадь в голубой обложке, исписанную синими чернилами, но та сгинула в волне прилива, и все ее нити и волокна растворились в темном Блэкуотере.

Уилл каждый день гуляет в полях, где пробиваются всходы озимой пшеницы, такие тонкие и мягкие, что ему кажется, будто он шагает меж отрезков зеленого бархата. Усилием, от которого, боится Уилл, однажды остановится сердце, он отгоняет образ Кора, пока не выберется из Олдуинтера, и уж там, в голом лесу, у дороги на Колчестер, на топком берегу Блэкуотера думает о ней. Он извлекает ее на свет божий, словно прятал под пальто, и рассматривает в лучах солнца и жемчужной осенней луны, вертит в руках: кто она ему, в конце концов? И никак не может найти ответа. Он не скучает по ней — она и так неотступно с ним, в желтом лишайнике, покрывающем голые ветви буков, в скользнувшей над самой кроной дуба пустельге, трясущей расправленным хвостом. Дойдя до зеленой лестницы, ныне поблекшей, облепленной грязью, он вспоминает, как нетерпеливо Кора тянула вверх подол платья, вспоминает ее вкус и вновь испытывает блаженство, о, конечно; но это не конец и не высшая точка. Это было бы слишком ничтожно и просто! Правда же в том (а он по-прежнему поборник правды), что, попытайся он сейчас определить, кто же она ему, не нашел бы более точного, более честного слова, чем «друг».

Потому-то он и не пишет ей: не испытывает в этом нужды. Она подает ему знаки — в перистых облаках в вышине, в заимствованных и подаренных словечках, в завитке шрама на его щеке, — и он представляет, как отвечает ей. Их разговоры продолжаются в медленном кружении крылаток, облетающих с белых кленов.

*Кора Сиборн
Фоулис-стрит, 11
Лондон*

*Милый Уилл,
Вот я и снова на Фоулис-стрит, и я совсем одна.
Марта теперь живет у Эдварда — полужена,
полутоварищ, — но она по-прежнему со мной, в запахе
лимона на моей подушке, в том, как сложены тарелки.*

Фрэнки уехал в школу и пишет мне, чего прежде за ним не водилось. Письма его коротки, а почерк аккуратный, как газетный шрифт. Подписывается он следующим образом: «ТВОЙ СЫН ФРЭНСИС», — неужто боится, что я забуду? Люк поправляется, хотя больше ради Спенсера, чем ради меня. Надеюсь, скоро их всех увижу.

Я слоняюсь из комнаты в комнату, стаскиваю с мебели чехлы, глажу каждый стул и стол. Обитаю в основном на кухне, здесь всегда горит плита, я рисую, пишу, составляю каталог привезенных из Эссекса сокровищ. Впрочем, они довольно скудны: аммонит, обломки зубов да идеально белая устричная раковина, — но уж что нашла, то мое.

На ужин съедаю яйцо, запиваю «Гиннесом», читаю Бронте, Харди, Данте, Китса, Генри Джеймса и Конан Дойла. Делаю пометки на страницах и ловлю себя на том, что подчеркиваю те фрагменты, которые Вы тоже отметили бы; на полях рисую змея с большими сильными крыльями, чтобы мог летать.

Мне хорошо одной. Хочу — ношу старые ботинки и мужское пальто, хочу — наряжаюсь в шелка, кому какое дело. Уж точно не мне.

Вчера утром гуляла по Кларкenuэллу, стояла у железной решетки, под которой течет Флит, слушала ее шум и представляла, будто это журчат все реки, которые я знаю: исток Флита в Хэмпстеде, где я играла в детстве, и широкая Темза, и Блэкуотер с его тайнами, которые не стоят того, чтобы их хранить.

Затем я мыслями перенеслась на побережье Эссекса, на галечный берег и болота, ощутила на губах соленый ветер, по вкусу похожий на устриц, и почувствовала, что сердце разрывается, как тогда, на зеленой лестнице в темном лесу, как сейчас; что-то ушло, что-то пришло.

Солнце за окном согревает мне спину. Я слышу, как чирикают зяблики. Я разбита и склеена, мне все хочется и ничего не нужно, я люблю Вас и прекрасно себя чувствую без Вас.

И все равно — приезжайте скорее!

КОРА СИБОРН.

От автора

Я многим обязана книгам, которые открыли мне дверь в Викторианскую эпоху, настолько похожую на наше время, что мне кажется, будто я все помню.

Inventing the Victorians (2002) Мэтью Свита опровергает представление о тех временах, как о ханжеской поре, когда все подчинялось требованиям религии и невообразимым правилам хорошего тона; он показывает нам девятнадцатый век с его универмагами, известными торговыми марками, сексуальными аппетитами и любовью ко всему незнакомому.

Малоизвестная книга безымянного приходского священника из Эссекса, *Man's Age in the World According to Holy Scripture and Science* (1865), доказывает, что не все представители духовенства считали, что вера и разум несовместимы. По-моему, она вполне могла бы стоять на полке у Уильяма Рэнсома.

В исследовании *Victorian Homes* (1974) Дэвид Рубинштейн рассматривает рассказы современников о жилищных кризисах той поры, корыстных домовладельцах, неподъемной арендной плате и бюрократии; читаешь все это словно материал в завтрашней газете. Статью *The Bitter Cry of Outcast London* (1883) преподобного Эндрю Мирнза можно найти онлайн. Автор проводит сомнительные параллели между бедностью и падением нравов, и читателю его аргументы наверняка покажутся знакомыми по выступлениям современных политиков.

Тем, кто думает, будто женщины Викторианской эпохи впадали в депрессию от одного лишь взгляда мужа с пышными бакенбардами, советую прочитать биографию Элеоноры Маркс, написанную Рейчел Холмс (2013). В предисловии автор говорит: «Феминизм начался в 1870-х, а не в 1970-х».

За исследование методов лечения туберкулеза (и в особенности его воздействия на мозг) хочу поблагодарить Хелен Байнам — и за письма, и за книгу *Spitting Blood* (2002). *The Sick Rose* (2014) Ричарда Барнетта показывает нам, что в болезни и страданиях можно отыскать пугающую красоту.

Великолепная работа Роя Портера *The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present* (1999), написанная им история хирургии *Blood and Guts* (2003), а также *A Surgical Revolution* (2007) Питера Джонса помогли мне лучше представить мышление и работу

доктора Гаррета. И если в этом романе встречаются какие-то неточности или упущения в том, что касается медицины (и вообще чего бы то ни было), то виновата только я.

Эйфория и прочие симптомы туберкулеза Стеллы Рэнсом появились под влиянием книги *Bluets* Мэгги Нельсон, глубочайшего размышления на тему страдания и желания, на которые мы смотрим как сквозь голубое стекло.

«Диковинные вести из Эссекса» (*Strange News Out of Essex*), брошюра, предупреждающая жителей деревни Хенхем-на-Горе о таинственном змее, существует на самом деле. В Британской библиотеке хранится и оригинал 1669 года, и факсимиле Роберта Миллера Кристи; копия факсимильного издания также есть в библиотеке Сафрон-Уолдена, где она и была впервые отпечатана. Заглавия всех четырех частей этого романа позаимствованы из текста брошюры.

«Морские драконы» Мэри Эннинг выставлены в лондонском Музее естествознания.

Благодарности

Прежде всего хочу от души поблагодарить моего дорогого Роба, неистощимый источник обаяния и интереса: именно он рассказал мне легенду о змее из Эссекса.

Я, как обычно, невероятно благодарна Ханне Вестленд и Дженни Хьюсон за мудрость и поддержку, а еще за то, что они знают меня лучше, чем я сама; работать с ними — честь и радость. Большое спасибо Анне-Марии Фицджеральд, Флоре Уиллис, Рут Петри, Эмили Берри, Зои Уолди и Лекси Хэмблин, которые так много сделали для меня и для книги.

Спасибо моим родным, которые были ко мне так добры, особенно Итану и Амели, бесстрашным путешественникам во времени и пространстве. Спасибо трем моим самым маленьким музам: Дотти, Мэри и Элис.

Спасибо Луизе Йейтс, моему первому читателю и наставнику; Хелен Байнам, которая любезно проконсультировала меня по всем вопросам, связанным с туберкулезом; Хелен Макдональд за указания во всем, что касается растений и птиц. Большая часть черновика этого романа была написана в библиотеке Гладстона — порой мне кажется, что моя тень всегда сидит там за одним и тем же столом; спасибо всем моим тамошним друзьям и отдельно Питеру Фрэнсису.

За терпение, дружбу и мудрость от всей души благодарю Мишель Вулфенден, Тома Вулфендена, Салли Роу, Салли Крэйторн, Холли О'Нил, Анну Маусер, Джона Виндеатта, Бена Джонкока, Элли Итон, Кейт Джонс и Стивена Кроу. Я бесконечно благодарна за помощь и поддержку, оказанные мне писателями, которыми я давно восхищаюсь. Отдельное спасибо Саре Уотерс, Джону Бернсайду, Софи Ханна, Мелиссе Харрисон, Кэтрин Эйнджел и Ванессе Гебби. Спасибо дамам из *FOC*, кому я впервые прочла отрывки из этого романа.

Я не сумела бы написать эту книгу без поддержки Совета по искусствам и бесконечно благодарна им за помощь, равно как и Сэму Раддеку и Крису Грибблу из Писательского центра в Норидже.

Примечания

1

Пер. с фр. А. Бобовича и др. — *Здесь и далее примеч. перев.*

2

Строка из стихотворения Р. Бернса *Auld Lang Syne*. На русском языке известно в переводе С. Я. Маршака как «Старая дружба».

3

Игнац Филипп Земмельвайс (1818–1865) — венгерский акушер, один из основоположников дезинфекции.

4

Это сущий дьявол (фр.).

5

Искусство умирать (*лат.*).

6

Мэри Эннинг (1799–1847) — британский палеонтолог-любитель. Собачку звали Трей, и она погибла во время оползня, когда Мэри собирала окаменелости.

7

Иоан. 11:25.

8

«Второе по качеству пальто» — парафраз «второй по качеству кровати», которую У. Шекспир завещал жене.

9

22 апреля 1884 года.

10

Карл II, сын казненного Кромвелем Карла I.

11

Кора приблизительно цитирует фразу Гамлета (пер. М. Лозинского).

12

Ицены — кельтское племя в древней Британии.

Олдуинтер — здесь: «дряхлая зима» (*англ.*).

14

Крэкнелл вольно цитирует фрагмент из Библии (Иер. 31:15, то же: Мф. 2:18).

15

Числа 6:25.

16

Цитата из «Макбета» (акт IV, сцена I): слова ведьмы, которая чувствует приход Макбета (пер. Б. Пастернака).

Речь о католицизме.

18

Откровение Иоанна Богослова, 22:20.

19

Строки из сонета «Озимандия» Перси Биши Шелли (пер. К. Д. Бальмонта).

Анни Безант (1847–1933) — английская писательница и политический деятель.

Элеонора Эвелинг (в девичестве Маркс, 1855–1898) — дочь Карла Маркса и Женни Вестфален, суфражистка, политический деятель.

К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии.

Искаженная цитата из проповеди священника Джона Болла (1330–1381): «Когда Адам пахал и пряла Ева, где родословное тогда стояло древо?» (*When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman?*). В оригинале имеется в виду, что люди всех сословий равны.

Преподобный вольно цитирует Книгу Иова и Притчи.

25

Псал. 45:3,

Евр. 12:1.

Псал. 118:105.

Восстановление в Англии монархии во второй половине XVII века.

«Кровавый орел» — легендарная казнь времен викингов.

Псал. 121:1.

Юлиана из Нориджа (1342–1413) — мистическая писательница.

«Золотая ветвь: исследование магии и религии» — сравнительное исследование мифологии и религии шотландского ученого Джеймса Джорджа Фрэзера (1854–1941).

Томас Кранмер (1489–1556) — архиепископ Кентерберийский, казнен королевой Марией.

Еккл. 12:1.

Колумба (521–597) — ирландский святой, монах, проповедник христианства в Шотландии.

Элизабет Фрай (1780–1845) — английская социальная активистка, реформатор тюремной системы.

Строка из англиканского церковного гимна *All Things Bright and Beautiful*. Смысл в том, что так заведено Господом: один богат, другой беден.

Фил. 1:3.

Согласно евангелиям, завеса в храме «раздралась надвое», когда Христос умер на кресте (Мф. 27:51).

Слова апостола Павла о вере (Евр. 11:1).

Так доктор Уильям Ослер называл острую пневмонию.

Псал. 45:2.

Ис. 43:2.

Речь о Второй англо-афганской войне 1878–1880 гг.

Post hoc ergo propter hoc («После этого — значит вследствие этого») — логическая ошибка, при которой причинно-следственная связь отождествляется с хронологической.

46

Эйфория, которую чувствуют больные туберкулезом легких.

47

Перефраз Песни Песней, 1:1.

Псал. 45:3–4.

49

1-e Kop. 15:53.

«Боврил» — соус на мясном бульоне, разбавленный и подогретый используется как питательный суп (также может служить приправой ко вторым блюдам и даже намазывается на хлеб).

У. Шекспир. Сонет 116 (пер. С. Я. Маршака).

Мф. 19:14.

Лк. 5:32.

Слова апостола Павла о вере (Евр. 11:1).

Ис. 9:2.

Псал. 33:4; 44:2.

Псал. 102:1.

«Катти Сарк» — корабль-музей в Лондоне.

Джозеф Базэлджет (1819–1891) — английский инженер-строитель. Спроектировал лондонскую центральную канализационную систему.

Песнь Песней, 2:4.

61

Одномачтовое рыболовное судно.

Псал. 50:19.

Мф. 10:29–31.

Table of Contents

[Сара Перри Змей в Эссексе](#)

[Канун Нового года](#)

[I Диковинные вести из Эссекса](#)

[Январь](#)

1

[Февраль](#)

1

2

3

4

5

[Март](#)

1

3

[II Изо всех сил](#)

[Апрель](#)

1

2

3

[Май](#)

1

2

3

4

5

6

[III Неусыпное наблюдение](#)

[Июнь](#)

1

2

3

4

5

[Июль](#)

1

Август

1

2

IV Восстание последних времен

Сентябрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ноябрь

От автора

Благодарности

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)

[58](#)

[59](#)

[60](#)

[61](#)

[62](#)

[63](#)